



Женад  
солдата

Маргарет Лерой

## Annotation

Вторая мировая война все ближе и ближе подступает к Гернси. Вивьен де ла Маре понимает, что придется что-то принести в жертву. Не ради себя, ради двух своих дочерей и свекрови, о которых она заботится, пока муж воюет на фронте. Единственное, чего она не ожидает, так это того, что полюбит загадочного немецкого солдата, поселившегося в доме по соседству. Растет их чувство, растет и давление на Вивьен. С каждой неделей все больше и больше накладывается ограничений на еду и ресурсы. Несмотря на то, что Вивьен осознает всю опасность своих отношений с Гюнтером, она верит, что сможет сохранить и их любовь, и свою семью. Но когда она понимает, что оккупация становится все жестче, ей придется решить, готова ли она рисковать своим собственным счастьем ради жизни незнакомца.

---

---

# **Маргарет Лерой**

## **Жена солдата**

**О переводе:**

**Оригинальное название:** *The Soldier's Wife by Margaret Leroy*

**Серия:** нет

**Переводчики:** Светлана Егошина, Мария Максимова

**Вычитка:** Елена Брежнева

**Часть I**  
**Июнь 1940**

# Глава 1

— Давным-давно жили-были двенадцать принцесс...

Меня удивляет собственный голос. Он совершенно спокоен — обычный голос обычной матери обычным днем, словно все идет как всегда.

— Каждую ночь их дверь запиралась, однако же утром туфли были стоптаны, а сами принцессы выглядели бледными и очень уставшими, словно не спали всю ночь напролет...

Милли прижалась ко мне, посасывая палец. Я ощущаю тепло ее тела, и от этого мне становится немного уютнее.

— Они ведь танцевали, да, мамочка?

— Да, они танцевали, — отвечаю я.

Бланш развалилась на диване, притворяясь, что читает старый номер «Vogue». Она накручивает свои светлые волосы на пальцы, пытаясь заставить пряди виться. Могу с уверенностью сказать, что она прислушивается. С тех пор, как ее отец уехал с армией в Англию, она любит слушать ежевечерние сказки сестры. Может, от этого она чувствует себя в безопасности. Может, какая-то часть ее стремится снова стать маленькой.

Сегодня в моем доме очень спокойно. Янтарный свет заходящего солнца падает на все находящееся в этой комнате. На все, что так понятно и знакомо: мое фортепиано и стопки с нотными книгами, стаффордширские собачки и серебряные подставки для яиц, множество книг на полках, чайный сервиз с цветочками, стоящий в стеклянном шкафу.

Я оглядываюсь и гадаю, будем ли мы здесь завтра. Увижу ли я эту комнату после завтрашнего дня. На подоконнике, в кружочке солнечного света спит кот Милли, Альфонс. Сквозь открытое окно, выходящее на наш задний дворик, можно услышать лишь песни дроздов и легкий голосок воды — в долинах, подобных нашей, всегда слышен звук бегущей воды.

Я так благодарна этой тишине. Можно представить, что сегодня обычный прелестный летний денек. На прошлой неделе, когда немцы бомбили Шербур, звук бомбежки был слышен даже в нашей укромной долине. Это был словно гром среди ясного неба. А на холме в Ле Рут, на ферме Энжи ле Брок, если приложить руку к стеклу, можно было почувствовать слабую вибрацию. Дрожь. И нельзя было понять, то ли окно трясется, то ли твоя рука. Но сейчас здесь спокойно.

Возвращаюсь к сказке. Читаю про солдата, вернувшегося домой с войны. У него есть волшебный плащ, который делает его абсолютно невидимым. Читаю о том, как он узнает про тайну принцесс. Как его закрывают в их спальне и подносят чашу с одурманивающим вином, а он лишь делает вид, что пьет.

— А он и вправду умный, да? Я бы поступила так же, если бы была на его месте, — говорит Милли.

Внезапно, когда она это произносит, на меня накатывает воспоминание о том, когда я сама была ребенком. Я тоже любила сказки, как и Милли. Я была в восторге от превращений, невероятных странствий, великолепных предметов: волшебных плащей, атласных туфель для танцев.

Я так же, как и Милли, переживала за людей в этих сказках, из-за их потерь и переломные моменты, за тот выбор, перед которым они вставали. Я была так уверена в том, что, окажись я на их месте, мне все было бы понятно. Уж я-то проявила бы смекалку,

показала свою смелость и решительность. Я бы точно знала, что делать.

Продолжаю читать:

— Когда принцессы подумали, что он заснул, они пробрались через люк в полу. Солдат натянул плащ и последовал за ними. Принцессы долго шли по извилистой лестнице и наконец вышли в рощу, где листья у деревьев были из бриллиантов и золота...

Эту часть я люблю особенно. Ту, где принцессы спускались вниз в другой мир, их собственный тайный мир, зачарованное место. Люблю это ощущение глубины, закрытости. Это такое же чувство, когда ты идешь домой по улочкам Гернси, по этой влажной лесистой долине Сент-Пьер-дю-Буа.

Долина создает ощущение безопасности и замкнутости, словно ты в утробе. Потом, если пойти дальше, нужно подниматься вверх и вверх, и ты внезапно оказываешься в лучах солнечного света, откуда открывается вид на кукурузные поля, летает пустельга и сияет море. Будто ты снова переживаешь рождение.

Милли прижимается ко мне, ждет, когда появятся картинки — девушки в широких ярких юбках, золотые и алмазные листья. Ощущаю исходящий от нее такой знакомый аромат печенья, мыла и солнечного света.

Потолок над нами поскрипывает, когда Эвелин готовится ко сну. Я уже наполнила ее грелку горячей водой; ей холодно даже теплыми летними вечерами. Она некоторое время будет сидеть и читать Библию. Ей больше нравится Ветхий Завет: суровые запреты, битвы, Господь наш ревнитель. Когда мы уедем, если мы уедем, она останется с Энжи ле Брок на Ле Рут. Эвелин словно престарелое растение, слишком хрупкое, чтобы его выкорчевывать.

— Мама, — ни с того ни с сего говорит Бланш немного визгливым голосом. — Селеста сказала, что все солдаты уехали — британские солдаты из Сент-Питер-Порта.

Она говорит быстро, слова вылетают из нее, как пар из паровоза.

— Селеста сказала, что здесь больше некому воевать.

Перевожу дыхание. Становится больно в груди. Не могу больше притворяться.

— Да, — отвечаю я. — Я слышала. Миссис ле Брок говорила мне.

Внезапно мой голос становится каким-то странным — зыбким, неуверенным от страха. Словно это чужой голос. Я прикусываю губу.

— Они на подходе, да, мам? — спрашивает Бланш.

— Да. Думаю, да.

— А что случится с нами, если мы останемся здесь? — В ее голосе слышится паника. Синие, как гиацинты, глаза сосредоточены на моем лице. Она покусывает кожу возле ногтей на пальцах. — Что случится?

— Милая, это очень серьезное решение. Я должна его обдумать...

— Я хочу уехать, — говорит он. — Хочу уехать в Лондон. Уплыть на корабле.

— Заткнись, Бланш, — говорит Милли. — Я хочу дослушать сказку.

— Бланш, в Лондоне небезопасно.

— Безопаснее, чем здесь.

— Нет, милая. Люди отправляют своих детей подальше вглубь страны. Немцы могут бомбить и Лондон. У всех есть противогазы...

— Но мы же можем остановиться у тети Ирис. В своем письме она написала, что будет нам рада. Ты же сама нам говорила. Она сказала, что мы можем приехать. Мама, я правда хочу уехать.

— Эта поездка может быть очень опасной, — говорю я. И я еще ничего не говорила про

торпеды.

Ее ладони сжимаются в кулаки. Маленькие светлые волоски на руках подсвечивает яркое солнце.

— Мне все равно. Я хочу поехать.

— Бланш, я все же думаю...

— Ну, мы же не вечны.

Я не знаю, что на это ответить. В тишине отчетливо слышно тиканье часов, словно сердцебиение, отсчитывающее мгновения до того момента, когда мне придется принять решение. Для меня оно звучит неожиданно зловеще.

Возвращаюсь к сказке:

— Принцессы пришли к подземному озеру, где стояли связанные друг с другом двенадцать лодок, в каждой из которых находился принц...

Когда я продолжаю читать, мой голос выравнивается, биение сердца замедляется.

— Солдат забрался в лодку самой младшей из принцесс. «Ой-ой, что-то здесь не так», — сказала она. — Лодка очень сильно просела в воде». Солдат подумал, что его найдут и очень испугался.

Бланш смотрит на меня, кусая ногти.

А Милли усмехается.

— Но ему же не нужно было бояться, да? — с торжеством говорит она. — Все ведь будет хорошо, правда? Он узнает их секрет и женится на младшей принцессе.

— Честно говоря, Милли, — произносит Бланш, на мгновение забывая про свой страх, переживая, насколько наивна ее сестра. — Он этого не понимал, не так ли? Всякое может случиться. Люди в самой сказке не могут знать, как она закончится. Тебе уже четыре, ты должна это понимать.

## Глава 2

Когда Милли уложена в кровать, я выхожу в сад.

Задняя часть нашего дома выходит на запад, мягкий вечерний свет падает на газон полосатыми тенями. Падает на клумбы с розами под окном. У каждой розы, что я выращиваю, есть свое имя: «*Belle de Crécy*», «*Celsiana*», «*Alba Semi-plena*». Стоит такая тишина, что можно услышать, как опадает лепесток с цветка.

Помню, этот пологий сад привел меня в восторг, когда я впервые попала сюда.

— Вивьен, дорогая, я хочу, чтобы тебе полюбился мой остров, — сказал Юджин, когда мы, только поженившись, приехали в Ле Коломбьер.

Тогда я носила под сердцем Бланш, жизнь была полна возможностей. И мне действительно полюбился этот остров, когда мы прибыли в гавань, а перед нами на элегантном зеленом холме раскинулся Сент-Питер-Порт. Я была очарована Ле Коломбьером: его эпохальностью, и глубокими холодными оттенками комнат с белыми стенами, и серой шиферной крышей. Перед домом расположился широкий дворик, посыпанный гравием.

Летом там можно сидеть и пить кофе под светом, просачивающимся сквозь листья. Дом стоит главным входом к дороге, но живая изгородь дарит уединение. Нас можно увидеть только из Ле Винерс, через окно, которое выходит из их кухни в сторону нашего двора.

Когда я впервые приехала на Гернси, здесь было немного неопрятно — гравий весь пророс желтенькими цветочками. Когда Юджин уехал в Лондон, Эвелин не смогла со всем справляться самостоятельно. Сейчас же я прохожусь граблями по гравию. У меня куча горшков с травками, геранью и клематисом, висящими у двери.

Еще я люблю небольшой садик, что расположен на другой стороне улицы и тоже принадлежит нам. Там сейчас набухли маленькие зеленые яблочки. А за пределами сада — лес, где живут соловьи.

Местные называют его *Blancs Bois* — Белый лес, что всегда казалось мне странным, ведь он был таким темным, таким таинственным под плотным пологом листвы, даже летом. И все же сад, спускающийся к ручью, стал моим любимым местом. Он стал моим утешением.

Я тщательно делаю свою повседневную работу. Пропалываю розы, поливаю тутовое и фиалковое деревья, что растут в кадках у меня на веранде. Даже сейчас, когда я все это делаю, думаю о том, как же это странно — так старательно ухаживать за садом, когда завтра нас здесь уже может и не быть.

Пока я работаю, мои руки абсолютно спокойны, что удивляет меня. Но я наступаю на ветку, и раздается треск. На меня накатывает страх. Это психологическое, страх и дрожь одолевают меня. Во рту появляется кисловатый привкус.

Откладывая ножницы и присаживаюсь на край веранды. Кладу голову на руки и снова все обдумываю. Многие уже уехали, например, Конни и Норман из Ле Винерс. Они закрыли дома и оставили свои сады на откуп сорнякам. Некоторые, такие как я, все еще сомневаются.

Когда я в последний раз видела Гвен, свою подругу, она сказала, что они все еще не могут решиться. Другие отправляли детей одних, нашив на одежду ярлычки. Но я не могла так поступить, не могла отправить своих детей в Англию без себя. Я прекрасно знаю, каково ребенку расти без матери.

Удлиняются тени, начинают отступать цвета в моем саду, пока сумрак не становится более плотным, более осязаемым, в отличие от предметов, которые и производят эти самые тени. Слышно, как поют соловьи в Blancs Bois, Белом лесу. В вечерях Гернси есть какая-то печаль, хотя Юджин никогда не мог ее почувствовать.

Когда я только приехала сюда, он провел для меня экскурсию по острову. Мы остановились на северном побережье и смотрели, как над заливом Ланкрис заходит солнце: все краски внезапно покинули небо, скалы стали черными, вода побелела, стала рябой и мерцающей. На воде чернели рыбакские лодки — такие маленькие в необъятном море. Я почувствовала прилив тоски, которую так и не смогла объяснить.

Пытаясь рассказать об этом Юджину, но он не увидел никакого смысла в моих словах: он просто ничего подобного не почувствовал. У меня возникло ощущение того, что мы отдалились, потом оно переросло в привычное чувство. Это было ощущение того, насколько по-разному мы смотрим на мир, он и я. Мне становится плохо от одной только этой мысли. Теперь, когда он ушел, я думаю, сколько же было разных вещей, что делали нас несчастными.

Внезапно в небо взлетает стая птиц, я вздрагиваю, сердце подпрыгивает к горлу. Мелочи жестоки ко мне. И в этот самый момент я принимаю решение. Все становится ясным. Я уверена. Мы уедем завтра. Бланш права. Мы не можем оставаться здесь и просто ждать. Пугаться хруста ветки или взлета стаи птиц. Не можем.

Иду в сарай и беру свой велосипед. Я направляюсь к дому священника, чтобы внести наши имена в список.

# Глава 3

Отношу Эвелин ее чай и тосты, которые разрезаны на ровные треугольники. Все, как она любит. Эвелин сидит в ожидании, она в аккуратном шелковом халате цвета чайной розы, который надевает каждое утро на протяжении многих лет. Спина Эвелин прямая, как стебель тюльпана. Ее лицо изрезано глубокими белыми линиями, как и вышивка на наволочке ее подушки. На прикроватной тумбочке рядом с балаклавой, которую она вязет, лежит открытая Библия. Эвелин всегда что-то вязет. Вокруг нее витает усталый ностальгический запах парфюма.

Жду, пока она сделает несколько глотков чая.

— Эвелин... я решила. Мы с девочками уедем.

Она ничего не говорит, смотрит на меня. Вижу недоумение в ее карих, цвета хереса, глазах. Для нее это новость, несмотря на то, что мы говорили об этом много раз.

— Я отведу тебя в Ле Рут. Будешь жить с Фрэнком и Энжи. Энжи присмотрит за тобой, пока нас с девочками не будет...

— Энжи ле Брок выходит на улицу в бигудях, — говорит она.

Ее голос тверд, словно неодобрение поведения Энжи дает Эвелин уверенность в этом изменчивом мире. Дает ей возможность за что-то цепляться.

— Да, она так делает, — отвечаю я. — Но у Энжи доброе сердце. Она хорошо о тебе позаботится. Я отведу тебя туда после завтрака, как только соберу вещи.

Порой замечаю за собой, что разговариваю с ней, как с ребенком. Тщательно проговариваю слова.

Она выглядит растерянной.

— Нет. Только не после завтрака, Вивьен.

Как будто я сказала что-то неприличное.

— Да, именно после завтрака, — говорю я ей. — Сразу, как только упакую твои вещи.

Потом мы с девочками отправимся в город, чтобы сесть на корабль.

— Но, Вивьен... это действительно слишком быстро. У меня есть еще пара-тройка дел. Я управлюсь до следующей недели, если тебя это устроит.

Во мне бьет неистовая энергия. Это так сложно — пытаться быть терпеливой. Сейчас, когда я уже приняла решение, меня одолевает панический страх, что мы можем опоздать на пристань.

— Эвелин, если мы едем, то именно сегодня. Из Уэймута придет корабль. Но с сегодняшнего дня больше кораблей может и не быть. Мы не имеем права так рисковать.

— Им это вряд ли поможет, правда? Торопить нас? Они не очень-то рассудительны, Вивьен.

— Все солдаты ушли, — говорю я ей. — Нас некому защищать...

Остальную часть приговора я произнести не в силах. О том, что могут прийти немцы.

— Ох, — произносит она. — Ох.

Потом озарение освещает ее лицо. У нее был взгляд, словно она что-то поняла.

— Юджин должен быть здесь, — говорит она.

— Юджин воюет, ты же помнишь? — говорю я, как можно мягче. — Он уехал, чтобы присоединиться к армии. Он очень смелый.

Эвелин качает головой:

— Как бы мне хотелось, чтобы он был здесь. Юджин знал бы, что делать.

Кладу руку на ее запястье в знак утешения, что абсолютно бесполезно: какое утешение я могу предложить ей, если обожаемого ею сына нет рядом?

\* \* \*

Делаю девочкам тосты на завтрак. Оглядываюсь, кухня знакома до мельчайших деталей: кухонное полотенце висит на ручке печки, стоят баночки с изюмом и мукой.

На стене висит рисунок Маргарет Таррант (рождественский подарок Эвелин для Бланш) — младенец Христос, окруженный ангелами. Это немного сентиментально, но я люблю это изображение. Люблю за неподвижное благоговение ангелов и замечательный мягкий цвет их резных крыльев. Они дымчатого, голубоватого оттенка розмарина.

Интересно, я когда-нибудь увижу все эти вещи снова. Если да, то какой станет наша жизнь в неопределенном будущем? Я возношу короткую молитву ангелам.

В кухню, потирая глаза со сна, спускаются девочки. От них исходит запах теплой постели. Альфонс подходит к Милли и принимается нарезать вокруг нее круги. Она наклоняется, чтобы погладить его, утреннее солнце блестит в ее темных шелковистых волосах. На солнце видна вся их рыжина.

— Значит так, девочки. Мы уезжаем, — говорю я им. — На корабль мы садимся сегодня. Он довезет нас до Уэймута, оттуда на поезде доберемся до Лондона.

Лицо Бланш вспыхивает, словно включается свет.

— Да, — говорит она с трепетом в голосе. — Но тебе нужно было принять это решение чуть раньше, мама. Я бы тогда помыла волосы.

— Вы должны собраться очень быстро, — говорю им. — Сразу после завтрака. Возьмите нижнее белье, зубные щетки и всю одежду, что поместится.

Для Милли я подготовила саквояж, а для Бланш небольшой кожаный чемодан Юджина. Бланш потрясенно смотрит на него.

— Мам, ты что, шутишь, что ли.

— Нет, не шучу.

— Но как я смогу уместить туда все свое?

Я знаю, что для Бланш Лондон является гламурным городом. За шесть лет до рождения Милли, когда Бланш было шесть, мы ездили на праздники к Ирис. С тех самых пор Лондон стал для нее землей обетованной — мечтой, воплощением того, какой и должна быть жизнь.

Когда-то она мечтала о Трафальгарской площади с ее великолепными фонтанами и голубями, о лондонском Тауэре, откуда видно чаепитие шимпанзе в зоопарке. Теперь же, когда она стала молодой женщиной, она мечтает о мужчинах в форме (решительных, сластным квадратным подбородком) и о чаепитии в чайной «Дорчестер» с блестящей люстрой. Мечтает о пирожных и флирте, когда играет «Все проходит».

Она хочет взять все свои самые лучшие вещи: чулки, коралловое платье из тафты, пару своих первых туфель на каблуках, которые я купила ей на четырнадцатилетие, перед окончанием школы. Я понимаю ее и ощущаю ее нетерпение.

— Придется уложиться, Бланш. Мне очень жаль. На корабле будет не очень много места. Просто сложи столько одежды, сколько будет возможно. И вам нужно надеть зимние пальто.

— Но, мама, жарко ведь.

— Уж постараися, — говорю я. — И, Бланш, когда закончишь, помоги Милли.

— Нет, не надо. Я сама справлюсь, — говорит Милли.

Она пьет свое утреннее молоко, вокруг губ образовалась белая кромка. Милли вяло ест тост и мед.

— Конечно, справишись, милая. Ты уже большая девочка, — говорю ей. — Но Бланш тебе поможет. Собирайтесь так быстро, как только сможете. Обе. Если мы собираемся уехать, то уезжать надо сегодня.

Я некоторое время смотрю на них. На Бланш с ее волнением и Милли, все еще не отошедшую ото сна. Мы подходим к моменту, которого я боялась больше всего.

— Однако есть одна очень печальная новость, — говорю я. — Мы должны отвезти Альфонса к ветеринару.

Милли тут же настораживается, всю сонливость как рукой сняло. Взгляд твердеет. Она смотрит на меня недоверчиво и подозрительно.

— Но с ним все в порядке, — произносит Милли.

— Боюсь, он должен уснуть.

— Что значит уснуть? — спрашивает Милли. В ее голосе слышится угроза.

— Мы должны его усыпить, — говорю я.

— Нет, не должны, — отвечает она. Ее лицо пылает от гнева.

— Альфонс не может поехать с нами. И оставить его здесь мы тоже не можем.

— Нет. Мамочка, ты убийца. Я тебя ненавижу.

— Мы не можем взять его с собой, Милли. Не можем взять кота на корабль. Все отвозят в ветеринарную клинику своих кошек и собак. Все. Миссис Фицпатрик, из церкви, отвезла вчера туда своего терьера. Она рассказала мне об этом. Она сказала, что ей было ужасно грустно, но это правильный поступок.

— Значит, они все убийцы, — говорит она. Ее маленькое лицико мрачнее тучи. Глазки сверкают. Она хватает Альфонса в охапку. Кот начинает вырываться.

— Милли. Он не может поехать с нами.

— Значит, он может жить с кем-нибудь другим, мамочка. Это же не его вина. Он не хочет умирать. Я ему не позволю. Альфонс же не просил, чтобы его родили именно в это время. Война — это такая глупость.

Как неожиданно. Невозможно. Дыхание сбивается. Я не могу огорчать ее.

— Послушай... я поговорю с миссис ле Брок, — устало и разбито говорю я. Словно вся комната выдыхает вместе со мной, когда я произношу это. Я знаю, что сказала бы Эвелин, что она уже неоднократно говорила прежде: «Ты слишком мягка с этими девочками, Вивьен».

— Посмотрим, что я смогу сделать, — продолжаю я. — Просто соберите вещи и будьте готовы.

## Глава 4

Иду с Эвелин в дом Энжи по одной из узких дорожек, что разбегаются в ширь и даль по всему Гернси. Их запутанный маршрут не менялся со временем Средневековья.

Высокая влажная живая изгородь стоит по обе стороны проулка; на ней растет красная валериана и льянка. Лепестки высокого и стройного дигиталиса размыто-фиолетовые, словно их очень долго вымачивали в воде. С собой у меня сумка с одеждой Эвелин и корзинка с Альфонсом.

Подъем утомляет Эвелин. Мы останавливаемся на повороте, где стоит каменное корыто для скота. Усаживаю Эвелин на его обод, чтобы она немного отдохнула. Брызги солнечного света, проходящие сквозь листья, играют на поверхности воды, скрывая все, что лежит в глубине.

— Далеко еще, Вивьен? — спрашивает она, словно ребенок.

— Нет. Не очень далеко.

Мы подходим к терновнику, растущему на пути к Ле Рут. Солидный белый дом стоит там на протяжении сотен лет. У двери растет бузина: островитяне выращивают ее, чтобы защититься от зла — чтобы ведьма облетала стороной молочные фермы, и молоко там не превращалось в масло.

Позади дома стоят теплицы, где Фрэнк ле Брок выращивает свои томаты. В грязи возятся куры; они болтают о нас. Альфонс приходит в исступление при виде цыплят и их запаха. Он извивается и царапается в корзинке. Стучу в дверь.

Мне открывает Энжи. В руке сигарета, на бигудях намотан платок. Она видит нас обеих, и в ее глазах появляется проблеск понимания. У нее теплая, широкая улыбка, смягчающая черты ее лица.

— Значит, Вивьен, ты приняла решение.

— Да.

Я так благодарна Энжи за то, что она в очередной раз мне помогает. Она всегда добра ко мне: помогает делать мармелад, подшивает платья Милли, замораживает Рождественский пудинг. Я знаю, она будет рада Эвелин. Она очень щедра.

Энжи подает Эвелин руку.

— Входите, миссис де ла Маре, — говорит она. — Мы позаботимся о вас, обещаю.

Она усаживает Эвелин возле большого очага. Та сидит на самом краешке — нерешительно, словно боится, что скамейка не выдержит ее веса. Ее руки аккуратно сложены.

— Не знаю, как и благодарить тебя, Энжи, — говорю я.

Она слегка покачивает головой.

— Это самое меньшее, что я могу сделать. Никогда не сомневалась, что ты примешь правильное решение, Вивьен. С двумя дочерьми на руках никогда не знаешь, что может случиться. — Потом, слегка понизив голос, она добавляет: — Может случиться, когда они придут.

— Да. Что ж...

Она наклоняется ко мне ближе, чтобы можно было говорить шепотом. Под солнечными лучами ее кожа становится более матовой и коричневой, как созревший орех. Ощущаю на своем лице тепло от ее дыхания с запахом никотина.

— Я слышала такие ужасные вещи, — говорит она. — Слышала, что они насилиуют и потом распинают девушек.

— О Боже, — произношу я.

Меня окутывает ужас. Но я говорю себе, что это всего лишь байка. Энжи способна поверить всякому. Она любит поговорить о колдовстве, привидениях и проклятиях. Энжи говорит, что волосы будут расти гораздо быстрее, если стричь их, когда луна входит в фазу роста. А если чайки собираются на доме моряка, то это к смерти.

В любом случае задаюсь вопросом, разве могут такие зверства произойти здесь, среди квохчущих кур, запаха спелых помидоров и летнего ветерка, шуршащего в листве? Это невообразимо.

Наверное, Энжи видит сомнение в моих глазах.

— Тебе стоит верить мне, Вивьен. Ты права, что собираешься увезти девочек. Ведь она права, да, Фрэнк?

Оборачиваюсь. Фрэнк, муж Энжи, полуодетым стоит в дверном проеме. Его рубашка расстегнута и висит свободно. Вижу рыжеватые волосы на его груди. Никак не могла решить, нравится ли он мне. Фрэнк был здоровенным пьющим мужчиной. Иногда у Энжи появляются синяки под глазами, и я гадаю, не от его ли кулаков.

Он кивает в ответ на ее вопрос.

— Мы говорили об этом только вчера, — произносит он. — Что тебе следует приглядывать за девочками, если ты решишь остаться. Особенно за Бланш. Она выглядит уже почти как женщина. Я даже думать не хочу, что может произойти, если она будет здесь, когда они придут.

Он разглядывал Бланш, заметил изменения ее тела. Мне это неприятно.

— Это беспокоит, да, — неопределенно говорю я.

Он выходит на кухню, застегивая рубашку.

— Вивьен, я тут подумал. Если хочешь, я мог бы подбросить вас до корабля.

Чувствую прилив благодарности за его доброту. Мне становится стыдно за свою неприятную мысль.

— Спасибо огромное, это бы мне очень помогло, — говорю я.

— Пожалуйста.

Он заправляет рубашку. От него исходит слабый кисловатый запах пота.

— Есть еще кое-что... — говорю я и замолкаю. Мне неловко просить о большем, они и так делают слишком много для нас. — Не могли бы вы присмотреть еще и за Альфонсом? Я планировала его усыпить, но Милли была бы безутешна.

— Да благословит Господь ее доброе сердечко. Конечно, приглядим, — говорит Энжи. — Конечно, мы возьмем бедного Альфонса. Он составит компанию Эвелин, когда вся ее семья уедет.

— Я очень благодарна вам. Ты просто святая, Энжи. Ну, мне, пожалуй, пора...

Иду поцеловать Эвелин.

— Береги себя, — говорю я.

— И ты себя, Вивьен, — больше для формальности говорит она. Она сидит очень напряженно, словно, если она не сосредоточится, то развалится. — Передай мои слова любви девочкам.

Как будто она совсем недавно не попрощалась с ними сама. Как будто она не видела их уже несколько недель.

Похлопываю ее по руке, снова благодарю Энжи и спешу вниз по склону. Не перестаю думать о том, что она сказала про немцев.

Убеждаю себя, что она ошибается. Это просто непристойные рассказы. Мы слышали, что во время Мировой войны немцы отрезали младенцам руки, но считали, что это просто страшные слухи.

Все же картинка стоит в моем воображении и никак не исчезает.

# Глава 5

Улицы в Сент-Питер-Порте стоят притихшие. Некоторые магазины заколочены, валяется много мусора, который закручивают вихревые воздушные потоки. Небо заволокло облаками, из-за чего оно выглядит мутным, размазанным, как оконное стекло, что нуждается в чистке. День сам по себе грязный, серый, печальный.

Фрэнк оставляет нас в гавани, пожелав удачи.

Сразу становится понятно, почему улицы пусты: все люди здесь. Длинная молчаливая очередь из встревоженных островитян извивается от пристани по всей эспланаде.

Мы идем к столу, установленному прямо на тротуаре, где взволнованная женщина отмечает наши имена в списке. Ее лицо все в розовых пятнах. Она всегда время пытается смахнуть с глаз растрепанные волосы.

Встаем в очередь. Люди обливаются потом в своих шерстяных пальто. Достают носовые платки и обтирают влажную кожу.

Этим летним днем зимние цвета пальто выглядят мрачно, почти траурно. У некоторых людей нет с собой чемоданов, а вещи завернуты в аккуратные коричневые свертки. Подъезжает автобус, из которого высыпают детишки.

У большинства на пальто пришиты ярлычки. У детей потерянный, затуманенный взгляд. Более старшие, осознавая весь груз ответственности, официально держат младших братьев и сестер за воротник или рукав.

Милли смотрит на других детей. Она хмурится и крепко держится за мою руку.

Бланш надела свое коралловое платье из тафты под зимнее пальто. Она расстегивает его и поправляет юбку, пытаясь разгладить складки на гладкой ткани.

— Ой, мама, — внезапно говорит она.

Голос Бланш полон драматизма. Сердце скачет, чуть не выпрыгивая у меня из груди.

— Что такое? — резко спрашиваю я.

— Похоже, я забыла вазелин. У меня вся кожа потрескается.

Чувствую, что сержусь на нее за то, что она так меня напугала.

— Это неважно, — говорю я. — Уверена, каждая из нас хоть что-то да забыла.

— Но это важно, мама. Важно.

Кажется, мы стоим там уже очень долго. Очередь строго организована, смиренна. Никто особо не разговаривает. В пустоте над нами кричат чайки, очень много лодок стоит на якоре. Можно услышать, как по их корпусам пощечинами хлещет вода.

Из-за облаков ненадолго появляется солнце, проливая на все происходящее свой свет, а потом снова прячется. Когда солнца нет, море кажется черным и нескованно холодным. Мне не виден корабль, который должен доставить нас в Уэймут, — должно быть, он пришвартован за пределами моей видимости.

Единственное судно, пришвартованное в этой части пирса, очень маленькое, не больше, чем используют рыбаки. Корабль находится там, откуда ведут каменные ступеньки с пирса в море. Я гадаю, кому же может принадлежать судно.

Приходит все больше и больше людей в своих пальто, с чемоданами, уложив в их выпуклости все свои драгоценные вещи. Приходят со своим страхом, который, кажется, просачивается вместе с потом.

— А у тети Ирис у меня будет своя комната? — спрашивает меня Бланш.

— Нет, милая. Там будет сущая теснота. Вам, скорее всего, придется спать с мальчишками в дальней спальне.

— О, — произносит она, переваривая информацию. Это не совсем то, на что она рассчитывала. — Ну, я не возражаю. Это должно быть весело, делить с кем-то комнату.

— А как выглядит Лондон? — спрашивает Милли.

— Тебе он понравится, — говорит Бланш. Она наслаждается тем, что Милли задала этот вопрос. Наслаждается тем, что может побыть экспертом по Лондону. — Женщины носят красивую одежду, под землей ездят поезда, а в парке живут пеликаны...

Я понимаю тягу Бланш к Лондону, порой я разделяю ее, даже после всех тех лет, что не живу там. Я помню это ощущение открывающейся перспективы — мир более свободный, более просторный и более открытый, чем этот остров.

На мгновение я разделяю ее волнение, позволяя себе лишь искру надежды на то, что там все будет хорошо, несмотря на войну. Свобода.

— А мы сможем сходить в Букингемский дворец? — спрашивает Милли.

У нее есть пазл с Букингемским дворцом, который Эвелин подарила на Рождество.

— Уверена, что сможем, — отвечаю я.

К моему облегчению, очередь продвигается вперед. Вижу, как люди спускаются по ступеням пристани и идут по трапу на корабль. Маленький корабль. Не может быть. Они же не думают, что мы проделаем на нем весь путь до Англии.

— Что случилось, мама? — настойчиво произносит Бланш. Она услышала мой быстрый вздох.

— Ничего, милая.

Она следит за моим взглядом.

— Мама, а этот корабль не очень-то и большой, — немного неуверенно говорит она.

— Нет. Но уверена, все будет хорошо. Уверена, они знают, что делают.

В моем голосе она слышит мрачное предчувствие. Бланш одаривает меня вопросительным взглядом.

Очередь молча продвигается на несколько дюймов вперед.

Передо мной стоит солидная женщина средних лет. Вокруг шеи обернута лисья шкурка со стеклянными глазками и хищной пастью. Пушистый рыжий хвост свисает вниз.

Милли заинтригована, она разглядывает лису. Над женщиной витает запах нафталина, она достала из шкафа свою самую лучшую одежду.

Рядом стоит ее муж, который кажется куда более напуганным. Можно точно сказать, что дама из тех, кто принимает решения.

— Простите, что беспокою, — говорю я.

Она оборачивается и улыбается, одобрительно глядя на моих детей.

— Мне просто интересно, это и есть наш корабль? — говорю я.

— Ну, по крайней мере, похож, — отвечает она.

У нее очевидные проблемы с внешностью: брови полностью выщипаны и заново нарисованы карандашом, а все лицо сильно напудрено. Ее шляпка закреплена серебряной булавкой в виде цветка «анютины глазки».

— Мы никогда там все не поместимся, — говорю я. — Им следовало бы отправить сюда что-нибудь побольше. Они что, не понимали, сколькие из нас захотят уехать?

Женщина пожимает плечами.

— Если честно, прошу меня простить, но думаю, им там в Англии на нас просто

наплевать, — говорит она.

— Но... они бы могли отправить несколько военных. Я хочу сказать, что у нас нет никакой защиты. По пути мы можем встретить всякое.

— Давайте смотреть правде в глаза, мы просто расходный материал, — говорит женщина. — Мы для них потеряны. Я полагаю, у мистера Черчилля в голове очень много разных мыслей.

Она иронична и смиренна. Как бы и мне хотелось быть такой, возможно, так было бы проще. Не ждешь ничего большего, не сопротивляешься тому, что происходит. Но рядом с ней нет детей.

Она вытаскивает булавку и обмахивает лицо своей шляпой. Ручейки пота прочертили дорожки в пудре на ее лице. Она поворачивается к мужу.

Меня охватывает паника. Все кажется таким неприкрыто хрупким, таким подверженным стихии — тела моих детей, непрочная маленькая лодочка.

Я должна защитить своих детей, должна обеспечить им безопасность, но я не знаю, как это сделать. Я думаю про кораблик, в который набыются все эти люди. Думаю про его путь через бездонное море. Обо всей той блестящей воде, что лежит между нами и Уэймутом. Обо всех тех угрозах, которые таятся в глубинах моря.

Я едва ли отдаю себе отчет в своих действиях. Как будто начинаю что-то делать прежде, чем думаю об этом. Вытаскиваю Милли из очереди, сваливая все сумки рядом с ней.

— Стой там, — говорю я ей.

Возвращаюсь к Бланш и беру ее за руку.

— Мама. Что, во имя всех святых, ты делаешь?

— Мы возвращаемся домой.

— Мам, — в ее голосе звенит паника. — Мы потеряем свое место в очереди.

— Мы возвращаемся домой, — снова говорю я.

— Но, мама, ты же говорила: или мы уезжаем сейчас, или никогда.

Ее глаза распахнуты от страха.

Милли пытается поднять свой саквояж, но дергает его лишь за одну ручку. Сумка открывается, и все вещи вываливаются наружу: ее панталончики и свободные маечки, ее карамельная в полоску пижамка и любимая тряпичная кукла — все ее имущество, личное, яркое. Все вываливается на грязные камни пирса. Милли начинает плакать, вздрагивая и шумно всхлипывая. Она испугана, ей стыдно за то, что все её вещи рассыпались.

— Замолчи, Милли. Ты такая плакса, — говорит Бланш.

Возмущенные вопли Милли становятся громче. Холодной моросью начинает идти дождь.

Собираю вещи Милли и стараюсь оттереть их от грязи. Все плятятся на нас.

— Мама, ты не можешь так поступить, — исступленно шипит Бланш. Она разрывается от желания заставить меня слушать и от состояния неловкости того, что устраивает сцену на людях. — Мы должны уехать в Англию.

— Корабль слишком мал. Там небезопасно, — говорю я.

Дождь усиливается. Вода впитывается в волосы, стекает вниз и бежит по моему лицу, словно слезы.

— Но сейчас вообще нет ничего безопасного, — говорит она.

Мне нечего на это ответить.

— И я хочу уехать. Я хочу уехать в Лондон. — Ее голос становится все

пронзительнее. — Ты же сказала, что мы уедем. Ты так сказала.

Я все пытаюсь собрать вещи Милли.

— Бланш, во имя Господа, пора бы уже повзрослеть. Не все вертится вокруг тебя. Ты можешь просто подумать еще о ком-нибудь?

Я тут же жалею о сказанном. Я не должна была разговаривать с ней подобным образом. Я украла ее мечту, я знаю, насколько она расстроена и напугана. Но слова повисают между нами, острые, словно клинок. Я не могу забрать их обратно.

Я выпрямляюсь и кладу руку ей на плечо. Она стряхивает мою ладонь и немного отходит в сторону, словно не имеет к нам никакого отношения. На ее лице будто надета маска из папье-маше: оно неподвижное, белое.

Провожу девочек мимо очереди. Понятия не имею, как добраться до дома, ведь об этом я не думала. Не думала до этого самого момента. Просто хочу уйти от этого корабля, нашей поездки, коварной качки и блестящего моря.

Идем вдоль эспланады, направляясь прочь от пристани. Не знаю, ходят ли до Сент-Пьер-дю-Буа автобусы. Может быть, все автобусы заняты тем, чтобы привозить детей к набережной.

Вокруг туман, в лицо хлещет дождь, за которым не видно ни зги. Горизонт висит где-то поблизости, то отдаляясь, то приближаясь. У оставшихся будет неспокойная и сырья переправа.

И тут, с некоторым облегчением, я вижу знакомый автомобиль. Это брат Энжи, Джек Биссон, на своем ветхом фургоне. Джек разнорабочий. Он такой же находчивый, как и Энжи, может починить все что угодно: лопнувшие трубы, оторвавшийся шифер. Может и роды у коровы принять. Я машу ему. Он подъезжает, останавливается рядом и опускает окно.

— Мы решили уехать, а потом передумали, — говорю я.

— Она передумала, — бормочет Бланш позади меня. — Не мы. Она.

У Джека быстрые карие глаза, как у воробья, и теплая широкая улыбка Энжи. Его птичий взгляд порхает по нам. Он кивает, принимая сказанное мной.

— Мистер Биссон, знаю, что прошу слишком много, но не в нашу ли сторону вы направляетесь? Не могли бы вы нас подбросить?

— Конечно, мог бы, миссис де ла Маре. Просто забирайтесь внутрь, — говорит Джек. Он высаживает нас в переулке прямо перед Ле Коломбьер.

# Глава 6

Все, о чем могу думать, как же я хочу домой.

Мы проходим во двор через ворота, состоящие из пяти железных прутьев. Ворота открыты. Должно быть, это я их так оставила. В спешке не обратила на этот момент внимания. Но я удивлена, что была так беспечна.

Иду к двери, которая полуоткрыта. Чувствую, как учащается пульс.

— Что такое, мамочка? — спрашивает Милли.

— Не уверена. Вы двое, постойте-ка здесь немного.

— Почему? — говорит Бланш. — Это наш дом. И дождь идет же, мам, если ты вдруг не заметила.

— Просто делай, что тебе сказано.

Бланш вздрагивает.

Осторожно захожу в коридор, потом на кухню. Меня пронизывает страх. Кто-то вломился в наш дом. Моя кухня вся разбита. Дверцы кухонных шкафов распахнуты, глиняные кувшины разбиты. Мука, изюм и печенье разбросаны по полу.

— Есть кто-нибудь?

Мой резкий голос эхом разносится по дому.

Некоторое время стою и прислушиваюсь в ожидании топота бегущих ног. Бешено бьется сердце. Но дом стоит в пустом и ненадежном безмолвии. Кто бы это ни сделал, его здесь уже нет. Осторожно захожу в гостиную.

Все нотные листы разбросаны. Белая бумага лежит повсюду, словно лепестки слетели с дерева от порыва ветра. Сервант открыт. Они забрали китайский сервис, стаффордширских собачек и подставки для яиц с каминной полки.

В дом, чтобы найти меня, боязливо заходят девочки.

— Нет. — Голос Бланш наполнен слезами. — Я же говорила тебе, мама. Мы совершили ошибку. Нам не следовало сюда возвращаться.

— Немцы — воры, — серьезно заявляет Милли. — Ненавижу их.

— Это были не немцы, — отвечаю ей. — Немцев здесь нет.

Мне удается не добавить слово «еще». Проглатываю его.

— Это были немцы, — говорит Милли. Для нее все так просто. — Они разбойники. Забрали наших китайских собачек. А не должны были.

— Нет, милая. Это сделали те, кто живет здесь поблизости.

Под ногами что-то хрустит. Опускаюсь на колени, поднимаю осколки фарфора. Это от одной из чашек в цветочек, что я привезла из Лондона. Я всегда берегла их и использовала лишь для воскресных чаепитий, потому что всегда боялась разбить. Теперь я понимаю, как же я ошибалась. Надо было пользоваться ими как можно чаще.

— Уверена, что это был Берни Дорей, — говорит Бланш. — Я видела его самого и его шайку тут поблизости пару раз. Он учился со мной в одном классе. У него ужасная семья. Он резал мой ранец и никогда не чистил зубы.

— Мы не знаем, кто это был, — отвечаю я.

Эта мысль ужасает меня. Мысль о том, что кто-то просто ждал, когда мы уедем, наблюдал за домом, лукавил и лишь ждал своего шанса. Кто-то искал способ получить прибыль в этом военном хаосе. Я расстроена из-за всей этой разрушительной силы, от

рассыпанной муки, от переломанных вещей, словно для них это просто игра.

Бланш охвачена гневом. Все случилось не так, как она мечтала.

— Видишь, мама, я была права. Мы должны были уехать в Лондон. Сейчас нам следовало быть на корабле. Мы должны были уже уплывать. — Ее глаза тверды, как кремень. — Здесь все будет ужасно плохо. Хуже, чем когда-либо.

— Все будет хорошо, милая, — говорю я. — Все это не так уж и важно. Мы обойдемся без китайских собачек и серебряных подставок для яиц. В них было очень неудобно очищать яйца. По крайней мере, они не забрали наши книги...

— Тогда почему у тебя такой несчастный голос, мамочка? — спрашивает Милли.

Я ничего не отвечаю.

Бланш срывает с себя зимнее пальто и бросает его на стул. Оглядывает себя, рассматривая подол своего платья, который помялся и потемнел от дождевой воды.

— Посмотри. Все испорчено, — говорит она. В ее глазах блестят слезы.

— Бланш... с твоим платьем все будет в порядке. Мы повесим его таким образом, чтобы оно не вытянулось. Это всего лишь вода.

Но я понимаю, она говорит не только о своем платье из тафты.

Иду наверх, чтобы осмотреться. Заглядываю в комнату девочек, Эвелин и свою. Здесь ничего не сломано. Выглядит так, будто грабители сюда не добрались. Но я должна убедиться. Ле Коломбье — большой старый дом. Лабиринт.

Все, кто жил здесь, достраивали его на протяжении многих лет: одни комнаты ведут в другие, извиваются коридоры. Много мест, где можно спрятаться. Я рыскаю везде — проверяю шкафы, осматриваю потайные места и другие входы в дом.

Я забираюсь даже на чердаки: на огромный чердак, который мы используем в качестве запасной спальни и на маленький чердак в задней части дома, на который нужно подняться по другой лестнице. Все так, как и должно быть. Наконец я снова возвращаюсь к девочкам и отправляю их распаковывать свои сумки.

Привожу все в порядок, под ногами хрустит китайский фарфор. Горе плещется во мне, и не только из-за вещей, что сломаны или украдены.

Сейчас дом не похож на наш: в нем чувствуешь себя иначе, пахнет по-другому — это то неописуемое чувство, когда в нем побывал кто-то чужой. Все рассыпается в прах — все сложные преображения и переплетения мирной жизни, что мы прожили здесь, все разваливается на глазах. Они еще не пришли, но все только начинается.

# Глава 7

Готовлю еду из того, что не тронули грабители: булка хлеба, что забыла выкинуть, и банка тушеники.

Перекусив, я направляюсь в Ле Рут, чтобы привести домой Эвелин. Со мной идет Милли. Дождь прекратился, и небо немного прояснилось. По нему, правда, все еще проплывают солидные тучи, но теперь между нагромождением облаков проглядывает голубизна неба.

Живая изгородь вся намокла, воздух наполнен богатым мускусным запахом цветочной пыльцы, дикого чеснока, влажной земли и фиалок. Я дышу с благодарностью.

Когда мы оказываемся у двери в Ле Рут, из-за теплицы появляется Альфонс и начинает нарезать вокруг Милли круги, громко мурлыкая.

К двери подходит Фрэнк ле Брок. У него между губ зажата сигарета. На голове привычная кепка, которую он снимает, когда видит меня. В его глазах плавает осколок насмешки.

— Струсили? — спрашивает он.

— Да. Можно сказать и так.

Есть что-то постыдное в том, чтобы вернуться именно таким образом. Трусость. Не в том, что изменено решение, а в том, что не выдержали нервы.

Фрэнк глубоко затягивается и осматривает меня сверху вниз, оценивая. Я не люблю этот взгляд.

— Ваш кот такой непоседа, — говорит он мне. — Он все время возвращался к вам домой. В этом все кошки, они существа, принадлежащие одной территории. Похоже, как и вы.

Он усмехается.

Милли поднимает Альфонса и сжимает его в своих объятиях.

— Ты скучал по мне? — спрашивает она.

Кот нелепо трется своей головой о голову Милли.

— Гляди, мамочка, смотри, он понимает, что я говорю. Он правда скучал по мне, — говорит она.

Фрэнк остается стоять в сторонке, а мы идем на кухню. Энжи месит тесто на столе. Она улыбается нам, приветствуя. Эвелин сидит там же, где я ее оставила, — на краю сиденья.

— Вивьен. — Эвелин недоуменно смотрит на нас, словно ее жизнь завязывается в клубок, который она не может распутать. — А ты быстро вернулась.

— Мы передумали, — говорю я. — Мы решили не уплывать.

— Словами делу не поможешь, — говорит она.

Чувствую прилив беспокойства. Она порой заставляет меня ощущать что-то подобное. Вроде бы она говорит обычные вещи, но звучат они как-то по-другому.

Поворачиваюсь к Энжи:

— Большое спасибо.

— Не стоит благодарности, Вивьен. Я была рада помочь... Давай будем надеяться, что ты приняла правильное решение, — добавляет она слегка нерешительно.

Чувствую, что должна объяснить ей хоть что-то после всего, что она для меня сделала.

— Дело в том, что... корабль был таким маленьким. А дорога такая длинная...

Мы медленно идем обратно по переулку. Поддерживаю Эвелин под руку. Какая-то птица издает звук, похожий на кипящий чайник. Влажный воздух холода кожу.

Милли пытается нести Адольфа на руках, но тот вырывается и мчится по полям, направляясь в Ле Коломбьеर. Милли берет меня за руку.

— А я рада, что мы вернулись домой, — довольным голосом говорит она. — Мне не очень хотелось уезжать. Здесь же так хорошо, да, мамочка?

— Да, милая.

Но, даже когда произношу это, меня охватывает дрожь. Над нами ходят облака, перегруппируются, образуя новые формы. Новые страны, новые острова.

# Глава 8

В пятницу еду на велосипеде в город.

Улицы пустынны, ведь многие уехали. Некоторые магазины заколочены, но в Сент-Питер-Порте все как всегда: спокойно и мирно в тепле июньского солнца, словно и не было никакой панической эвакуации.

Покупаю мясо ягненка и пополняю запасы кофе, сигарет и чая. Может статься, что подобную роскошь скоро будет невозможно купить. Когда они придут, когда это случится.

Подхожу к магазину часов «Мартель», где работает Селеста, подружка Бланш, с которой они учились в школе. Смотрю через окно, гадая, куда же она делась. Она видит меня и энергично машет рукой, ее темные кудряшки танцуют.

Я так рада за Бланш, что здесь осталась ее подруга. На Гранд Поллет я прохожу мимо заколоченного музыкального магазина Натана Исаакса. Натан уехал чуть раньше, до падения Франции, сказав, что видит, в какую сторону дует ветер. Он так легко об этом говорил, с легкой улыбкой на умном и робком лице.

Мне его не хватает. Мы подружились из-за магазина, где я частенько что-то покупала. Он был хорошим музыкантом, скрипачом. Иногда мы даже играли дуэтом на музыкальных вечерах, которые проводили на вилле Акаций — в его высоком и красивом доме на холме.

Иду в библиотеку, где выбираю новый том Элизабет Гож. Потом в текстильный магазин, где покупаю еще шерсти для Эвелин. Я уже не могу отправлять на фронт связанные мной балаклавы и перчатки, но, по крайней мере, вязание ее отвлекает.

А еще я заглядываю в «Бутс» на Хай-стрит, где покупаю для Бланш ее первую помаду. Хочу все-таки привнести в ее жизнь немного гламура, поскольку украла у нее мечту о Лондоне. Сделать ее немного счастливее.

Я люблю аптеки. Медленно иду по проходу мимо шикарных серебристых упаковок, что не могу себе позволить, через залежи парфюма: лавандовой воды, тальковой пудры «Devon Violets» и великолепия от «Chanel No.5».

Прилавок «Yardley» находится в задней части магазина. За магазином земля обрывается, а через высокие стрельчатые окна, если посмотреть вниз, можно увидеть красновато-коричневые черепичные крыши домов, разбросанных по всей гавани. Видны маленькие лодки, ослепительное голубое небо и море.

В прозрачном воздухе носятся и кричат чайки. День уже клонится к вечеру, солнечный свет превращается в золото. В очереди стоят грузовики с томатами. Пока все еще есть сообщение с материком, хотя я думаю, что это ненадолго.

В небе над гаванью замечаю два маленьких черных пятнышка — пара самолетов. Очень высоко, очень далеко. Они выглядят безобидно, как птицы.

Смотрю на все помады «Yardley» и не знаю, какой цвет выбрать: может, розовый или персиковый. Простейший выбор сейчас кажется мне очень трудным. После всех моих колебаний — уезжать или не уезжать, во мне словно угасла вера в то, что я могу принять хоть какое-то решение. В конечном итоге, выбираю коралловый, под цвет платья Бланш из тафты. Потом возвращаюсь на Хай-стрит, там я оставила свой велосипед, прислонив его к стене у дороги.

— Вивьен! Это ты! — Чувствую теплое прикосновение к моей руке. — Я звала тебя, но ты не обернулась. Выглядела, словно в облаках витаешь.

Оборачиваюсь. Это Гвен.

Она улыбается, немного триумфально, словно чего-то добилась. Взгляд ее каштановых, ярких, сияющих глаз останавливается на моем лице. На ней платье в горошек с мелкими алыми цветочками. Так приятно видеть ее, что очень хочется обнять.

— Я не знала, уехала ты или нет. Все так внезапно, не правда ли? Пришлось выбирать. — Она опускает тяжелую сумку с покупками на асфальт и потирает уставшее плечо. — Значит, ты решила остаться?

Киваю.

— Струсили в последний момент, — говорю ей. — Немного пафосно получилось.

Она снова накрывает мою руку своей.

— Однако я так рада, Вивьен, — говорит она мне. — Я так рада, что ты все еще здесь. Ее теплота очень успокаивает.

— Слушай, ты торопишься? — спрашивает она.

— Вовсе нет.

— Может, тогда выпьем чая?

— С удовольствием.

У нас есть любимый чайный магазинчик на Хай-стрит, принадлежащий миссис дю Барри. Садимся за наш обычный столик справа возле широкого окна, выходящего на гавань. На столе лежит хрустящая накрахмаленная скатерть и стоит ваза с ноготками, от которых идет тонкий островатый аромат.

В магазине никого, за исключением пожилой пары, переговаривающейся тихими, приглушенными голосами, и женщины с усталыми глазами и ребенком на руках. Потягивая чай, она прислоняется щекой к головке малыша.

На меня накатывает прилив ностальгии, когда я вспоминаю прикосновение головы ребенка — насколько она хрупка там, где косточки еще не срослись. Какой она может быть теплой, душистой, сладкой.

— Гвен... а вы-то что решили?

— Эрни бы не уехал, — говорит она мне. Гвен и Эрни живут на ферме Вязов в Тортевале. У них большой гранитный дом и куча плодородной земли. — Не после всех тех лет, что он проработал здесь. «Будь я проклят, если позволю им все это у меня отобрать», — сказал он.

— Что ж, он молодец.

Ее яркое лицо мрачнеет. Она откидывает волосы. Над ней витает туман беспокойства.

— Откуда ты можешь знать, правильно ли поступаешь? Откуда ты это можешь знать? — говорит она.

— Не можешь. Я тоже над этим задумываюсь. Может быть, я совершила ужасную ошибку...

— Джонни здесь тяжело, конечно. Топтать тут свои башмаки. Бедный ребенок. Он просто не вынесет того, что слишком молод и не может отправиться на фронт.

— Представляю. Представляю, каково ему, что он чувствует.

Думаю о ее младшем сыне, Джонни, таком импульсивном, жаждущим действий. Мне всегда нравился Джонни с его жизнерадостностью, непокорными каштановыми волосами, беспокойными умными руками.

Они с Бланш много игралли вместе, когда были маленькими: лепили куличики, варили суп из цветов. Или строили логова в Белом лесу до тех пор, пока им не исполнилось семь

или восемь. Как это бывает у детей, потом их дороги разошлись.

Позже некоторое время я давала ему уроки музыки, хотя порой он забывал, что такое правильная музыка, и вряд ли вообще упражнялся. Я учила его до тех пор, пока он не проявил интерес к жанру регтайм, который я не была способна сыграть. У него было чувство ритма, и остановить его было невозможно.

— Но я не могла позволить, чтобы Джонни отправился в Англию один, — говорит Гвен. — Не после того... ну...

Она не заканчивает предложение. В глазах блестят непрошенные слезы, на лице появляется выражение скорби. Ее старший сын, Брайан, погиб под Тронхеймом во время норвежской кампании.

После того как это случилось, находясь рядом с ней, я впадала в панику, боясь за наши разговоры, боясь случайно произнести его имя. Ощущение было таким, словно ждешь, когда на тебя обрушится скала. Однажды я сказала ей: «Я так боюсь напоминать тебе о нем. Не хочу, чтобы ты расстраивалась...»

На что она ответила: «Вивьен, это ведь не так, словно ты напомнила мне о чем-то давно забытом. Я вспоминаю о нем каждую минуту. Единственное время, когда я не думаю о нем, — это когда сплю. Но, просыпаясь каждое утро, я снова вынуждена все переживать сначала. Давай просто не будем об этом...»

— Хочу, чтобы Джонни был рядом, — говорит она.

Кладу руку на ее запястье.

— Конечно, — говорю я. — Конечно, ты не хочешь его отпускать.

Может, мне повезло, что у меня дочери. Когда я была чуть моложе, я думала о том, что хотела бы иметь еще и сына, но война все изменила. Даже то, на что ты возлагаешь надежды.

Миссис дю Барри приносит наш чай. Стеганый чехол на чайник сделан в форме соломенного домика, а крылечка на молочнике удерживается бусинками. На серебряном подносе лежат пирожные: «Баттенберг», «Наполеон», роскошные шоколадные эклеры.

Беру кусочек «Баттенберга». Мы потягиваем чай, едим пирожные и наблюдаем за тем, как солнце опускается по небу и дарит свое золото морю.

Гвен вздыхает.

— Джонни — одно сплошное беспокойство... он может учудить все что угодно, — говорит она. — После случившегося он стал немного необузданым. Не то чтобы он что-то натворил, просто я чувствую, что он может...

— Прошло слишком мало времени.

— Он боготворил брата.

— Да.

Я помню поминальную службу по Брайану. Джонни не проронил ни слезинки. Он стоял по стойке смирился с белым, как воск, лицом. Все его тело было напряжено.

Он заставил меня подумать о виолончели, чья струна так сильно натянута, что в любой момент может лопнуть. Я беспокоилась за него. Понимаю, почему Гвен так переживает.

— Он старается делать то, что делал Брайан, — говорит она мне. — Носит армейскую форму Брайана. Хранит коробку с его вещами: бинокль и дробовик, из которого Брайан стрелял по кроликам. А еще там лежит его знаменитая коллекция машин «Динки», которую сын собирал с малых лет. И это самое драгоценное имущество, что есть у Джонни. Он хранит коробку под кроватью.

Я очень опечалена из-за Джонни.

Некоторое время мы молчим. Уже поздно, и миссис дю Барри вешает на дверь табличку «Закрыто». Мои руки липкие из-за марципана с пирожного, я вытираю их носовым платком. Нас окружает прянный запах ноготков.

А потом я задаю вопрос, который маячит у меня в голове с яркостью неоновой вывески и не отпускает меня.

— Гвен. Что же будет?

Она немного наклоняется ко мне.

— Они не обратят на нас никакого внимания, — слишком уверенно говорит она. — Тебе не кажется? Как это было во время Великой войны.

— Ты правда так думаешь?

— Тогда нас никто не трогал, — произносит Гвен.

— Да, это так. Но тогда было...

— Я хочу сказать, какое мы имеем для них значение? Может ли Гитлер извлечь из нашего существования какую-то пользу? — В ее голосе слышится мольба. Пожалуй, она скорее пытается убедить в этом себя, нежели меня. — Может, он и не вспомнит про нас. Вот на что я надеюсь. Разве ты не надеешься на то же самое?

Но ее рука, держащая чашку, немного дрожит. Поэтому дрожит и вся поверхность чая.

Она откашливается, сглатывая внезапно появившийся ком в горле.

— Ладно, Вивьен... расскажи мне о вас, — говорит она. Переходим на безопасную почву.

— Бланш очень несчастна, — говорю я. — Она ужасно хотела уехать.

— Ну, конечно, хотела, — отвечает Гвен. — Молодежи здесь совсем нечего делать. Вот увидишь, она будет тосковать по Лондону. А что Милли?

— Она вела себя так храбро, хоть и не понимала, что происходит.

— Она просто золотко, — говорит Гвен.

— А Эвелин... ну, я вообще не уверена, что она до сих пор в своем уме. Большинство времени кажется, будто она забыла, что Юджин на войне... — Вижу, как по лицу Гвен пробегает тень при упоминании Юджина. Лучше бы я не ела это Баттенбергское пирожное. От приторной сладости марципана меня начинает подташнивать. — Порой она спрашивает о нем, — говорю я, — как будто он все еще находится дома.

— Бедняжка Вивьен. Твоя свекровь и так-то никогда не была самым простым человеком в общении, — осторожно говорит Гвен. — У тебя, похоже, забот полон рот.

# Глава 9

Мы прощаемся. Гвен уходит, а я иду в дамскую комнату. Смываю с рук марципан, прохожусь расческой по волосам и накладываю на лицо немного пудры. Мои руки пахнут карболовым мылом миссис дю Барри. Возвращаюсь к столику и забираю кардиган, что оставила там.

На столах начинает яростно дребезжать фарфор. Снаружи раздается рев. Сначала я не понимаю, что это, а потом решаю, что, вероятно, это самолет. Однако для самолета звук слишком внезапный, слишком громкий, слишком близкий.

Меня охватывает страх: если это самолет, он может рухнуть на город. Все спешат к окну. Воздух кажется таким тонким, что становится трудно дышать.

— Нет, нет, нет, — повторяет миссис дю Барри. Она стоит рядом со мной, потом хватает меня за руку.

Мы видим, как над нами пролетают три самолета. А потом они пикируют на гавань. Мы видим, как падают бомбы, ловя на себе солнечные лучи. Все происходит как в замедленной съемке.

Следом доносится звук от разрыва снаряда, поднимается пыль, вздымается пламя — все рушится, разламывается. Все горит, ошметки шин и нефтяные бочки взлетают в воздух. Слышу яростный грохот орудий. Наивно полагаю, что здесь есть солдаты. Солдаты, которые не бросили нас.

А потом я понимаю, что слышу звук немецких пулеметов, установленных на самолетах. Они стреляют по грузовикам. Раздается взрыв, вспышка огня, когда взрывается бензобак. Люди на пристани бросаются в разные стороны, разбегаются, падают, как брошенные соломенные куклы.

Меня затапливает страх. Меня всю трясет. Думаю о детях. Пролетят ли самолеты через весь остров, будут ли бомбить моих детей? И Гвен... где Гвен? Как много у нее было времени? Успела ли она выбраться?

Стою и трясусь. Кто-то тащит меня под стол. Сейчас мы все сидим под столами: пожилая пара, миссис дю Барри, мать, прижимающая к себе ребенка.

Кто-то твердит: «О Боже. О Боже. О Боже». С душераздирающим звуком разбивается окно, осыпая нас градом осколков.

Кто-то кричит... может, это я кричу, не знаю. Мы сидим под столом и ждем той бомбы, что непременно прилетит именно в нас.

Внезапно начинает завывать сирена противовоздушной обороны.

— Вовремя, — ворчит рядом миссис дю Барри. — Чертовски вовремя.

Я различаю в ее голосе всхлип. Она впивается пальцами в мою руку.

Пожилая женщина хватает ртом воздух, будто ей нечем дышать. Ее муж беспомощно обнимает ее, словно пытается удержать воду, как будто она может ускользнуть сквозь пальцы. Молодая мать крепко прижимает ребенка к груди.

Нас атакуют звуки из гавани: гул и разрывы падающих бомб, пронзительный рев самолетных двигателей, ужасающий треск пулеметов. Вокруг нас вдребезги разлетаются остальные окна. Это длится и длится, кажется, целую вечность, нескончаемый шум и бьющееся стекло, и страх.

А потом звук самолетов наконец начинает стихать, удаляясь от нас. Я понимаю, что

считаю, как во время грозы, ожидая раската грома — я жду, что они вернутся и сбросят еще бомбы. Но ничего не происходит.

Нас окутывает тишина. Малейший звук внезапно становится громким. Я слышу плеск чая, который льется со стола на пол, — и больше ничего, только падение чайных капель и шум крови в ушах. И в этой тишине начинает кричать ребенок, как будто это внезапное безмолвие пугает его больше, чем грохот.

Я пускаю глаза и вижу, что у меня в руке засел осколок. Вытаскиваю его. Обильно струится кровь. Я совсем не чувствую боли.

На четвереньках выползаю из-под стола, оставив других. Я совсем не думаю, просто двигаюсь. Поднимаюсь на ноги и выбегаю за дверь, бегу по Хай-стрит, потом через арку в сторону крытой лестницы, которая спускается к пирсу. На лестнице темно и пахнет рыбой, и мои ноги скользят по влажному камню. В моей голове одна-единственная мысль: найти Гвен, узнать, жива ли она.

У подножия лестницы я снова выхожу на солнечный свет, на эспланаду, что проходит вдоль всей гавани мимо пирса. На меня обрушивается весь царящий здесь ужас. Передо мной все горит. Я ощущаю исходящий от огня жар, но пламя не кажется мне настоящим, словно оно не может меня обжечь.

Повсюду в странных позах лежат тела. Руки и ноги раскинуты в разные стороны, будто людейбросили с большой высоты. Горят грузовики.

По камням, смешиваясь, бежит томатный сок и кровь. Повсюду серый дым от пожаров и пыли. Пахнет гарью, кровью. А еще стоит ужасный запах чего-то горелого. В нем я узнаю запах обугленной плоти.

Из кабинки пылающего грузовика вывалилось тело мужчины. Оно изуродовано, изломано, почернело. Слышу вскрик, и меня охватывает озноб — тоскливыи звук слепого животного, а не человека.

Я тру глаза. Их жжет, словно они повреждены огнем. Все такое яркое, слишком яркое: красное — пламя и кровь, что льется на мостовую.

Я смотрю направо и налево вдоль эспланады, но не могу разглядеть Гвен. Не думаю, что Гвен может здесь находиться. Я молюсь о том, чтобы ей удалось вовремя уйти. Выхожу на пирс. Мою кожу обдает жаром, когда я иду мимо тлеющего грузовика. Моя нога поскользывается в луже крови.

У меня возникает смутное чувство, что, может быть, я могу помочь: я умею накладывать шины, аккуратно бинтовать, немного знаю о первой помощи. И все же, даже думая так, я понимаю, как это бессмысленно, как бесполезно, — понимаю, что все здесь далеко за пределами моих возможностей.

Я подхожу к человеку, лежащему на пирсе возле грузовика. Его лицо обращено в другую сторону, но мой взгляд цепляется за что-то. Это кепка, лежащая рядом с ним на земле. Она имеет какое-то значение, но мои мысли ворочаются тяжело и медленно.

— О Боже, — произношу я вслух. — Фрэнк. О Боже.

Это Фрэнк ле Брок.

Опускаюсь на колени рядом с ним. Теперь мне видно его лицо. Сначала я решаю, что он уже мертв. Но потом его веки дергаются. Я качаю его голову в своих руках.

— Фрэнк. Это Вивьен. Фрэнк, все хорошо. Я рядом...

Но я понимаю, что все отнюдь не хорошо. Единственное, что я знаю, он не выживет с таким ранением: кровь идет из головы, сочится изо рта. Ощущаю всю свою беспомощность.

Любой жест, любое слово отнимают все мои силы.

Он пытается что-то сказать. Подношу ухо к его рту.

— Ублюдки, — шепчет он. — Сраные ублюдки.

Стою на коленях, поддерживая его.

Пытаюсь прочесть «Отче наш». Это все, о чем я могу думать. Губы словно онемели, и я боюсь, что не смогу вспомнить слова. Но прежде, чем я добираюсь до «силы» и «торжества», Фрэнк умирает. Но я все равно продолжаю. «Во веки веков. Аминь».

Он смотрит на меня пустыми глазами. Протягиваю руку и закрываю ему веки. Потом я просто стою на коленях рядом с ним. Я не знаю, что делать дальше.

На меня падает тень, кто-то склоняется ко мне. Поднимаю глаза, это пожарный. Позади него я вижу один-единственный пожарный расчет.

— Простите, — говорю я. — Знаю, что вы очень заняты, но этот человек... он мой друг. Это Фрэнк ле Брок

Пожарный бледен, но на лице застыла решительность. Он смотрит вниз:

— Я знаком с Фрэнком.

— Дело в том, что... видите ли, он мертв, — произношу я.

— Бедный, бедный парень, — говорит мужчина. — Вы ведь его знали, да? Знали Фрэнка?

— Да. — У меня бодрый, хрупкий и высокий голос. — Ну, я больше знакома с его женой. Энжи ле Брок. Я была в Ле Рут лишь пару дней назад. Они собирались приютить себя мою свекровь, если бы мы уплыли на корабле... Но мы не уехали.

Слова градом высыпаются из меня. Почему-то никак не могу остановиться и замолчать.

Мужчина обеспокоенно смотрит на меня. Потом кладет руку мне на плечо.

— Послушайте, мэм, вам нужно пойти домой. Идите и немного отдохните. Идите домой и выпейте чашечку сладкого чая.

— Но я не могу оставить его здесь просто так...

— Вы ничего уже не можете сделать, — говорит он, осторожно поглаживая меня, словно я дикое животное, которое он пытается приручить.

— Я серьезно, мэм. Сейчас вам лучше пойти домой.

\* \* \*

Звоню на ферму Вязов из первой же телефонной будки, что нахожу.

Трубку берет Гвен.

— О, Гвен. Слава Богу.

— Я в порядке, Вив, — говорит она. — Я вовремя оттуда уехала. Я переживала за тебя... — Потом, поскольку я молчу, она продолжает: — Вив... с тобой все хорошо?

Нет сил ответить на ее вопрос, рот отказывается произносить слова.

— Гвен... не могу сейчас говорить. Мне нужно вернуться к девочкам. Но я не ранена... не беспокойся.

Кладу телефонную трубку на место.

Когда возвращаюсь в Ле Коломбьер, вижу в окне лицо Бланш. Она замечает меня и подбегает к двери.

— Мама. Что случилось?

У нее очень пронзительный голос. Глаза широко распахнуты. В них страх.

— Они разбомбили пристань, — отвечаю я.

— Мы слышали самолеты, — говорит она немного испуганным голосом. — Мам, мы подумали, что ты погибла.

Милли цепляется за руку Бланш. Вижу, что она плакала — на щеках блестят дорожки от слез.

— Все хорошо. Я не ранена, — говорю я.

Протягиваю руку, чтобы обнять Милли. Она отталкивает ее и смотрит на мое платье. Вся краска отливает от ее лица.

— Мама, ты вся в крови, — говорит Бланш тоненьким голоском.

Осматриваю себя. Даже не подумала об этом. Спереди, там, где держала Фрэнка, все платье испачкано кровью.

— Это не моя кровь, — говорю я. — Со мной все в порядке. Правда.

Они ничего не говорят, просто стоят и смотрят на меня.

— Послушайте... я должна уйти еще на некоторое время, — говорю я. — Мне нужно сходить к Энжи.

Вижу, что Бланш понимает все с полуслова. Ее лицо мрачнеет.

Я не могу пойти к Энжи с кровью ее мужа на одежде. Переодеваюсь, замачиваю платье в ванне с холодной водой, чтобы отстирать пятно.

Когда выпрямляюсь, чуть не падаю в обморок, ванная комната вращается вокруг меня. Тело кажется хрупким, словно яичная скорлупа. Как будто малейшее прикосновение может его сломать. Не могу в таком состоянии идти с новостями к Энжи.

Через силу выпиваю сладкого чая, как и советовал мне пожарный. Что-то не так с моим горлом, мне трудно глотать, но потом я чувствую, что немного окрепла. Девочки сидят со мной за столом, с тревогой глядя на меня.

— Вы обе справитесь тут одни? — спрашиваю я. — Обещаю, что я ненадолго.

— Все будет в порядке, мама, — отвечает Бланш.

— Нет, не будет. Я тебя не отпущу, — говорит Милли.

Она подходит ко мне, встает рядом со стулом и обвивает меня руками. Мне приходится расцеплять ее пальчики, которые приклеились к моим рукам, словно бинты.

\* \* \*

Иду по дороге в Ле Рут. В ногах чувствуется тяжесть, словно перехожу через глубокую воду. Стучусь в дверь Энжи, и страх горечью ощущается во рту. Я предпочла бы быть где-нибудь в другом месте, а не здесь.

Она открывает дверь.

— Энжи. — У меня стискивает горло. — Кое-что случилось...

Она смотрит мне в лицо. И все понимает.

— Он погиб, да?

— Да. Мне очень жаль.

Она оседает. Пытается удержаться за дверной косяк, но руки соскальзывают. Тело Энжи обмякает, словно в нем нет костей. Я не в силах удержать ее. Приношу стул и усаживаю Энжи на него. Встаю на колени рядом.

— Я сегодня была в городе. И Фрэнк был там со своим грузовиком. Они разбомбили пирс, а я нашла там Фрэнка. Энжи... я была рядом с ним, держала его, когда он умер.

Она обнимает себя руками. Губы шевелятся, но она не может произнести ни слова. В ее глазах нет слез, но на лице написано горе.

В конце концов ей удается прочистить горло.

— Он... сказал что-нибудь? — Ее голос хриплый и придушенный, словно из-под одеяла. — Он что-то передал мне, Вивьен?

Я не знаю, что казать ей. Вспоминаю его последние слова.

— Он не мог говорить, — отвечаю я.

Беру ее за руку. Кожа у нее ледяная. Ее холод передается мне.

— Он умер быстро, не страдал, — говорю я.

Она слегка качает головой. Думаю, она мне не верит.

— Пойдем со мной. Я тебя покормлю, — говорю ей.

— Нет, Вивьен, — отвечает она. — Ты очень добра, но я не пойду...

— Думаю, ты должна пойти со мной. Ты не можешь оставаться здесь совсем одна.

— Со мной все будет в порядке, — говорит она. — Мне нужно просто некоторое время побывать одной, чтобы все осознать.

— Я не хочу оставлять тебя одну.

— Правда, Вивьен. Не переживай. Чуть позже я схожу к Мейбл и Джеку.

У Мейбл и Джека четверо детей. В их доме будет шумно и многолюдно. Но Энжи настаивает на своем.

Оставляю ее сидящей в одиночестве у очага. Она стискивает руки, словно отжимает тряпку.

\* \* \*

Я завариваю чай для Эвелин и девочек, хотя сама не могу ничего есть. Потом Бланш помогает мне вынести из комнат матрасы девочек, и я устраиваю им кровати в узком пространстве под лестницей. Это самая прочная часть дома, его хребет.

— Смотри, — говорю я Милли, стараясь, чтобы мой голос звучал, как обычно. — Сегодня ночью вы с Бланш устроите лагерь под лестницей. Я сделала для тебя нору, чтобы спать.

Она хмурится:

— Это для того, чтобы мы не умерли, когда немцы прилетят бомбить нас?

Не знаю, что ей ответить.

— Просто, чтобы вы были в безопасности, — неопределенно говорю я.

Эвелин оставляю спать в ее комнате, понимаю, что не смогу уговорить ее переночевать в другом месте. Подумываю о том, чтобы тоже остаться наверху: полагаю, что вообще не смогу уснуть. А если и усну, то, если что-то произойдет, тут же проснусь.

Сажусь за кухонный стол, прикуриваю сигарету. Вспоминаю, что где-то в шкафу стоит бренди. Там должно что-то остаться с Рождства. Я добавляла в пирожки.

Я нечасто пью алкогольные напитки, но сейчас наливаю себе стаканчик. У бренди запах праздника, что выглядит ужасно неправильным в такой день, но я чувствую себя немного спокойнее, когда напиток растекается по венам. Все мои печали отступают.

Сижу там очень долго. Курю и пью. Тело расслаблено. Стараюсь ни о чем не думать. Наконец, встаю, чтобы пойти спать. Когда беру стакан, чтобы помыть его, он выскользывает из моих рук, падает на пол и разбивается.

Звук бьющегося стекла становится последней каплей. Внезапно начинают катиться слезы. Я рыдаю и не могу остановиться, пока на коленях собираю с пола блестящие осколки стекла. Такое ощущение, что мои рыдания никогда не прекратятся.

Проверяю, как там девочки, и иду к себе в комнату. Долгое время лежу без сна. Ничего не происходит. Нет никаких самолетов. Все, что слышу, — это скрип моего дома, словно он ворочается во сне. Снаружи стоит тихая летняя ночь. На Гернси очень, очень тихо.

Ярость не дает мне уснуть. Я ощущаю слепую, безотчетную злость. Злость на все то насилие, которому мы не в силах ничего противопоставить, ведь здесь больше нет солдат.

Думаю о том, что они убили Фрэнка, словно он был каким-то животным. Фрэнка, который мне не очень-то и нравился, который, может быть, и не был хорошим человеком. Но который не должен был умереть, который был слишком молод, чтобы умирать, который не заслужил такой ужасной смерти. Думаю о том, что они могут прийти утром и убить моих детей. О том, что они придут на остров, сделают из нас рабов.

На некоторое время я засыпаю, но потом, будто от толчка, просыпаюсь опять. Встаю и подхожу к окну. Словно какой-то фрукт, низко висит луна, и ее свет делает белым все вокруг.

Все настолько яркое, что на гравии лежат тени от листвьев, а мальвы на клумбах Ле Винерс какие-то бледные, только что не светятся — призрачные цветы.

Прислоняюсь лицом к стеклу. Весь мой гнев испарился. На коже лишь холодный пот, выступивший от страха. Я думаю, что же я наделала? Мы должны быть в Лондоне, в доме Ирис. Совершила ли я самую роковую ошибку в своей жизни? Боже мой, что же я наделала?

# Глава 10

Воскресный вечер. Пропалываю сад, пока Милли играет на лужайке.

Прерываюсь, услышав отдаленный рокот винтов. Поднимаю глаза. В небе над нами кружат шесть самолетов. Видна их символика. Я знаю, что это немецкие самолеты.

В моей голове всплывает набережная: бомбардировка, стрельба, кровь. Сердце чуть не выпрыгивает из груди.

— Милли, немедленно иди в дом.

Она не двигается.

— Милли!

— Но мой мячик укатился за забор. А это мой лучший мяч, мамочка.

— Делай, что я сказала, — говорю ей я. — Иди в норку, что мы сделали под лестницей.

Сию же минуту.

— Это немцы? Они убьют нас?

— Делай, как тебе велено, Милли.

Из коридора зову Бланш, но она, похоже, не слышит. Из ее спальни доносится музыка — она слушает «Щека к щеке» Ирвина Берлина. Мчуясь к ней, вхожу без стука.

Бланш стоит в самом центре комнаты. Вздрагивает, она немного смущена. Я едва задумываюсь над тем, что она танцевала напротив своего зеркала, как и я в ее возрасте, оттачивая движения: воображала свое блестящее, благоухающее будущее и красавца-партнера, который в танце очень близко прижимает тебя к себе.

— Немецкие самолеты на подлете, — говорю я. — Иди в нору с Милли. Немедленно.

— Но... моя музыка...

— Бланш, просто иди уже, — говорю я ей.

Она слышит, что я уже почти на грани, и спешит вниз по лестнице. Пока я спускаюсь, мне вслед несется печальная мелодия, которая становится все тише и тише.

Эвелин сидит в гостиной в своем кресле и вяжет.

— Тебе нужно пойти и спрятаться вместе с девочками. Там ты будешь в безопасности, — говорю я.

Она не поднимается. Ее взгляд цвета шерри лишь порхает по моему лицу.

— Нет нужды волноваться, Вивьен. Ты всегда слишком волнуешься, — произносит она медленно, тщательно выговаривая каждое слово. Я сама не своя от нетерпения. — Всегда так нервничаешь по мелочам.

— Эвелин, это не мелочи.

Ее лицо абсолютно спокойно, неподвижно, как будто ничего, из того, что я сказала, ее не тронуло. Мысленно я уже кричу.

Она простирает горло.

— Вот и Юджин всегда говорит: волнуешься, тревожишься, переживаешь.

— Просто пойди и спрячься.

— Я не стану нигде прятаться, Вивьен. И мне обидно от того, что ты думала, что я стану. Кто-то должен оказать сопротивление.

— Пожалуйста, Эвелин. Просто на случай, если что-то произойдет...

— Я не собираюсь позволять этим варварам двигать меня туда-сюда, — отвечает она. — Где бы мы были, если бы все так делали?

Что бы я ни сказала, ее не убедить. Оставляю ее в кресле.

Смотрю на самолеты из окна. Они летят низко, в сторону аэродрома, и исчезают за лесистым гребнем холма. Должно быть, сели. Я еще долго смотрю на небо, запад горит красным, затем медленно становится темно-синим, но они так и не взлетают снова.

В конце концов говорю девочкам выходить из-под лестницы. Гадаю, неужели это случилось: мир раскололся.

\* \* \*

Утро понедельника. За дверью какая-то суматоха. Это Бланш. Спрыгивает с велосипеда, на котором ездила в город повидаться с Селестой, и бросает его на землю. Она врывается в дом, и ее блестящие светлые волосы разеваются, словно флаг.

— Мам, мам. Мы их видели. Они здесь, — запыхавшись, выпаливает она на одном дыхании. Она разрумянилась и явно взволнована происходящим. — Мы видели немецких солдат, я и Селеста.

— Я ненавижу немцев, — строго говорит Милли.

— Да, милая. Мы все их ненавидим, — соглашаюсь я.

— Они такие высокие, мам, — рассказывает Бланш. — Намного выше, чем мужчины на нашем острове. Один из них купил мороженое и хотел меня угостить. Я, конечно же, не взяла. Это был клубничный рожок.

Милли пристально смотрит на Бланш, на лбу у нее появляется небольшая морщинка. Понимаю, что ее мнение о немцах слегка меняется.

— Я люблю клубничные рожки, — заявляет она.

— Они вели себя очень вежливо, — продолжает Бланш. — Один из них сфотографировался с полицейским. Он сказал, что хочет послать снимок домой, своей жене.

Она вытаскивает из сумки «Гернси Пресс». Мы раскладываем газету на столе и читаем. В ней много новых правил. Будет комендантский час: жителям острова нельзя находиться на улице после девяти часов вечера.

Все оружие необходимо сдать. Я ощущаю укол страха при мысли о Джонни, о дробовике его брата, который он хранит в коробке у себя под кроватью. Интересно, что он с ним сделал. Запрещено пользоваться лодками и автомобилями, и мы должны перевести все свои часы на час вперед.

Пока я читаю, меня охватывает чувство, которого я не ожидала. Грязное, отравляющее. Стыд. За то, что это происходит с нами. За то, что мы позволили этому произойти.

Я пытаюсь уговорить себя, убедить себя в том, что мы сумеем жить по этим правилам и что теперь, по крайней мере, девочки смогут спать в своих комнатах, потому что, раз немцы здесь, больше не будет бомбардировок. И тем не менее меня переполняет стыд.

Иду сообщить Эвелин. Кладу ладонь на ее руку.

— Эвелин, боюсь, немцы высадились на Гернси, — мягко говорю я.

Она поднимает на меня глаза, ее губы плотно сжаты. Опускает вязание себе на колени.

— Не люблю трусливые разговоры, — отвечает она. — Мы не должны сдаваться. Не должны сдаваться никогда.

— Мне так жаль, — говорю я. Как будто это моя вина. — Но это случилось. Немцы здесь. И с этим нам теперь придется жить.

Она смотрит на меня. Внезапно на ее лице появляется понимание. Она принимается беззвучно плакать. Из глаз Эвелин медленно катятся слезы, которые она даже не пытается утереть. Этот вид тяжелым грузом ложится мне на сердце.

— Эвелин, мне так жаль, — снова говорю я.

Даю ей платок, и она промакивает слезы.

— Означает ли это, Вивьен, что мы проиграли войну?

— Нет. Нет, это не означает, что мы проиграли, — отвечаю я, как можно убедительнее.

Мгновенно ее слезы останавливаются. Она педантично складывает свой платок и убирает его в карман. В ней вдруг просыпается настойчивость.

— Мы должны сейчас же сказать Юджину, — говорит она. — Юджин знает, что делать. Я обнимаю ее одной рукой, ее тело кажется напряженным и хрупким одновременно.

— Эвелин... Юдзина здесь нет, помнишь? Юджин в армии.

— Тогда найди его, Вивьен, — говорит она. — Без Юдзина мы не справимся.

Она снова берет в руки вязание, и воспоминание о невзгодах уносится, словно пушинки одуванчика на ветру.

Я перевожу стрелки на часах. Потом мы с Бланш затащиваем матрасы обратно наверх.

\* \* \*

Когда Милли уже в кровати, ко мне в пижаме и халате спускается Бланш. Она просит меня заплести ей волосы, чтобы наутро они вились.

Она сидит передо мной на диване, повернувшись спиной. Начинаю плести косы из ее шелковистых и прохладных волос. От света лампы они переливаются разными цветами. У нее карамельно-белокурые волосы со светлыми прядями там, где их коснулось летнее солнце.

Мне нравится заплетать ее: это те прикосновения, которые еще комфортны для нее. Сейчас мы не часто дотрагиваемся друг до друга — она немного отдалилась от меня, когда ей исполнилось четырнадцать. Вдыхаю ее запах: мыло, розовый тальк и сладковатый, мускусный запах ее волос.

— Мама, а что будет дальше? — спрашивает она слабеньkim и неуверенным голосом. — Все будет по-другому, да?

Мне следовало бы знать, что ей ответить. Это то, что должна делать мать, — подготовить своих детей, предостеречь их. Но я не знаю, не могу представить. Ничего из того, что со мной случалось, не могло подготовить меня к этому.

— Ну, многое будет по-другому.

— Так будет всегда?

Она сидит спиной ко мне, и я не могу видеть ее лица.

Я ничего не говорю.

— Мам, я хочу знать. Немцы будут здесь всегда? Так и будет дальше?

— Не знаю, Бланш. Никто не знает, что произойдет.

— Я молилась, — говорит она.

— О, правда, милая?

Это ее религиозное благочестие всегда меня удивляло. Мы ходим в церковь каждое воскресенье. Для меня это по большей части привычка.

Но Бланш набожна, как Эвелин: она читает Библию и молится. Одна ее частя легкомысленна, любит танцы и модные наряды, а другая, которую я вижу только иногда, склонна к размышлениям и довольно серьезна.

— Хотя это трудно, да, мам? — спрашивает она. — Понять, о чем молиться, учитывая все происходящее.

— Да. Это трудно.

— Я молилась о том, чтобы мы уплыли на корабле, но мы не уплыли, — говорит она. В ее голосе слышится намек на обвинение. Я знаю: она все еще сердится на меня.

— А иногда я молюсь о том, чтобы мы победили. Но думаю, и немцы молятся о том же.

— Да, полагаю, что так.

— Селеста считает, что мы выиграем войну, — говорит мне она. — Так она сказала. Она сказала, что мы не должны терять надежду. Но как, мам? Как мы можем выиграть?

В моей голове всплывают картины: победный марш Гитлера по Елисейским полям в Париже, который мы смотрели в кинохронике в «Гомоне».

Многочисленные шеренги нацистских солдат, все прибывающие и прибывающие, как стихийное бедствие, как шторм или наводнение, — совершенно неодолимые.

Закрепляю кончик ее косы резинкой.

— Тебе пора спать, — говорю я.

Она встает и поворачивается ко мне. С косой она выглядит младше. Ее щеки пухленькие и розовые, как у ребенка, совсем как в то время, когда ей было только семь лет, и она еще играла с Джонни в Белом лесу. На лице написано беспокойство. Она поворачивается и поднимается по лестнице.

\* \* \*

На следующее утро убираюсь в комнате. Я наводила здесь чистоту совсем недавно, но мне нужно чем-то себя занять. Работа не из разряда активных, но мое сердце бьется часто.

Моя спальня очень славная. На обоях узор из роз, на большой двуспальной кровати стеганое одеяло из тафты, на туалетном столике все собранные мною особенные вещицы: флакон духов со стеклянной стрекозой на пробке, серебряные щетка и расческа, музыкальная шкатулка, которая у меня с тех пор, как я была ребенком.

Эта музыкальная шкатулка принадлежала моей матери. На ней роспись в технике импрессионизма: две девочки, играющие на пианино в нечеткой прелестной комнате. Все краски смешиваются, словно тают и растекаются. Она играет «К Элизе», сейчас это легкий и дребезжащий звук, потому что слышно, как трутся друг о друга все мелкие детальки внутри.

Эта мелодия всегда вызывает у меня приятное и томительное чувство — открытое окно, раздувающаяся кисейная занавеска, каштановые волосы, попавшие в рот, — воскрешает в памяти лавандовый аромат прошлого. Всего лишь след воспоминания, и тоска, которую я не могу утолить. Эта музыка — самое близкое, насколько я могу подойти к матери, которую потеряла.

Спальня находится в передней части дома. Из окна можно видеть мой двор, а также крышу и палисадник соседней Ле Винерс.

Вытирая подоконник, я выглядываю в окно. Конни любила растения, и ее сад полон прекрасных цветов: жимолость, фуксии, маки. Их цвета: алый, янтарный, розовый — так

живописно сочетаются и так быстро исчезают. Всего один день цветения, а затем яркий ковер из лепестков раздувает по всему газону.

Но сад уже выглядит неухоженным: трава начала затягивать бордюры, розы разрослись и нависают над дорожкой, все аккуратные контуры размылись и исчезли.

Сквозь открытое окно до меня доносится звук — ворчание мотора, медленно движущегося по дороге. Мой пульс учащается. Должно быть, кто-то нарушает правила и едет на автомобиле, кто бы это ни был, он подвергает нас опасности. Я жду, чтобы увидеть, кто проедет мимо.

Я смотрю, как к Ле Винерс подъезжает немецкий джип. Из него выходят двое мужчин в форме. Разговаривая, они на мгновение останавливаются в глубокой влажной тени переулка.

Небольшой ветерок колышет листья, и тень от них скользит по мужчинам. Я потрясена, у меня колотится сердце, когда я вижу, как эти захватчики стоят здесь, в окружении цветов и деревьев местных глубоких долин.

Как и говорила Бланш, эти мужчины высокие, намного выше, чем мужчины на острове. Солнечный свет блестит на их пряжках и сапогах, на пистолетах на их поясах.

Они выглядят совершенно неуместно в пятнистом свете листвы, среди коровьего навоза и рябин. Рядом с живой изгородью из перепутанных листьев, цветов и колючек.

Они открывают ворота Ле Винерс и идут по дорожке к входной двери. Солдаты кажутся такими большими в этом саду. Замечаю, что у одного из них в руке планшетка. Раздается стук и треск, когда второй мужчина взламывает замок на двери.

Во мне вспыхивает ярость и горячая волна стыда: я не могу остановить их, не могу защитить от них дом Конни. Я совершенно беспомощна.

Спустя какое-то время они выходят обратно на дорожку. Мой гнев сменяется страхом: словно мне на затылок ложится холодная рука. В памяти всплывают слова Энжи. Они распинают девочек. Насилуют их, а потом распинают...

Что, если эти солдаты придут сюда и отберут и наш дом тоже? Мы в их власти, они могут сделать все, что захотят. Они могут ходить, где им вздумается, и нет ничего, способного их остановить. Ничего.

Но сейчас они уезжают.

\* \* \*

Чуть позже слышу звук другого двигателя. На этот раз джип другой. В нем сидят четверо: двое в кабине, двое в кузове. Наблюдаю за тем, как мужчины выбираются из кабинки. Один из них худощавый и смуглый с плоским и циничным лицом. Другой, наоборот, широкоплеч, у него седые, начидающие редеть волосы.

Второй достает пачку сигарет, вынимает одну и зажимает ее губами, пока роется в карманах в поисках зажигалки. Замечаю, что у него на щеке неровный розовый шрам. Мне становится любопытно.

Я гадаю, как же он мог получить этот шрам, что случилось с ним. Может, он сражался в Великой войне: у него вид бывалого вояки, вокруг глаз залегла паутинка морщин. Он кажется достаточно старым. Интересно, что же он пережил, что успел повидать. Сильную ли боль он испытал, получив эту рану.

Гоню подобные мысли прочь. Это враги, мне вообще не стоит о них думать.

Двое других мужчин молоды и светловолосы. Полагаю, они младше по званию. Они выпрыгивают из машины и вытаскивают вещишки. Мужчина со шрамом обходит джип и, зажав сигарету губами, достает свой мешок.

Мужчина с плоским лицом открывает ворота. Все четверо кажутся более неторопливыми, чем тот, который приходил с планшеткой. Они осматриваются с выражением одобрения, почти обладания, и, глядя на это, я ощущаю вспышку бессильной ярости.

Они шутят, смеются, у них открытые, непринужденные движения. Они выглядят как люди, которые завершили путешествие.

Мужчины идут по усыпанной лепестками дорожке между разросшимися бордюрами. Розы цепляются за их форму, когда они пробираются сквозь цветы; мальвы, бледные, как снятое молоко, касаются их ног, когда они проходят мимо.

Я вижу, что Альфонс спит в пятне солнечного света на дорожке. Это его любимое место для сна, потому что там нагреваются камни. Он свернулся идеальным колечком, словно чувствует себя в полной безопасности.

Когда мужчины приближаются, он просыпается и лениво потягивается. Один из молодых людей приседает, чтобы погладить и приласкать его. У юноши розовая, усыпанная веснушками кожа, которая шелушится от солнца.

Альфонс трется о молодого человека и выгибает спину от удовольствия, так что я могу разглядеть гибкие косточки, выпирающие из-под меха. Меня накрывает волна необъяснимого гнева на животное, оттого что его так легко завоевать, он совсем не сопротивляется.

Мужчины заходят в дом и больше не выходят.

\* \* \*

Час или два спустя, собирая в своем дворике травы для рагу, я вижу, что окно Ле Винерс, выходящее в нашу сторону, распахнуто настежь. Через него я могу расслышать голоса немцев.

Я не могу понять, что они говорят: я плохо знаю немецкий, только слова нескольких канатов Баха, еще с тех времен, когда жила в Лондоне и пела в хоре. Я даже не могу определить эмоции, звучащие в словах.

На меня обрушивается мысль: мы же будем на виду. Если мы будем во дворе или наша входная дверь будет открыта, немцы будут слышать наши разговоры.

Интересно, поймут ли они нас, говорят ли они вообще по-английски. Но даже если они не смогут нас понять, они будут видеть, что мы делаем. Мы не сможем скрыться от них.

День кажется зыбким и каким-то лихорадочным. Внешнее окружение: дыхание ветра в листьях груши, длинные косые лучи послеполуденного солнца, падающие на мой двор, — все так, как и должно быть, и все-таки создается ощущение, что в воздухе висит нечто постороннее, еле уловимое, но тревожное, словно слабый запах гари или писк насекомого, слишком тонкий, чтобы его можно было расслышать.

Придется перенести все горшки, стоящие у двери. Унесу их в заднюю часть дома и выставлю на террасе. Там я смогу ухаживать за ними и меня не будет видно.

Но я некоторое время стою в замешательстве. Чувствую внутри какое-то сопротивление.

Слышу в голове голос Эвельин: «Я не стану нигде прятаться, Вивьен. И мне обидно от того, что ты думала, что я стану. Я не собираюсь позволять этим варварам двигать меня туда-сюда».

И я принимаю решение: я оставлю все мои травы и герань здесь — оставлю все как есть, на своих местах.

Это единственный способ выразить протест. Это мой способ противостоять происходящему: жить так, как я жила всегда, и не позволять им что-то в ней менять.

\* \* \*

Милли уставилась на нетронутую кошачью миску, полную корма.

— Где Альфонс?

— Не знаю, милая.

— Но уже почти полночь.

— Не переживай, дорогая, уверена, он вернется. Кошки всегда находят дорогу домой.

Но Милли расстроена, хмурые морщины залегли у нее на лбу. С некоторой долей вины понимаю: она беспокоится, потому что кота чуть не усыпили. Она считает, что Альфонс беззащитен.

Читаю ей сказку, но она не может усидеть на месте. Милли все время бегает на кухню, посмотреть не вернулся ли кот.

— Это все немцы, да? — спрашивает она. — Это немцы забрали Альфонса.

— Я так не думаю, — отвечаю я.

— Я хочу его обратно, мамочка. И мячик свой хочу назад. Все просто ужасно.

Ее личико морщится, словно бумажное, и слезки начинают катиться из глаз.

Я уже и позабыла о мяче, который укатился в сад Ле Винерс.

— Милли, с мячиком вообще нет никаких проблем. Я запросто куплю тебе новый.

Она не обращает на мои слова никакого внимания и сердито утирает слезы.

— Бланш говорит, что это все немцы. Бланш говорит, что немцы едят кошек, — уверяет она меня. Ее голос звенит от негодования.

— Она просто тебя дразнила, Милли, — отвечаю я. — Я правда не думаю, что они так делают.

Но начинаю задумываться, а вдруг в том, что Альфонса нет дома, и правда виноваты немцы. Особенно если вспомнить того светловолосого молодого человека, приласкавшего кота. Может, он прикармливает его. У этих животных нет понятия о преданности.

Слушаю, как она молится, и потом укладываю ее в кровать.

— Ты должна найти его, — сурово говорит она мне.

За окном гостиной темнеет. Сначала все становится темно-синим, потом наступает ночь. На небе рассыпаны мириады звезд и кусочком дыни болтается луна. Кот так и не вернулся.

Время уже перевалило за девять. Думаю про комендантский час, но в Ле Винерс шторы плотно задернуты и стоит полная тишина.

Решаю выйти наружу и поискать кота. Знаю, что могу сделать это тихо, и меня никто не увидит.

Мою заднюю дверь не видно из Ле Винерс. Выхожу через нее прямо в темную ночь.

Держусь как можно ближе к живой изгороди, медленно крадусь в ее тени, пробираюсь по переулку до колеи, ведущей в Ле Рут.

Не смею позвать его, но надеюсь, что Альфонс меня услышит, — возможно, ощутит мое присутствие тем удивительным шестым чувством, которым обладают кошки.

Неожиданно сзади раздается звук мотора. Должно быть, немецкие солдаты, раз уж теперь жителям острова не разрешается пользоваться автомобилями. Внезапно на меня накатывает страх, пульс учащается, а кожа покрывается холодным потом.

Через брешь в изгороди проскальзываю в поле и пригибаюсь к земле. Свет фар заливает кусты и проносится мимо. Молюсь о том, чтобы меня не заметили.

Потом я слышу, что машина начинает тормозить и останавливается. Наверное, она принадлежит немецким солдатам, поселившимся в Ле Винерс.

Прокрадываюсь обратно в дом, запираю дверь на ночь и чувствую прилив облегчения, по крайней мере, я благополучно добралась до дома. Альфонс сидит в кухне на стуле и усердно вылизывается. Ругаю его себе под нос.

Отношу его наверх к Милли. Ее лицо светится.

Но я не могу поверить, что сделала это. Вспоминаю кое-что, о чем всегда твердили растившие меня тетушки: «Вивьен, ты слишком доверчива. Не следует позволять людям вытираять о себя ноги. Не следует быть такой тряпкой... Твоя мягкосердечность однажды доведет тебя до беды».

Думаю, что, пожалуй, они были правы. Я вела себя глупо и безответственно, подвергая себя такому риску из-за кота, просто потому, что Милли немного огорчилась.

\* \* \*

Во время завтрака, делая себе кофе, опрокидываю молочник. Должно быть, от беспокойства я становлюсь неуклюжей. Стоя на коленях вытираю разлитое с кухонного пола, когда раздается скрип сапог по гравию, а затем быстрый стук в дверь.

Это один из мужчин из Ле Винерс, худощавый и смуглый, с плоским лицом. Его форма, его близость мгновенно заставляют меня испугаться.

К страху примешивается чувство неловкости от того, что на мне передник, в руках полотенце, что он может рассмотреть мою кухню, которая выглядит неряшливо из-за мокрого белья, висящего на перекладине перед плитой. Во мне зарождается ощущение, что я позволяю ему увидеть слишком многое.

— Доброе утро, — говорит он. Его английский четкий и выверенный. Я вижу, что он замечает мой передник и молочную лужу на полу. — Боюсь, я пришел в неподходящее время.

Я уже готова сказать: «Все хорошо» — машинальный ответ на его признание. Но не все хорошо. Все не хорошо. Я прикусываю язык, не давая себе говорить.

Он протягивает руку. Это меня поражает. Думаю о том, как они бомбили гавань, когда все наши солдаты ушли, как стреляли по грузовикам, чтобы взорвать бензобаки, когда под ними прятались люди; вспоминаю тело Фрэнка, обгоревшее и истекающее кровью. Я качаю головой, убираю руки в карманы. Не могу поверить, что он считал, будто я захочу пожать ему руку.

Он опускает руку, слегка пожимая плечами.

— Капитан Макс Рихтер, — говорит он.

Внезапно меня охватывает страх. Он пришел, потому что я выходила на улицу во время комендантского часа. Он меня видел. У меня пересыхает во рту, язык прилипает к небу.

Легким требовательным жестом он показывает, что желает узнать мое имя.

— Миссис де ла Маре, — представляюсь я.

Он ждет продолжения, вопросительно заглядывая поверх моего плеча в дом.

— Мы живем здесь вчетвером: я, мои дочери и моя свекровь, — отвечаю я на его незданный вопрос.

От входной двери можно заглянуть в гостиную. Я замечаю, что он смотрит в ту сторону и обворачиваюсь. Эвелин сидит в кресле и все видит. Он наклоняет голову, приветствуя ее. Она отвечает ему острым, как рыболовный крючок, взглядом, а потом опускает глаза.

— А ваш муж? — спрашивает он.

— Мой муж в армии.

Он кивает.

— Мы теперь будем вашими соседями, миссис де ла Маре.

— Да.

— И... думаю, вы знаете правила.

При этих словах на его лице появляется жесткое выражение, рот становится тонким, как порез от бритвы. Я понимаю, что мне бы хотелось, чтобы пришел другой офицер, тот, который со шрамом. Думаю, что, возможно, он был бы менее строгим, чем этот человек, и менее корректным и отчужденным.

— Да, — говорю я.

— Вы знаете про комендантский час.

— Да.

Сердце несется вскачь. Я представляю, как меня забирают и сажают в тюрьму. А мои дети? Что станет с моими детьми? Я все еще держу руки в карманах. Впиваюсь ногтями в ладони, пытаясь унять дрожь.

— Мы надеемся на спокойную жизнь... для всех нас.

— Мы тоже. Конечно.

Мой голос слишком тонкий и напряженный. Я похожа на наивную девушку.

— Не ставьте нас в трудное положение, — говорит он.

— Мы не станем, — отвечаю я.

Его холодный и довольно циничный взгляд останавливается на мне. Что-то в нем говорит, что он видел меня на дороге.

— Я рад, что мы понимаем друг друга.

Он опускает руку к своему ремню. Страх хватает меня за горло: мне кажется, что он собирается вытащить пистолет. Но он достает что-то из кармана.

— Думаю, это ваше, — говорит он. — Наверное, одной из ваших девочек.

Это мяч в разноцветную полоску, который Милли потеряла за забором. На меня обрушивается облегчение, отчего я начинаю дрожать, и появляется слабость. Короткий, невеселый и истеричный смешок застревает в горле. Я тяжело сглатываю.

— Ох. Да. Спасибо.

Я беру мяч. Не знаю, что еще сказать.

— У меня тоже есть дочери, миссис де ла Маре.

В его голосе мелькает тоска. Это удивляет меня.

— Вы, должно быть, скучаете по ним, — говорю я. Потому что вижу — скучает. Потом задумываюсь: почему я это сказала, почему была так приветлива?

Сержусь на себя, ведь я не обязана ни в чем признаваться, я ничего ему не должна. Я совсем растерялась: не знаю, как правильно себя вести.

Его взгляд возвращается к моему лицу. Я знаю, он может прочесть мое смущение. Все запуталось, смешалось у меня в голове: страх, который я испытываю, суровое выражение его лица, когда он говорил о комендантском часе, и его доброта, ведь он принес мяч.

— Ну, тогда хорошего утра, миссис де ла Маре. Помните про комендантский час, — говорит он и поворачивается.

Я быстро закрываю дверь. Чувствую себя выставленной напоказ, не могу точно сформулировать или определить. На моих ладонях маленькие красные полумесяцы в тех местах, где я вжимала в них ногти.

— Вивьен, — зовет меня Эвелин.

Иду к ней.

— Варвар заходил в дом, — говорит она. — Ты открыла дверь варвару.

Она взъярвана. Она опускает вязание, ее морщинистые руки порхают, как маленькие бледные птички.

— Эвелин... я не могла не открыть дверь. Этот человек теперь живет в Ле Винерс.

— Панибратство — безобразное слово. Безобразное слово для безобразного поступка, — строго говорит она.

— Эвелин, я не панибратствовала. Но мы должны быть вежливыми. Должны быть у них на хорошем счету. Они могут сделать с нами что угодно.

Она непреклонна.

— Ты жена солдата, Вивьен. Ты должна показать силу воли. Если он снова придет, не вздумай пускать его в дом.

— Не буду. Обещаю.

— Никогда не пускай их, — говорит она. Пылко. — Никогда не пускай их.

Как будто это правило — то, за что можно зацепиться посреди жизненного хаоса.

Она поднимает вязание. Но потом снова откладывает, неопределенно глядя в мою сторону. На ее лице неожиданная растерянность, глаза словно затянуты дымом.

— Скажи-ка мне еще раз, кто это был? Мужчина, который приходил? Вивьен, кто он, говоришь?

Я не в силах снова все повторять.

— Один из наших соседей, — отвечаю я ей.

— Ох, ты и твои соседи.

Она снова поднимает свое вязание.

# Глава 11

С наступлением темноты выхожу во двор, чтобы собрать ботву для компостной кучи. На некоторое время замираю, вдыхая ночной воздух, в нем смешались все запахи, что источают растущие вокруг цветы.

Чувствую ароматы, доносящиеся с заднего двора, и запах растущего табака, который всегда богаче раскрывается именно по ночам. Небо глубокое, вокруг залегли длинные тени, везде появляется оттенок синевы.

Из Белого леса, где деревья уже опутаны тьмой, доносится уханье совы: дрожащее, словно потерянная душа, заплутавшая среди листвы. Неискушенная душа.

На столе в кухне Ле Винерс горит лампа, шторы еще не задернуты. Свет от нее разливается на мой двор, обесцвечивая все, на что падает. Лепестки герани в горшках у моей двери бледно-желтые, в них нет цвета.

Заглядываю в окно и вижу сидящего за столом человека. За столом Конни. Он без кителя, верхняя пуговица рубашки расстегнута.

На первый взгляд мне кажется, что это капитан Рихтер, который приходил к нам, но потом я вижу, что это другой мужчина, тот, что со шрамом. На него падает свет лампы и освещает покалеченную сторону лица.

Совершенно четко вижу его шрам, неровные края, розовую нежную ткань, которая отличается от всей остальной кожи. Сейчас мужчина кажется другим, не таким, каким он был, когда вылез из джипа. Он сидит в одиночестве в свете лампы — такой задумчивый, менее властный.

Я наблюдаю, как он закатывает манжеты. Механически, не задумываясь над своими действиями. Его мысли где-то далеко. Он что-то читает: книгу или письмо. Мне не видно, что это: стол ниже подоконника.

Думаю, что это именно письмо. Только письмо способно настолько удерживать внимание. Какое-то новое выражение мелькает на его лице: ему что-то не нравится. Он хмурится; рассеянно пробегает пальцем по лбу.

У меня возникает мысль: «Так он выглядит, когда сосредоточен». Голубоватый дым от сигареты, лежащей в пепельнице, окружает его и мягко завивается в спирали возле лица мужчины.

Он один, и я знаю, он ощущает свое одиночество. Он не знает, что я за ним наблюдаю. У него вид человека, который и не подозревает, что за ним подсматривают.

Внезапно мне становится любопытно, а что у него в другой жизни. Той, где он не был солдатом. Его дом, люди, что дороги ему. Задумываюсь, что для него значит быть здесь, когда все, что его окружает этой ночью на острове, столь ему незнакомо.

Ночью природа словно сама по себе, отдельно от нас. Даже для меня, так долго прожившей в этой уединенной долине, ночь на Гернси может показаться немного чужой: одинокий крик совы, густая, глубокая темнота.

Интересно, откуда он, к чему стремится? Тоскует ли он по дому, как тосковала я, когда впервые приехала сюда? Мы с такой легкостью используем это слово, но я думаю о том, чему научилась тогда: что тоска по дому — это настоящая болезнь, печаль, так похожая на скорбь по тому, что было потеряно или отнято.

Я все еще чувствую ее время от времени, всего лишь след былой тоски; он возвращается

воспоминанием о свете фонарей, о тротуарах под дождем, о запахе гари в подземке — обо всех запахах и звуках Лондона, о его гудящей и страстной энергии. Интересно, по чему тоскует этот мужчина?

Я так и стою, глядя на него. Мысленно приказываю ему поднять глаза, посмотреть в окно, на меня. Похоже на детскую игру, как будто я могу заставить его увидеть меня, как будто он моя марионетка.

Сейчас, в эту минуту, власть принадлежит мне — малюсенький ее кусочек. Потому что я смотрю на него, а он об этом не знает, он меня не видит.

Но он не двигается, не шевелится, его глаза прикованы к тому, что он читает. Я проскальзываю в дом. Я взволнована, но не знаю, как сформулировать причину. Как будто все не совсем так, как я представляла.

Ложусь в кровать, но долго не могу заснуть.

# **Часть II**

## **Июль — Октябрь 1940**

# Глава 12

Мама умерла, когда мне было три. Помню, как нас с Ирис, мой старшей сестрой, отвели к ней в комнату, чтобы попрощаться. Там пахло как-то неправильно. В спальне мамы всегда пахло розовой водой, но в тот момент там стоял тяжелый, удушающий запах дезинфицирующих средств.

Да и сама мама выглядела как-то необычно, размыто, словно ее лицо было вылеплено из воска и начало таять. Я была немного напугана ее видом. Мне хотелось уйти из комнаты, оказаться где-нибудь в другом месте, а не здесь. Она слишком крепко держала меня за руку и плакала. И мне это не нравилось.

Я мало что помню из тех недель и месяцев, что были потом, за исключением того, что на похоронах на мне было жесткое черное платье из материала, от которого все зудело, а люди постоянно ругали меня за то, что я чесалась.

После смерти мамы я некоторое время молчала, просто отказывалась разговаривать. Так мне сказали. Я не многое помню из того времени. Кроме музыкальной шкатулки, которую мне отдали, и которую я заставляла играть часами напролет, поскольку музыка пахла воспоминаниями о маме.

В голове возникают картинки дома, в котором мы жили на Эвингтон-роуд, 11, рядом со станцией «Клапхэм Коммон». Это был высокий, безликий дом, который никогда не спал, который кряхтел и скрипал ночи напролет. А еще там был укрытый от посторонних взглядов сад, с нависшими над ним деревьями и нападавшей за много лет листвой. И тетушки, которые заботились о нас: тетя Мод и тетя Эгги. Они были добры, но не могли заменить мне маму. Очень часто, расчесывая волосы, они делали мне больно. Я навсегда запомнила, как они слишком сильно дергали запутавшиеся пряди, а не осторожно распутывали узелки, как делала мама.

Я была нервозным, испуганным ребенком. Боялась многих вещей: грозы, края железнодорожной платформы; пауков, даже самых маленьких, пробегающих по террасе в задней части дома. Боялась их давить, поскольку тогда оставался мазок, словно кровавое пятно. Но больше всего я боялась темноты.

Я всегда боялась темноты. Однажды мы играли с Ирис в школу. Я была чуть старше, чем Милли сейчас, мне было пять. Ирис была учительницей.

Она была строгой и суровой и решила, что я плохо себя вела, поэтому заперла меня в угольном сарае. Сарай был бетонным, без окон, с плотно прилегающей дверью, чтобы сохранить уголь сухим, даже лучик света не проникал из-под двери. Я помню темноту, внезапную и абсолютную, страх, поднявшийся во мне, как приступ тошноты, быстрый панический бег моего сердца. Было очень темно, и сначала я решила, что закрыла глаза, что каким-то образом они склеились, но потом я поднесла руку к лицу и обнаружила, что они открыты: ощущала трепет кончиков ресниц.

В тот раз я узнала, что темнота бывает разной. Что есть обычная темнота, похожая на ночь за городом, когда даже в безлунную ночь, присмотревшись, можно разглядеть прступающие темные очертания вещей. А есть темнота другая, настолько полная, что ее невозможно даже представить себе.

Темнота, которая заслоняет все ваши воспоминания или надежды. Темнота, которая учит тому, что все, что приносит вам утешение, — ненастоящее.

Не думаю, что пробыла там долго. Тетя Эгги поняла, что случилось, отругала Ирис, пришла и открыла дверь. Но я совсем не запомнила тот момент, когда меня снова выпустили на белый свет. Я запомнила темноту.

\* \* \*

Насколько потеря матери повлияла на мою дальнейшую жизнь? Теперь я вижу, что очень сильно, хотя мне потребовались годы, чтобы это понять.

Сейчас мне даже интересно, не по этой ли причине я вышла замуж за первого же мужчину, с которым ходила на свидание, имеет ли эта потеря какое-то отношение к моему решению. Желание устроенности, стремление к безопасности, мечта о том, чтобы все оставалось по-прежнему. Меня слишком пугали перемены и неизвестность.

Мне было девятнадцать, когда я встретила Юджина, и я все еще жила в доме на Эвингтон-роуд. Я работала секретарем в страховой компании в Клапхэме. Мы с Юджином познакомились на благотворительном собрании в церкви. Он был банковским служащим и снимал квартиру в Стритаме, где всегда пахло брокколи.

Он с восторгом переехал в Лондон и надеялся получить от него нечто, что тот каким-то образом не сумел ему дать. Когда мы встретились, он уже жаждал вернуться на Гернси. Его окружал едва заметный нафталиновый запах разочарования, хотя поначалу я этого не замечала.

Юджин был привлекательным мужчиной с ясными глазами, симметричными чертами, приглаженными волосами и чисто выбритым лицом, благодаря чему он выглядел намного моложе своих лет. Наши дочери унаследовали его, это открытое, искреннее выражение лица.

И он всегда был очень хорошо одет: его деловые костюмы были так отглажены, что о стрелки можно было порезаться, а ботинки были начищены до зеркального блеска. «Он так очарователен, — говорили все. — Выглядит совсем как Джек Пикфорд. Ну, разве это не прекрасная партия для тебя?»

Было что-то обнадеживающее в том, как легко и умело он ухаживал за мной: желтые розы, коробочки с мармеладом «New Berry Fruits». Создавалось чувство, что я могу на него положиться, что он возьмет все в свои руки и сам все решит. Что он во мне нашел? Не понимаю.

Не знаю, сейчас уже не могу представить, хотя он всегда очень лестно отзывался о моей внешности и нарядах. Он знает, как польстить женщине. Может, мое звучащее совсем по-французски имя каким-то образом обнадежило его, навело на мысль, что я подойду для жизни на его острове.

Возможно, это звучит странно, но люди часто позволяют подобным вещам управлять собой, принимают важные решения на основании легкого манящего жеста. Я такое встречала. Какой бы ни была причина, он с нетерпением ждал, когда же сможет подхватить меня и привезти на Гернси.

Но все оказалось не так, как я себе представляла, начиная с нашей первой ночи. Я не почувствовала того, что, как я знала, должна была почувствовать. Я думала, что это, должно быть, моя вина, что со мной что-то не так, чего-то не хватало во мне.

Или, если говорить точнее, мне чего-то не хватало. Потому что я знала, что способна чувствовать подобные вещи, просто не в постели с Юджином. Бывало, что я видела, как

мужчина — незнакомый — ослабляет галстук, расстегивает манжеты, заворачивает рукава рубашки, и что-то сжималось у меня в животе, меня охватывал трепет.

Иногда мне снился сон, в котором позади меня стоит мужчина и расчесывает мои волосы, а я откидываюсь назад и чувствую тепло, когда он прижимается к моей спине, и тогда я просыпалась, охваченная желанием.

Может быть, Юджин ощущал нечто похожее: что чего-то не хватало. Потому что мы очень редко занимались любовью, а с тех пор, как я забеременела Милли, и вовсе ни разу.

Мы никогда не говорили об этом — да и как о таком заговорить? Постепенно, предательски, с легкой дрожью в сердце, я начала узнавать слухи. Юджину нравился любительский театр, и он присоединился к кружку, который репетировал в Сент-Питер-Порт.е

У него был приятный, выразительный голос, и ему нравилось играть роли. Там была женщина, Моника Чарлз, которая иногда играла с ним в паре. Рыжие волосы, обширный бюст, острые накрашенные ногти и роскошный бархатный аромат «Shalimar», которым она всегда пользовалась.

Она довольно громко разговаривала и принадлежала к тому типу женщин, которые словно забирают весь кислород в помещении. В ее присутствии я всегда чувствовала себя маленькой и невзрачной.

Однажды Гвен осторожно спросила, слегка хмурясь от неловкости и не глядя на меня: «Тебя не беспокоит, что Юджин так приветлив с Моникой Чарлз?» У меня екнуло сердце. «Нет, а должно?» «Я просто спросила», — ответила она. «Он любит театр, страстно влюблен в него, — сказала я, осторожно подбирая слова и складывая их между нами, как маленькие камушки. — Хорошо, что у него есть занятие, которым он так наслаждается». «Ты очень сильная. Я тобой восхищаюсь», — сказала Гвен и сменила тему. Я не стала думать над тем, что она сказала, и старалась больше не возвращаться к тому разговору, как будто ее слова были чем-то острым, что могло меня ранить.

Однажды вечером я повела девочек к нему в гримерку. Он вместе с Моникой Чарлз играл в «Частных жизнях». Милли было два года, пьеса ее утомила, и я несла ее на руках, теплую и тяжелую. Я постучала, он не ответил, и я толкнула дверь.

Меня коснулся запах «Shalimar», загадочно-бархатный, коварный. Юджин был там с Моникой Чарлз. Она стояла, подняв одну ногу на стул, ее юбка была собрана вокруг бедер, а он медленно стягивал с нее чулок.

В его ласкающих прикосновениях сквозила чувственность, совершенно мне не знакомая. Они подняли головы, заметили меня и отпрянули друг от друга. В его глазах отразилось потрясение, а затем я увидела, как в них начали выстраиваться оправдания. Я не осталась, чтобы их выслушать.

Бланш стояла у меня за спиной, Милли клевала носом. «Его здесь нет, — сказала я. — Должно быть, мы его прозевали». Я быстро увела девочек. Не думаю, что они что-нибудь разглядели.

Мы никогда это не обсуждали, просто продолжали жить, как раньше. Но с этого времени что-то во мне закрылось окончательно, как дверь гримерки, которую я захлопнула за собой. Что-то закончилось для меня.

Иногда я задумывалась об этом: о том, чего так не хватало моему браку; о той части меня, которую, мне казалось, я никогда не смогу выразить, но которая может быть так внезапно, почти случайно потревожена какой-то мимолетной грезой или брошенным на

незнакомца взглядом, или незнакомцем, взглянувшим на меня.

Помню один момент, что случился со мной давно, когда я была уже знакома с Юджином, но все еще жила в Лондоне. Я шла по набережной Темзы, мне встретился мужчина, который обернулся, чтобы посмотреть на меня. Это было незадолго до свадьбы — я шла на встречу с Ирис в Лионский угловой дом, что стоял на Тоттенхем-корт-роуд.

Она должна была стать свидетельницей на моей свадьбе, и я хотела показать ей образцы ткани для ее платья. На мне был изящный темно-синий костюм, замшевые, с ремешками, туфли на высоком каблуке, лучшие шелковые чулки с идеально ровными стрелками и розовая войлочная шляпка с плотной репсовой лентой.

Я немного запаздывала на встречу. Вероятно, опять витала в облаках, прокручивая в уме очередное стихотворение, и, должно быть, мое лицо раскраснелось на осеннем ветру.

Мужчина был старше меня. Высокий, с несколько усталым, но живым лицом. У него был серьезный взгляд, никакой улыбки. Такой взгляд, который чего-то требовал от меня, взгляд, выходящий за грань одобрения или заискивания.

Его взгляд был таким настоящим, как касание руки. Я почувствовала, как по мне прошла жаркая волна, яркая нить непередаваемого ощущения прокатилась вниз по телу. Все вокруг танцевало: падающие коричневые листья, бушующая река.

Я до сих пор порой вспоминаю эту минуту. Если бы он позвал меня с собой, я бы пошла.

# Глава 13

Четверг. Поднимаюсь на холм, чтобы повидаться с Энжи. Я надела одно из двух своих лучших платьев. Повседневное платье, которое я обычно ношу, не подходит для выхода. Второе было на мне в день бомбардировки. Я замачивала его снова и снова, но так и не смогла вывести пятна крови.

Этим утром в Ле Винерс нет никаких признаков присутствия немцев. Должно быть, они уже отправились на работу. Хотя я и не представляю, чем они могут заниматься. Не так уж это и сложно — держать под контролем наш остров. Погода немного поднимает мне настроение. Сегодня яркий, свежий денек, дует легкий летний ветер с запахом соли, земли и цветов.

По краям дороги пышно цветут наперстянка и фиолетовый окопник; протекающий рядом с дорогой ручей тоже зарос зеленью: олений язык, листочки кресс-салата, камнеломка. Поток воды, бегущий через папоротники, вертится на свету, как живое существо. Всего на мгновение я могу представить, что все как всегда и нет никакой оккупации.

Несу Энжи пирог и немного ежевичного желе из прошлогоднего урожая. Хотя я и задумываюсь, а не несу ли я эти гостинцы скорее для себя, нежели для нее. Я чувствую себя беспомощной; я должна что-то сделать для нее. И она благодарна.

— Ох, Вивьен, ты такая заботливая... И выглядишь ты сегодня прелестно. В этом платье ты просто загляденье, — говорит она.

— О, спасибо, Энжи.

Разглаживаю юбку. Она прелестна, Энжи права: на хлопке изображены цветы — желтые, кремовые, множество разных цветов. Есть там и синие незабудки. Разноцветие дикого луга. Я не говорю Энжи, почему так одета.

Она готовит для нас чай в большом коричневом керамическом чайнике. Снаружи, за открытой дверью суетятся и стучат коготками куры.

— Много их? — спрашивает она.

Понимаю, что она имеет в виду немцев.

— Они реквизировали дом Конни, что стоит по соседству с моим. Там их живет четверо, — рассказываю ей я.

Энжи фыркает.

— Реквизировали? Да они используют всякие красивые словечки, чтобы водить нас за нос, — говорит она. — Украли, вот как правильно... Они совсем рядом, да, Вивьен? Вы постоянно будете на виду друг у друга. Мне вообще это не нравится.

— Ну, по крайней мере, они не забрали наш дом.

Сегодня у Энжи день стирки. В кухне стоит запах хозяйственного мыла и влажного белья. Она почти закончила: пропускает одежду через валики, прежде чем развесить ее. Вижу, что она постирала что-то из одежды Фрэнка.

— Не возражаешь, Вивьен, если я закончу? — спрашивает она.

— Нет, конечно, нет.

Она видит, что я заметила рубашки.

— Решила постирать его одежду, — говорит она. — Она не сильно поношена. Отдам ее Джеку, моему брату. Он всегда благодарен за вещи. Им с Мейбл немного трудновато

прокормить всех своих детей.

Потягиваю чай и наблюдаю, как она прокручивает тяжелую ручку каландра. Вода стекает в лоток, капли стучат в ритм движений Энжи.

— Так, Энжи, ты... — Слова застревают у меня во рту. — Я имею в виду, как дела?

Она смотрит на меня печальным, но пристальным взглядом.

— Если честно, Вивьен, не так уж и хорошо, — весьма прозаично отвечает она. — Но я знаю, что не должна жаловаться. Очень многие кого-то да потеряли.

— Но от этого не легче, — говорю я.

Некоторое время мы молчим. Снаружи доносится клекот кур и свист дрозда, сидящего на старом дереве, растущем возле двери.

То, как она выглядит, не дает мне покоя. Ее лицо измучено, словно уже прошли годы с того момента, как погиб Фрэнк. Словно за все эти годы река времени омыла ее и уносит прочь.

— Скажи мне, если я чем-то могу тебе помочь, — почти беспомощно говорю я. — Все, что угодно. Я могу принести тебе немного еды или что-то еще...

Она поднимает на меня взгляд. Проводит рукой по волосам, которые представляют из себя сплошной темный хаос. Она не стала их закручивать на бигуди.

— У тебя доброе сердце, Вивьен. И, поскольку ты предложила сама, ну, есть кое-что, — говорит она. Энжи заливается краской, смущается, и мне интересно почему. — Мне нужно выбрать гимны. Для его завтраших похорон. Дело в том, что я не очень сведуща в грамматике.

Она говорит, что не умеет читать. Для меня удивительно, что я не знала этого раньше.

— Просто скажи, что мне делать, — говорю я.

— В шкафу в гостиной лежит книга с гимнами, — говорит она. — Не могла бы ты ее принести? А я пока закончу стирку.

Я иду в гостиную через коридор. Когда много столетий назад построили ее дом, эта комната служила хлевом, люди и животные спали под одной крышей. Она не кажется такой уютной, как кухня. Здесь стоит неуклюжий гарнитур: диван и два кресла с наброшенными на них пыльными покрывалами, а воздух затхлый, с сильным запахом лавандового воска и сырости. Становится понятно, что Энжи не часто здесь проветривает. Я нахожу книгу и несу ее.

— Есть там список гимнов? — спрашивает она.

Я открываю содержание.

— Можешь прочитать мне первые строки? Просто чтобы напомнить, а я выберу свои любимые.

Я читаю первые строчки гимнов, делая короткую паузу после каждого, пока она раздумывает, все это время продолжая крутить ручку, так что вода с отжатого белья каплями стекает в лоток. Она слушает внимательно, с сосредоточенным видом.

Наконец мы добираемся до того, который ей нравится.

— Вот. Стой, Вивьен. «Качаясь в колыбели волн». — Она пробует фразу на вкус, как будто сочный, согретый солнцем фрукт. — Мне он всегда нравился.

— Да. Мне тоже. Он понравился бы Фрэнку? — говорю я.

Она задумывается.

— Честно говоря, Фрэнк не сильно-то беспокоился насчет религии, — говорит она. — У него совсем не было времени на верующих. Он говорил, что они отвлекают Бога. Он всегда

говорил, что они так же плохи, как все остальные... Но сама я немножко религиозна. Думаю, это помогает жить дальше.

— Да, может быть, — говорю я.

— А ты верующая, Вивьен?

Такой прямой вопрос меня нервирует. Я думаю о том, что всю жизнь любила ходить в церковь; о том, как мне нравятся витражи и песнопения, как я до сих пор нахожу успокоение в знакомых звучных словах, как я все еще иногда молюсь. Но я не знаю, насколько сильно верую теперь.

— Ну, думаю, да, — говорю я.

В тишине кухни звук падающих капель кажется слишком громким, громче, чем голос Энжи, доверительный, хриплый от никотина.

— Когда я была ребенком, мама научила меня молитве, — говорит она. — Она говорила, что это молитва бretонских рыбаков. И что это единственная молитва, которая когда-либо может понадобиться. «О Господь, помоги мне, ибо океан твой велик, а моя лодка так мала». Хорошая молитва, да? Тебе нравится, Вивьен?

Я подумала об ожидании в гавани. О маленьком корабле, которому я не смогла довериться, на который не смогла подняться. О полной опасностей, сверкающей, непредсказуемой бесконечности моря.

— Да, мне нравится, — отвечаю я.

Она кивает.

— Я всегда считала, что это хорошая молитва. — Легкая печальная улыбка. — Только Он мне не помог, ведь не помог же? Он совсем мне не помог. Не в этот раз.

Я ухожу, оставляя ее выжимать одежду умершего мужа.

# Глава 14

Этим летним утром я иду домой, печалясь за Энжи, думая о том, какой потерянной она кажется, насколько она постарела. Размышляя, что я могу сделать, чтобы ей помочь. Я даже не смотрю по сторонам. Я как во сне, в своих мыслях. Совсем как в детстве, когда я не приходила на зов и тетя Эгги, качая головой, говорила: «Ты такая мечтательница, Вивьен. Все время витаешь где-то в облаках. Ты слишком много думаешь, нужно жить в реальном мире».

Если бы я не была настолько погружена в раздумья, то, возможно, заметила бы автомобиль в переулке; возможно, я успела бы свернуть, прошла бы через поле к тропе и вернулась бы домой через заднюю калитку. Но я заметила автомобиль, только когда была уже совсем рядом.

Это не военный транспорт, а большой черный «Бентли», стоящий на обочине перед воротами в Ле Винерс. Я узнаю автомобиль. Он принадлежал Губертом, они жили в Ле Брк — величественном побеленном доме рядом с церковью — до того, как уплыли на корабле. Немцы, должно быть, реквизировали авто — украл, как говорит Энжи.

Капот открыт. Один из обитателей Ле Винерс — мужчина со шрамом, которого я видела в окне, — высматривает что-то под капотом. Я слишком поздно вижу его. Я бы сделала что угодно, чтобы избежать встречи с ним, но уже не могу развернуться.

Это будет выглядеть трусостью, а мне невыносимо, чтобы он думал, будто я испугалась. Он что-то поправляет в двигателе, ворча вполголоса, потом открывает дверь, садится и пробует включить зажигание. Капот все еще открыт. Двигатель делает оборот, чихает и глохнет.

Он вылезает, пинает ногой колесо и ругается — бурный поток немецкой браны. Какая-то часть меня думает: «Хорошо. Может, он и украл автомобиль, но, по крайней мере, он не может заставить его поехать».

Но я также и напугана, в уме всплывает молитва, рассказанная Энжи. «О Господь, помоги мне...» Я стою на месте, неуверенная, полная дурных предчувствий. Чтобы добраться до ворот в свой двор, мне нужно пройти мимо него. Сейчас я больше всего на свете жалею, что не подумала возвращаться через поля.

Он поворачивается, видит меня. У него потрясеный вид, он пристально всматривается, словно я призрак или наваждение. Как будто это я здесь не к месту, будто меня не должно здесь быть. Наполненный ароматами ветер овеивает нас, он раздувает мою юбку, а потом оборачивает ее вокруг тела и забивает мне в рот непослушную прядь. У меня горит лицо, я знаю, что покраснела, и ненавижу это. Сердце сбивается с ритма. Думаю, что сейчас он закричит на меня или станет угрожать.

— Извините меня, — говорит он. У него очень хорошее английское произношение, такое же, как у капитана Рихтера. Он слегка краснеет, словно ему стыдно.

Я не знаю, что сказать. Чувствую себя глупой, застигнутой врасплох, неуклюжей, будто я занимаю слишком много места, будто мои руки и ноги слишком длинные для моего тела.

— Все в порядке, неважно, — машинально отвечаю я. Потом замечаю, что быстро подношу руку ко рту, как бы останавливая себя.

Он слегка наклоняет голову, поворачивается и уходит в дом.

В моей голове раздается сердитый голос: «Ты допустила ошибку, все сделала не так. Не

следовало говорить: «Неважно», вообще не следовало разговаривать. Все важно, ничего не в порядке».

До меня доходит, что именно такой и будет наша новая жизнь во время оккупации: все время эти мучительные, пугающие встречи, оставляющие чувство того, что ты перешла черту и что-то предала.

Позже из окна своей спальни я наблюдаю, как мужчина со шрамом выходит с одним из молодых людей — с тем, у которого кожа шелушится от солнца. У юноши в руках ящик с инструментами. Он чинит автомобиль — ловко, без суеты.

Мужчина со шрамом садится в машину и включает зажигание — двигатель заводится. Сквозь автомобильное стекло я могу разглядеть на его лице ироничную улыбку. В голове всплывает мысль о том, сколько я о нем знаю. Знаю, что он не любит машины, чувствует, как они ему сопротивляются, никогда не делают то, что он хочет; что эта беспомощность заставляет его сердиться.

Знаю, как он может погрузиться в чтение книги или письма, хмурясь, рассеянно проводя по брови пальцем. Знаю, как он выглядит, когда думает, что его никто не видит: прикуривает сигарету, кладет ее в пепельницу и закатывает рукава рубашки — и все это неосознанно, не отдавая отчета в своих действиях. От этого знания становится не по себе. Такое чувство, что меня посвятили в тайну, о которой я никогда не спрашивала.

Перед тем как уехать, мужчина бросает взгляд на мое окно. Как будто знает, что я смотрю, хочет, чтобы я смотрела. Мое сердце глухо колотится. Я отхожу вглубь комнаты.

# Глава 15

Август. Остров никогда не был очаровательнее, все сады пышно цветут, небо высокое и яркое, с моря тянет солью и свежестью. В саду за моим домом, под навевающее дремоту журчание пчел, расцветают розы «Belle de Crécy», цветы обреченно широко раскрываются и отдают свой аромат.

До войны в такие прекрасные дни я брала девочек на пляж, может быть, на пикник в бухту Пети Бот, посадив Милли в корзину своего велосипеда.

Мы с Бланш ехали по дороге, ведущей к берегу, затененной и таинственной из-за переплетающихся ветвей и музыкальной из-за звенящих ручейков, бегущих к воде. А потом внезапно дорога заканчивалась, и мы выезжали навстречу свету, на пляж, который лежит между высокими утесами, словно драгоценный камень в согнутых ладонях, к гладкому мокрому песку и блестящей нефритовой прозрачности моря.

Но теперь пляжи для нас закрыты. Немцы их заминировали, на случай, если наша армия придет отвоевывать остров, во что никто из нас не верил. Наш остров стал тюрьмой.

Каждый вечер я включаю на радио новости Би-Би-Си и слушаю с тяжелым сердцем: новости ужасны. «Люфтваффе» бомбит английские аэродромы. Черчилль называет это «Битвой за Британию», он говорит, что битва за Францию окончена и началась битва за Британию.

Эвелин слушает вместе со мной, хотя я не знаю, понимает ли. Иногда в такие минуты ее лицо будто тает, и по нему текут слезы. Ее эмоции всегда на поверхности, как будто с годами та броня, которой она обладала, какая-то внутренняя защитная скорлупа в ней износила и отшелушилась.

— Это ужасно, Вивьен, — говорит она.

— Да, боюсь, что так, — отвечаю я. — Но мы не должны терять надежды.

Не знаю, почему я это говорю, когда сама потеряла всякую надежду.

Иногда по вечерам мы слышим, как над нами пролетают нацистские бомбардировщики из Франции, а потом с аэродрома Гернси взлетают истребители, чтобы сопровождать их до Англии.

Когда мы их слышим, думаю, все мы — даже те, кто обычно не молятся, — шлем быструю, лихорадочную молитву за наших летчиков, которые встречаются с ними. Удержат ли они «люфтваффе»? Как долго они продержатся против вторжения в Англию? Как скоро Гитлер пересечет Ла-Манш? Мы понимаем, что рано или поздно это должно произойти. Всего лишь вопрос времени.

Часто я думаю о Юджине, задаюсь вопросом, где находится его часть, молюсь, чтобы он оставался в безопасности. Но в эти мгновения, когда я о нем думаю, он кажется мне почти незнакомцем. Я говорю себе, это оттого, что он сейчас далеко, и потому, что мы не получаем от наших мужчин никаких писем или новостей.

Большинство женщин, чьи мужья воюют, должны чувствовать то же самое: ощущение удаленности, разлуки. Даже в глубине души мне сложно признать тот факт, что, когда он был здесь, мои чувства были такими же.

Когда он сидел за завтраком, отгородившись от меня своей газетой, словно я для него ничего не значу, словно меня и не существует. Когда он говорил: «Мы сегодня репетируем, не жди, приду домой поздно...»

Он говорил легко и непринужденно, но я все равно чувствовала, как на поверхности его слов хищно кружат акулы. Когда он ложился в кровать, отворачивался и не прикасался ко мне. Я не могу признать, что мы стали незнакомцами задолго до того, как он уехал.

\* \* \*

Только Милли, кажется, не очень обеспокоена оккупацией, хотя порой я слышу, как она отчитывает свою тряпичную куклу:

— Если ты будешь плохо себя вести, я все расскажу нацистам. И тогда они придут и разбомбят тебя на мелкие кусочки.

Но Бланш все еще расстроена тем, что мы не уплыли на корабле. Она проводит много времени у себя в комнате. В основном она слушает Ирвина Берлина, но однажды я захожу к ней и вижу, как она просто сидит и тянет за ниточку из манжеты, ничего не делая и глядя перед собой пустыми глазами.

На меня накатывает внезапная грусть. Грусть за то, что из-за оккупации стало ей недоступно: менять наряды,ходить на свидания, принимать цветы и все то, что сопровождает ухаживания. Она беспокоит меня.

Порой мне хочется, чтобы она опять стала маленькой, как Милли. Когда они маленькие, все гораздо проще: тебе нужно лишь купить им булочку или немного анизовых шариков. И они будут довольны.

В один из дней в конце августа Бланш идет за покупками в продуктовый магазин миссис Себир, который расположен на главной улице рядом с аэродромом. Она возвращается домой с горящими глазами, развевающимися волосами и улыбкой во все лицо. Все в ней улыбается.

— Мама, ты в жизни не догадаешься, что случилось. Миссис Себир спросила, не хочу ли я работать в ее магазине!

— И что ты ответила? — спрашиваю я.

— Да. Я, конечно же, сказала «да». Все же нормально, да? Она была очень довольна. Она сказала, что после того, как ее дочь уплыла на лодке, ей стало тяжеловато, и она уверена, что я справлюсь.

— Это прекрасно.

Это не совсем то, на что я рассчитывала. Когда Бланш была младше, до начала войны, я надеялась, что она отправится учиться дальше. Может, станет учителем. Но сейчас, когда царит полная неразбериха, это предложение о работе — подарок.

Ее лицо сияет, гиациントовые глаза блестят.

— Теперь я буду как Селеста, да, мам? — говорит она.

Бланш всегда считала работу Селесты в часовом магазине мистера Мартеля высшим шиком.

Мне будет не хватать ее дома в течение дня. Теперь Эвелин кажется такой слабой, такой сбитой с толку, что иногда я опасаюсь оставлять их с Милли одних.

Но видеть Бланш снова счастливой — прекрасно, и ее заработка, определенно, пригодится. В настоящий момент мы едва справляемся: у меня отложено немного денег, и Эвелин оплачивает некоторые счета. Но на счету каждый пенни.

Бланш начинает работать с понедельника. Она рано встает, надевает накрахмаленное

лучшее выходное платье в клеточку и накладывает немного помады, которую я ей купила. Возвращается уставшая, но довольная собой, с пакетом переспелых персиков, которые миссис Себир посчитала слишком помятыми для продажи. Мы едим персики — они восхитительны.

— Я рада, что ты устроилась на эту работу, — говорит Милли; по ее подбородку течет сладкий сок.

Мы все рады.

На острове становится все больше военных. Когда я приезжаю на своем велосипеде в Сент-Питер-Порт, чтобы обменять книгу в библиотеке, то обнаруживаю, что повсюду свастика, а в «Гомоне» немецкие кинохроники рассказывают о победах нацистов.

В магазинах намного меньше еды. Приходится стоять в очереди за хлебом, нет сладостей для девочек, и я нигде не могу найти кофе. Когда я иду обратно к своему велосипеду, по Хай-стрит начинает маршировать немецкий духовой оркестр, мимо всех знакомых магазинов, мимо магазинчика миссис дю Барри и Бутс.

Мне больно на это смотреть. И все же звук будоражит меня, как обычно и бывает от военной музыки, независимо от того, кто играет. В ней есть свое очарование, настоятельная необходимость; она заставляет твоё сердце биться. Я понимаю, что шагаю в такт музыке, что мое тело отвечает на ритм, и это меня беспокоит. Я как будто сдаюсь, отступаю перед чем-то.

По пути домой заглядываю к Гвен на ферму Вязов.

Мы сидим за ее широким чисто выскобленным столом. В кухне стоит такой теплый и уютный запах свежей выпечки; он, словно руки, заключает тебя в объятия. На столе в белом китайском кувшинчике стоит душистый горошек; цветы почти засохли, поэтому кувшин стоит в окружении шелковых опавших лепестков.

Мы пьем чай и едим домашний гаш, приготовленный Гвен. У него внутри изюм и цукаты, а сверху гаш покрыт тонким сахарным слоем. Любая домохозяйка Гернси умеет его готовить. Я тоже научилась, когда приехала сюда, но мой гаш не идет ни в какое сравнение с той вкуснотищей, что получается у Гвен.

Слизываю с пальцев остатки ароматного сахара.

— М-м-м. Так хорошо.

— Бери еще, Вив, — говорит она. — Такого изобилия больше не будет, мне кажется. Мне пришлось отстоять очередь за сахаром. Нам всем придется затянуть пояса.

— Да, пожалуй, что так.

Я пока даже и не задумывалась о том, откуда на наш остров попадает еда. Но сейчас из Англии не приходят корабли, а на острове стало вдвое больше людей.

— Я полагаю, они организуют поставки из оккупированной Франции, — говорит она. — Но можешь не сомневаться, что немцы будут забирать себе все лучшее. Повезло тем, у кого есть хоть какой-то клочок земли, люди в городе пострадают больше. С тем садиком, что у тебя, Вив, ты будешь жить припеваючи.

— Да. Думаю, мне пора бы уже начать сажать там что-нибудь.

Задумываюсь, что надо бы выкорчевать все свои розы и посадить на их месте пастернак. Легкая грусть тянет меня за рукав.

Говорим о наших детях. Я рассказываю ей о работе Бланш у миссис Себир и про персики.

— Это и вправду хорошее место, учитывая время, что нас ждет, — говорит она.

— Как Джонни? Я знаю, ты переживаешь за него.

— О, ну. Знаешь... — Она улыбается, но в глазах нет ни тени улыбки.

— Гвен, рассказывай.

Она невесело смеется.

— Ты всегда знаешь, о чем я думаю, Вив.

Ее голос подернут нитью беспокойства. Меня охватывает тревога. Жду.

— Дело в том, что... он проводит катастрофически много времени с Пирсом Фалья, — говорит она.

Чувствую прилив облегчения от того, что ничего серьезного не случилось. Пирс Фалья немного странный и несуразный парень. Помню его еще с церкви, когда он был чуть младше и приходил на утреннюю службу с родителями.

Вспоминаю его лицо, в котором есть что-то общее с остротой пустельги. Его глаза, что смотрят прямо на тебя. Его скрюченное тело, и то, как он подволакивает правую ногу. Когда Пирс был маленьким, он попал под садовую косилку. Говорят, ему повезло, что выжил. Я не понимаю, почему его дружба с Джонни так тревожит Гвен.

— Он забавный парень, этот Пирс. Если честно, мне он не очень нравится, — говорит она.

— Я не настолько хорошо его знаю, — отвечаю я.

— Он слишком ожесточенный. И выглядит старше своих лет.

— Мне кажется, у него была не очень легкая жизнь.

— Конечно, тебе его жаль. А я знаю, он злится от того, что его не взяли в армию. Я хочу сказать, он пытался, но они даже не рассматривали его всерьез. Он уже достаточно взрослый, он немного старше Джонни. Но я думаю, им было достаточно бросить на него один единственный взгляд. Джонни сказал, что он в смятении.

— Да. Бедный парнишка. Должно быть, так и есть...

Некоторое время мы просто сидим молча. Со словесным звуком, словно шкворчит на плите сковорода, в окно бьется муха.

Гвен шевелится.

— Знаешь, что я думаю, Вив, — говорит она. — Эта оккупация очень тяжела для мужчин. Особенно для молодых, таких как Джонни и Пирс, которым очень хочется ринуться в бой. Я имею в виду, что нам, женщинам, немного проще, да? Мы стираем, готовим и все такое, мы все еще знаем, что нам следует делать. Но это вторжение действует на мужчин просто ужасно. То, что они дозволили этому случиться. И не имеют возможности что-то сделать.

— Да, это очень трудно.

Но я-то живу в доме, где есть одни только женщины. Я не вижу ничего подобного.

— Вот поэтому я так переживаю за Джонни, — говорит она. — Эти молодые ребята очень хотят драться, вместо того, чтобы торчать здесь. А это повод для беспокойства.

То, что она говорит, немного тревожит меня.

— Но они, конечно же, ничего не сделают, — говорю я. — Да и как они смогут? Ведь остров такой маленький, здесь невозможно спрятаться. — Я думаю о немецком духовом оркестре, марширующем в Сент-Питер-Порте, о свастике и вездесущих немцах. — Я хочу сказать, их же здесь так много и они повсюду...

— Конечно, ты права. Я, наверное, совсем глупая. Они же тоже это поймут, да, Вив?

— Уверена, что поймут, — отвечаю я.

Однако, когда я еду домой на своем велосипеде, у меня появляется неприятное ощущение — мимолетное предчувствие, словно где-то на задворках моего сознания трепещет крылышками темная мысль.

# Глава 16

Бланш накрыла чайный стол. Все просто безупречно. Она положила лучшие льняные салфетки, продетые в серебряные кольца, подаренные ей с Милли на крестины. В хрустальной вазе стоят розы из нашего сада.

— К чему все это? — спрашиваю ее я. — Я имею в виду, все очень мило, но бывает у нас так редко...

— Мама, тебе не нравится?

— Нравится, очень прелестно, — отвечаю я. — Спасибо.

У нее на губах играет нетерпеливая, полная надежды улыбка.

— Вообще-то, повод есть, — говорит она мне. Ее голос немного заискивающий, сладкий как мед. — Я хотела спросить, могу ли уйти сегодня вечером.

— Уйти? Конечно, ты не можешь уйти. Не после того, как наступит комендантский час. Нет, Бланш. О чем ты вообще думала?

— Дело в том... — Она замолкает. — В Ле Брю сегодня будут танцы, — продолжает она. Слышу в ее голосе неуверенность. — Нас с Селестой пригласили.

Думаю о Ле Брю — большом белом доме Губертов, стоящем рядом с церковью. У него шикарный двойной фасад, широкие ровные газоны и шептуны-тополя. Недавно, проезжая мимо, я видела расположившихся на его территории немцев.

— А кто именно организует танцы? — спрашиваю я. — Мне казалось, что мистер и миссис Губерт уплыли с острова. Я думала, что Ле Брю реквизирован.

Бланш задерживает дыхание, словно готовится глубоко нырнуть.

— Дело в том, мама, что это... Кое-кто пригласил нас. Он сказал, что вечер будет приятным. Будут танцы. Ты же знаешь, как я люблю танцевать. Что такого может случиться? — говорит она.

— Кое-кто — это кто именно, Бланш?

Вижу, как она сглатывает. На щеках проступают розовые пятна.

— Его зовут Томас Крейцер.

— Крейцер?

— Ему нравится Селеста, — быстро продолжает она. — Он пришел в магазин, где она работает. Хотел починить часы.

Я смотрю на нее и не могу поверить в то, что слышу.

— Так значит, немцы устраивают танцы?

— Селеста говорит, что Томас всегда очень вежлив. Правда, мама. Он против войны. Он думает, что Великобритания и Германия должны быть союзниками, ведь мы так похожи. Он говорит, что мы не такие, как другие нации.

Я ничего не отвечаю.

— Он хотел стать учителем английского, — говорит она. — В этом же нет ничего плохого, да? Это ведь хорошо, да? Хотеть стать учителем. Ведь он не виноват в том, что случилось, мама.

Я поражена тем, что мы говорим об этом.

— Бланш, ты собираешься выйти во время комендантского часа. Тебя застрелят, — говорю я.

— Да нет же. — В ней присутствует та лихость, что так свойственна молодости, когда

ты уверен, что с тобой ничего не может произойти. — Томас нас отвезет. Томас говорит, что все будет хорошо. — Бланш подходит ближе ко мне, берет за запястья своими настойчивыми пальчиками. — Мама, парни и девушки хотят просто хорошо провести время. Это всего лишь танцы. Что может быть в этом плохого?

— Нет, Бланш. Ты не можешь пойти.

— Но Селеста не пойдет без меня. — Она откашливается. — Я обещала ей, мама. — Она внезапно находит новый аргумент в попытке переубедить меня, апеллируя к непреложности обещаний. — Я же должна выполнять свои обещания, да? Ты всегда говорила, что это очень важно...

— А что говорит мама Селесты? — спрашиваю я.

— Да. Определенно, — говорит Бланш. — Я знаю, она согласится. Я хочу сказать, ведь сейчас у нас не так много веселого происходит в жизни.

— Бланш, ты, конечно же, никуда не пойдешь. И я удивляюсь, как тебе вообще пришло в голову о таком спрашивать. Ты подвергаешь себя опасности. Разговор окончен.

Сейчас она уже понимает, что я не уступлю. Вижу, как в ней пробуждается гнев.

— Ты никогда мне ничего не разрешаешь. — У нее пронзительный голос. — Обращаешься со мной, как с ребенком.

— Сейчас непростые времена, Бланш. И тебе это известно. Ты не можешь всегда делать то, что хочешь.

— У меня теперь есть работа, мама. Ты не можешь обращаться со мной так, будто мне все еще три года.

— Да, Бога ради, Бланш, идет война.

— Это ваша война, — говорит она. — Не наша. Эта дурацкая, дурацкая война...

— Ну, с этим нам придется смириться, — говорю я.

Мельком замечаю Милли, стоящую с открытым ртом в дверях. Она зачарована, потрясена.

Глаза Бланш сверкают.

— Мы не должны с этим мириться. — Она выплевывает слова. — Все должно быть не так. Мы должны были уплыть на том корабле. Все было бы совершенно по-другому, уплывши мы на том корабле. Тогда у меня была бы жизнь. — Горестно.

Ее слова ранят, потому что в них есть доля правды. Наверное, нас не должно быть здесь. Все доплыли до Уэймута. Может быть, я поступила трусливо. Может быть, мне следовало быть храбреей. На той развилке, когда ты выбираешь тот или иной путь, все происходит так быстро. И пути назад не существует.

— Бланш, я приняла лучшее решение, на которое была способна.

Я жду, что она поймет, хочу оправдаться перед ней.

— Но оно не было правильным, мама. Что же это за жизнь такая, быть запертой здесь, на Гернси.

— Я стараюсь, чтобы мы просто были в безопасности.

— Это ведь все, что тебя беспокоит, да? Быть в безопасности, — говорит она. В ее глазах горят синие факелы. — Ты не заботишься о том, чтобы жить... Ты не можешь всегда держать меня взаперти. Это моя жизнь.

— Бланш...

— Я ненавижу эту дурацкую, дурацкую войну. — По ее лицу текут слезы. — Это всего лишь танцы, — говорит она и убегает вверх по лестнице.

Чай готов и стоит на безукоризненно накрытом столе, но Бланш все еще остается в своей комнате. Стучусь к ней, но она говорит: «Уходи». Судя по голосу, она все еще плачет. Решаю оставить ее на некоторое время и позволить ей спуститься, когда она будет готова.

— Бланш нет, — говорит Эвелин.

— Ей нездоровится, — объясняю я.

Я рада, что Эвелин не слышала нашей ссоры. Если бы она стала ее свидетельницей, тс тут же принялась бы раздавать мне советы: что с этими девчонками надо разговаривать строго; что я не должна терпеть того, что Бланш огрызается; что детям нужна дисциплина и они должны твердо знать, что позволительно, а что нет

Милли заговорщицки смотрит на меня из-под ресниц. Сегодня она ведет себя просто отлично; у нее на личике восторженное выражение паиньки. Она наслаждается настолько незнакомой ролью дочери, которая ведет себя лучше старшей сестры.

После чая я читаю Милли сказку на ночь про девушку, которая вышла замуж за очень страшное существо. Такое страшное, как дикобраз. А ночью он скинул свой плащ из иголок и превратился в прекрасного молодого человека.

Мне всегда нравилась эта сказка, но сейчас я читаю ее механически, не задумываясь над словами. В голове все крутятся слова Бланш: «Это ведь все, что тебя беспокоит, да? Быть в безопасности. Ты не заботишься о том, чтобы жить...»

Задумываюсь, не права ли она (может, это у меня недостаток такой), вспоминая, как я впервые приехала на Гернси. Я приняла то, что жизнь здесь стала для меня ограниченной, простой. Я согласилась жить в тихом уединении среди долин. Жить со своими розами, фортепьяно, поэтическими книгами.

Во мне всегда была тяга к изоляции, к жизни в небольшом замкнутом помещении. Я настолько застенчива, настолько недоверчива к чужакам, что во мне есть потребность защищаться от незнакомых мне людей. Но в глубине души я понимаю, что это замкнутое помещение, каким бы желанным оно ни было, скоро станет тюрьмой.

Бланш не спускается, как она обычно это делает, чтобы послушать половину сказки и полистать старый «Vogue».

Послушав молитву Милли и уложив ее, я иду к комнате Бланш. На этот раз я зайду и поговорю с ней, чтобы она ни сказала. Я не люблю, когда мы в ссоре. Я очень хочу все уладить, ведь у нее было достаточно времени, чтобы остыть.

Стучу, но ответа нет.

— Бланш?

Приоткрываю дверь и снова зову ее. В ответ — тишина.

Вхожу в ее комнату.

О Боже. Нет.

Комната пуста. Сердце отзыается глухим стуком — окно распахнуто настежь. Из него можно выбраться, спустившись на крышу сарая, а оттуда в сад. Никто тебя не увидит.

Не могу поверить, что она поступила наперекор мне. Я так зла на нее и так за нее боюсь.

# Глава 17

Пульс просто зашкаливает, меня переполняет отчаяние. Все, о чем могу думать, — я должна найти ее, вернуть и держать ее здесь, чтобы она была в безопасности.

Эвелин с Милли уже спят, я могу их оставить. Свет уже сгущается, по углам дома собираются тени, и я вспоминаю, что сказал мне капитан Рихтер: «Вы знаете про комендантский час. Не ставьте нас в трудное положение».

Я вижу его жесткие губы, узкие, как порез от лезвия. Но я прогоняю эту мысль. Я могу пройти к Ле Брю через поля, и меня никто не увидит. Я найду ее и приведу обратно домой.

Пересекаю дорогу, иду через свой фруктовый сад, вдоль кромки леса. Поля рядом с лесом принадлежат Питеру Махи. Я иду по узкой тропинке, ведущей через его земли.

Небо окрасилось густым ультрамарином, и в сумерках незатененные участки полей кажутся блеклыми, почти бесцветными. Снующие повсюду кролики абсолютно черные, как будто сделаны из темноты, а у подножия разваливающегося сарая Питера приютилась тень, похожая на глубокий омут.

Подойдя к полю около Ле Брю, я слышу музыку, льющуюся над притихшей землей, подобно развернувшемуся рулону яркого шелка. «I've Got You Under My Skin». Меня поражает, что мы слушаем одну и ту же музыку, — мы и эти люди, с которыми мы воюем. Почему-то я не ожидала подобного.

У подножия Ле Брю изгородь с кованой калиткой, которая ведет в сад. Я следую взглядом вдоль пологого склона лужайки, который ведет к задней части дома, где располагаются изящные французские окна и терраса.

Прокалываю в калитку, тихо поднимаюсь между цветочными бордюрами по саду. Повесили свои тяжелые головки георгины, в сумерках побледневшие до молочного оттенка. Ароматы сада окутывают меня.

У подножия террасы я останавливаюсь. Отсюда я могу заглянуть внутрь: плотные шторы беспечно раздвинуты. Я пристально вглядываюсь в освещенную комнату. Это большая гостиная, протянувшаяся вдоль задней части дома.

Миссис Губерт бывало приглашала сюда весь приход после рождественской службы: отведать яблочного гоша и вина с пряностями и обсудить дела на острове. Комната сильно изменилась: чтобы освободить место для танцев, ковер свернули, а мебель отодвинули к стенам.

На буфете стоят бутылки с кларетом и изящные, ярко искрящиеся хрустальные бокалы. Несколько пар танцует.

Все мужчины — одетые в форму немцы, все девушки — местные. Один из мужчин заводит граммофон. Селеста тоже здесь, танцует чарльстон с высоким немецким юношей. Должно быть, это Томас, ее приятель.

На ней платье насыщенного, роскошного василькового цвета; оно сделано из какой-то блестящей материи, которая от ее движений шевелится и переливается. У нее на лбу неярко поблескивает пот. Все в ней блестит.

Сначала я не вижу Бланш, но потом нахожу ее у рояля, который откатили к стене. Она беседует с крепким молодым человеком, который пристально на нее смотрит. На ней платье из тафты, одна из двух хороших пар чулок, и ее любимое коралловое ожерелье. Ее губы очень красные: она накрасила их помадой, которую я ей купила.

Бланш держит в руках бокал вина, хотя и не привычна к спиртному. Время от времени она отпивает вино маленькими, торопливыми глотками, проводя пальцем вверх и вниз по ножке бокала. Она выглядит разрумянившейся и испуганной, и счастливой. И напоминает мне олененка, который может вздрогнуть и унестись прочь.

Я стараюсь представить себе, как вхожу туда, чтобы сказать, что ей нужно идти домой. Я вижу, что ошибалась, думая, что смогу так поступить, думая, что это было бы правильно. Я понимаю, что гнев и страх оставили меня.

Чувствую себя немного глупо от того, что думала подобное. Я еще немного наблюдаю за ней, и меня захватывает чувство, накрывает, словно рыбацкая сеть, — непонятное, горько-сладкое, чуть-чуть похожее на печаль, но не совсем.

Мои глаза наполнились слезами. Мысленно я услышала ее слова: «Ты не можешь все время держать меня здесь. Это моя жизнь». Я знаю этот миг — миг, с которым сталкивается каждая мать. Миг, когда дочь покидает тебя, когда она шагает в поток, вступает в собственную жизнь.

И так много в этот миг неправильного: наши обстоятельства — оккупация, войны. И все-таки это должно случиться. Теперь она должна делать собственный выбор. Я знаю, что мне следует отпустить ее, что я не могу ее остановить, не должна ее останавливать.

В комнате мужчина перед граммофоном встает на колени, чтобы сменить пластинку. Еще одна песня Коула Портера — «Night and Day». Еще больше пар выходит на середину комнаты, хотя Бланш все так же разговаривает с юношей около рояля.

Я еще немного наблюдаю за танцующими. Если я немного прикрою глаза, комната превратится в лихорадочное, яркое пятно, цветной калейдоскоп. Я не смогу различить вражескую форму, все те детали, которые так раздражают, — всего лишь танцующие юноши и девушки.

Тихо иду обратно через темнеющие луга, в моей голове продолжает звучать музыка. В небе надо мной восходит луна, а ночной ветер в лесной листве похож на глубокий, долгий вдох.

# Глава 18

Вхожу в свой сад, иду между притихшими старыми деревьями, чьи ветви уже сгибаются под тяжестью наливающихся фруктов. Наконец-то я в безопасности: здесь меня никто не увидит. Нужно только пересечь дорогу, и я дома.

— Миссис де ла Маре.

Голос за спиной застает меня врасплох. Я не слышала шагов.

Я так перепугалась. Все страхи, которые я стараюсь подавить, вцепляются в меня из ночной темноты.

Поворачиваюсь на месте.

— Миссис де ла Маре, — повторяет он.

Это один из мужчин из Ле Винерс. Не капитан Рихтер, который предупреждал меня насчет коменданского часа. Другой, тот, которого я встретила в переулке, со шрамом. Его лицо находится в тени, и я не могу видеть его выражения. Сейчас он стоит, но, должно быть, он сидел на пне, когда я шла мимо, вот почему я его не заметила. Все знаки отличия на его форме стерла темнота.

— Ох, — говорю я

Я закусываю губу, чтобы она перестала дрожать. Надеюсь, ему не видно моего страха. Я отчаянно не желаю, чтобы он его видел.

— Вам не следует находиться на улице, миссис де ла Маре. Уже десять. Наступил коменданский час, — говорит он.

— Я знаю. Мне действительно жаль. Но мне было необходимо кое-что сделать.

Меня трясет. Я думаю: «Почему он здесь, в моем саду? Он меня ждал?» Эти вопросы пугают меня. Заставляю себя дышать, втягивая в себя всю прохладную сладость ночного воздуха.

— Что бы это ни было, оно могло подождать, — говорит он. — Существуют наказания. Вам не следует забывать об этом.

Я впиваюсь ногтями в ладони, чтобы удержаться от дрожи. Я думаю: «Может, если я объясню, может, тогда он не будет сердиться».

— Я ходила в Ле Брю, — говорю я. — Где танцы. Там моя дочь.

Он молчит. Ждет. Я слышу далекое журчание воды в маленьком ручье в Белом лесу и в потоке, что бежит вдоль дороги. И слышу его дыхание и тихий щелчок, когда он прочищает горло.

— Я прошла через поля, — рассказываю я, — и думала, что никто не увидит. — Я не стану, возможно, просто не смогу, объяснять, что произошло. — Я хотела увидеть, где она. Хотела знать, что она в безопасности.

Слова вылетают из меня, голос дрожащий и пронзительный.

— Ваша дочь Бланш? — спрашивает он.

— Да.

Я в замешательстве от того, что он знает ее имя, как будто он что-то у нас украл. Но, конечно, выглядывая из окон Ле Винерс на наш двор, он должен был нас видеть, должен был слышать, как я с ней разговариваю. Мысль о том, что он за нами наблюдает, тревожит меня. Я задумываюсь о том, что еще он узнал о нас.

Белый лунный свет льется вокруг; под деревьями лежит густая тьма, украшенная по

краем словно вырезанными из бумаги силуэтами листьев. Я не могу видеть выражения его лица, и не думаю, что он видит мое. Когда он поворачивается ко мне, его лицо полностью в тени.

— Вам не надо за нее волноваться. Один из ребят отвезет ее домой в конце вечера, — говорит он.

Я чувствую его взгляд.

— Дело в том... ей всего четырнадцать, — говорю я. — Я была недовольна тем, что она ушла. Ей не следовало идти. — Потом я думаю, зачем я это сказала. Показав свою слабость, показав, что моя дочь меня ослушалась. — Я просто хотела убедиться, что с ней все хорошо... — Мой слабый голос стихает.

— И что же вы увидели в Ле Брю? — спрашивает он.

Я думаю: «Что же я увидела?» Я думаю о Селесте в ее васильковом платье, от которого разливается сияние; о Бланш, облокотившейся на рояль, разрумянившейся, немного испуганной; о молодых людях в форме. О том, как это красиво — и неправильно. Все эти мысли путаются у меня в голове, сбивая меня с толку. Я ничего не отвечаю.

— Надеюсь, то, что вы увидели, вас не сильно встревожило, — говорит он. В его голосе проскальзывает веселье.

— Они танцевали, — глупо отвечаю я.

— У Стефана много пластинок, — говорит он. — Стефану нравится Коул Портер.

Я замечаю, что он специально для меня называет юношу по имени. Не по званию и фамилии. Это необычно, я понимаю, что это своего рода уступка.

— Может, сигарету? — предлагает он.

Он достает пачку «Gauloises» и предлагает мне одну. Это меня пугает. Потом я думаю: «Если бы мне грозили неприятности, стал бы он предлагать мне закурить? Возможно, он не собирается делать ничего слишком ужасного».

Я не решаюсь. Я знаю, что не должна принимать от него ничего. Но здесь, в темноте сада, это не кажется важным. Всего лишь сигарета. Когда я ее беру, у меня все еще дрожат руки, и я знаю, что он это видит.

Он достает зажигалку и наклоняется; его лицо так близко к моему. Он неуловимо пахнет днем: кожей, потом, прокуренными комнатами, в которых он был. Сложенной ладонью он закрывает огонек от ночного ветерка. В отсвете пламени его кожа на мгновение кажется пугающе красной. Я вижу выступающие вены, бледные волоски на тыльной стороне его рук.

Обычно я курю «Craven A». Я затягиваюсь и кашляю, как девчонка. Мне неловко.

— Слишком крепко для вас? — спрашивает он.

— Нет, нормально, — отвечаю я.

Я рада вкусу табака на губах, на языке. Дым поднимается между нами, словно дыхание зимним утром.

— Ваш муж воюет, миссис де ла Маре?

— Да.

— Я тоже женат, и у меня есть сын, — говорит он мне. — Герман. — Его голос теплеет, смягчается. В нем слышится нежность. Я удивлена тем, что он так много мне рассказывает. — Он воюет. Служит в Люфтваффе. Ему семнадцать лет, всего на три года больше, чем Бланш.

— Он кажется слишком юным, чтобы воевать. Мне всегда кажется, что... семнадцать —

это так мало, — говорю я.

— Да, это мало.

— Должно быть, вы очень им гордитесь, — продолжаю я, не задумываясь. Так всегда говорят, когда кто-то упоминает о сыновьях в армии. А потом на меня наваливается вся бес tactность моего замечания. Его сын — сын, которого он любит так сильно, что его голос смягчается, когда он произносит его имя, — этот сын сбрасывает бомбы на наши аэродромы. У меня такое чувство, будто я что-то предала.

Он смотрит на меня, как будто пытается прочесть по моему лицу, о чем я думаю.

— Да, я им горжусь, — говорит он. — Мы все гордимся своими детьми, не так ли, миссис де ла Маре?

— Да.

Он слегка двигается, и я слышу, как скрипят его сапоги и хрустят сухие яблоневые листья под его ногами. Вокруг нас носится летучая мышь, слишком маленькая, чтобы ее можно было разглядеть по-настоящему, смутная, как не до конца оформленная мысль.

— Когда вы в последний раз видели мужа? — спрашивает он.

— Он записался в армию в прошлом сентябре, — отвечаю я. — Несколько месяцев назад он приезжал домой в отпуск. Но не думаю, что снова увижу с ним... пока война не закончится.

— Вы, должно быть, скучаете по нему.

— Да.

Я набираю в рот воздуха, как будто собираюсь что-то добавить, но останавливаюсь.

Чувствую, что он как-то по-своему истолковал мою запинку. Тишина, накрывшая нас, пугает меня. Я хочу, я должна ее нарушить, но не знаю, что сказать. Ни одна тема не кажется безопасной.

— Сейчас очень непростое время, — говорит он. — Для всех нас.

— Да, — соглашаюсь я благодарно. — Да, непростое.

Лунный свет ненадолго освещает его, и я вижу шрам на его лице. В моей голове возникает непрошенная мысль: мне ужасно любопытно, каким будет этот шрам на ощупь. Задумавшись, я словно ощущаю кончиками пальцев другую текстуру там, где растянутая кожа тонкая и гладкая. Я чувствую внезапный прилив желания — он так некстати, что его неправильность заставляет меня задохнуться. Вокруг нас сотней тихих голосов поют ручьи.

— Мое имя Гюнтер Леманн. Но вы можете называть меня Гюнтер, — говорит он.

Как будто мы еще будем разговаривать. «Но мы не будем», — убеждаю я себя. Этого больше не повторится.

Я знаю, он ожидает, что я скажу ему свое имя. Но я и так уже слишком многое выдала.

— Я должна идти, — говорю я ему.

— Да. Конечно, — отвечает он.

Я оставляю его и его сигарету там, под моими яблонями. Чувствую на себе его взгляд, пока пересекаю дорогу, которая сияет в лунном свете, словно река. Мое тело кажется неуклюжим, непривычным, как будто его неправильно соединили. Миновав ворота, я рада оказаться в знакомом сумраке своего дома.

Сижу на кухне и жду Бланш. Свет не включаю, просто сижу и жду. По комнате скользит лунный свет. В его холодной белизне обычные вещи выглядят по-другому, словно они ненастоящие.

Некоторое время спустя я слышу медленные мужские шаги, пересекающие дорогу, идущие за угол к воротам Ле Винерс. Интересно, о чем он думал все это время, пока курил в моем залитом лунным светом саду.

Наконец, слышу в переулке машину. Слышу, как Бланш весело желает спокойной ночи, как хлопает дверца автомобиля. Бланш тихо входит в дом, снимает у двери свои туфли, аккуратно ставит их. Она не видит меня.

— Бланш.

Она вздрагивает и оборачивается. Она словно боится, что я ее ударю, хотя я никогда раньше ничего подобного не делала.

Включаю свет. Она жмурится от того, что внезапно вокруг стало так ярко.

— Тебе не следовало уходить, поскольку я тебе не разрешала, — говорю я. — Ты поступила неправильно.

Она кивает. Молчит. У нее озадаченный вид. Все пошло не так, как она ожидала.

— Понравились танцы? — спрашиваю я.

— Вполне, — осторожно отвечает она. Чувствую исходящий от нее запах вина и смутный аромат французских сигарет. Ее жесты несвязные, рваные, глаза блестят слишком ярко. Ее губы и зубы окрашены темным шелковичным цветом от выпитого вина. — Это было немного забавно — разговаривать с немцами.

— Да, — отвечаю я. — Да. Вижу, что это так.

— Хотя, думаю, к этому можно привыкнуть, — говорит она мне. — Спустя какое-то время, ты перестанешь считать это странным.

Я ничего не отвечаю.

— Я познакомилась с другом Томаса, его зовут Карл, — рассказывает Бланш. — Он из Берлина. Он рассказал мне, как погибла его младшая сестра, грустная история. Это случилось во время бомбардировки. Он показал мне ее фотографию, я не могла поверить, что она мертва. У нее были такие маленькие косички... — Она осторожно проводит рукой по лицу, словно его выражение может ее удивить. — Он пытался сдержать слезы, когда рассказывал.

— Бланш, ты никогда больше не выйдешь из дома, не предупредив меня, — говорю я.

— Да, — отвечает она. — Да, я понимаю. Прости меня.

— Я должна знать, где ты находишься. Если ты снова захочешь сходить на танцы, мы это обсудим.

— Да, — говорит она. — Да, конечно.

Она поворачивается, чтобы скорее добраться до своей спальни, пока я так говорчива.

\* \* \*

Отношу Эвелин ее утренний чай и тосты. Она сидит в кровати в своем розовом шелковом халате с прямой, как тростник, спиной, ждет. Вокруг витает запах торжества, ей не терпится что-то рассказать мне.

— Кое-кто вчера поздно вернулся домой. Птичка на хвосте принесла, — говорит она.

Я тут же представляю, что она видела меня с капитаном Леманном в саду. Меня охватывает чувство вины.

— Кое-кто поздно пришел. Я слышала машину в переулке... Не удивлена, что ты выглядишь встревоженной, Вивьен.

Ощущаю некоторое облегчение. Окна Эвелин выходят на дорогу, возможно, ее разбудил шум автомобиля.

— Это Бланш уходила, — говорю ей я. — Она ходила на танцы. Она молода, ей нужно выходить.

— Надеюсь, она не делала того, чего не должна была.

Я улыбаюсь в ответ на эту старомодную фразу.

— Уверена, что не делала, — говорю я. — Она была вместе с Селестой, своей подругой. Ты же знаешь, как Бланш любит танцевать.

Эвелин некоторое время молчит. Ее глаза стекленеют. Нить разговора ускользнула от нее.

— Кое-кто поздно пришел, — повторяет она.

— Да. Но все в порядке, — отвечаю я.

— Вокруг такая путаница. Я сбита с толку, Вивьен. А я не люблю, когда меня сбивают с толку.

— Постарайся не переживать, — говорю ей я.

Эвелин берет чашку. Дрожит ее рука — дрожит и чай в чашке.

— Куда мы катимся, Вивьен? Чем все закончится?

На это мне нечего ответить.

# Глава 19

Позже, выйдя во двор, смотрю на свой сад. На пне что-то блестит в утреннем свете. Перехожу через дорогу, чтобы посмотреть, что это. Зажигалка капитана Леманна. Лежит и сверкает на солнце.

Внезапно, меня охватывает беспокойство, что кто-нибудь обо всем узнает: моя дочь, Эвелин или кто-то другой, прогуливающийся по переулку. Переживаю, что кто-нибудь найдет зажигалку и выяснит, что она принадлежит капитану. Они узнают о нашем разговоре, обо всем. Не могу оставить ее лежать там в ожидании того, что хозяин вернется за ней.

Поднимаю ее. Металл нагрет солнцем, он почти обжигает мне кожу. Когда смотрю, как она блестит на ладони, у меня внезапно возникает отчетливое и непосредственное ощущение его присутствия. Вижу, как он держит зажигалку в правой руке, левой обхватывает мою сигарету, прикрывая ее от ночного ветра, который может затушить пламя. Почти ощущаю слабый запах его присутствия. В жесте капитана — грациозность, сквозь кожу просвечивают вены.

Убираю зажигалку в карман фартука. Говорю себе, что отнесу ее в Ле Винерс и отда姆 кому-нибудь, чтобы ее вернули капитану. Уверяю себя, что сделаю это в ближайшее время.

Но так и не отношу.

# Глава 20

У меня во дворе раздается задорный звонок велосипеда. Это Джонни.

— Доброе утро, тетя Вив.

Он всегда называет меня тетей, поскольку мы дружим семьями.

Джонни худенький. У него непослушные волосы и карие, как каштаны, живые глаза его матери. Всякий раз, когда я его вижу, мне кажется, что он еще немного повзрослел: подбородок затеняет щетина, чуть шире раздались плечи. Но у него по-прежнему доверчивое и любопытное мальчишеское лицо.

Он привез нам мешок картошки. Джонни кладет его на кухонный стол и откидывает с глаз волосы. В нем ключом бьет энергия.

— Подарок от мамы.

— Твоя мама просто ангел, — отвечаю я.

Предлагаю ему кофе, хотя в банке его осталось совсем чуть-чуть.

— Просто воды.

Приношу ему стакан с водой. Он с благодарностью его выпивает.

— Как дела на ферме?

— Разводим кроликов... это из последних событий. Вам стоит тоже попробовать, тетя Вив. Хотя маме не очень-то хочется их убивать.

— Только не вздумай рассказывать Милли, — говорю я. — Она не любит есть то, у чего когда-то был мех. Она будет возмущена.

Он усмехается, морща нос. Мне нравится, как он выглядит, когда улыбается.

— Мама сказала, что у Бланш теперь есть работа.

— Да, у миссис Себир.

— Ох уж эта Бланш, она словно кошка, — говорит он. — Всегда приземляется на лапки. В его голосе слышится нотка восхищения.

— Надеюсь на это.

Нас освещают лучи сентябрьского солнца. Меня переполняет радость: оттого, что моя кухня залита теплом и светом, и оттого, что здесь, за столом, сидит Джонни, такой жизнерадостный, со своей широкой белозубой улыбкой и падающими на глаза волосами.

— «Джерри»<sup>[1]</sup> не доставляют вам никаких хлопот, тетя Вив? — спрашивает он.

Я почти уже готова рассказать ему о немцах по соседству, но что-то меня останавливает.

— Нет, у нас здесь все хорошо, — расплывчато отвечаю я. — Такое тихое уютное место, что даже не замечаешь, что происходит вокруг.

Его пальцы отбивают по столу джазовый ритм, словно он стучит по клавишам. Джонни и минуты не может стоять спокойно.

— Скажу вам только одно, тетя Вив: мы это так просто не оставим. Ни я, ни мои друзья. Мы не позволим им просто так разгуливать среди нас. Вот в этом вы можете быть уверены, — говорит он.

Мне приходят на ум слова Гвен о том, что у молодых людей не осталось возможности проявить себя мужчинами. По коже пробегает холодок.

— Но что вы можете сделать? — спрашиваю я его. — Их здесь так много. Что, во имя всего святого, вы можете сделать?

— Всегда есть что-то, что можно сделать, — объясняет он мне. — Может, что-то совсем несущественное. Ты должен сделать все, что только можешь. Так мы с Пирсом считаем.

Я помню, что Гвен говорила про Пирса. Он забавный парнишка, слишком ожесточенный. И выглядит старше своих лет.

— Я не очень хорошо знаю Пирса, — говорю я.

Джонни заговорщицки понижает голос.

— Пирс умный... У него полно идей. Он задумал рисовать символ «V», как это делают на Джерси. «V» — значит виктория, победа. Мы выбираемся после наступления комендантского часа и рисуем повсюду «V».

— Но что в этом хорошего?

— Все дело в моральном духе, тетя Вив.

— Просто будь осторожен, — говорю ему я. — Ты ведь знаешь, как твоя мама волнуется за тебя.

Он пожимает плечами, у него хмурый взгляд. Чувствую, что он разочарован во мне, поскольку я не разделяю его воодушевления. Я всего лишь еще один взрослый, не одобряющий его поступков. А не друг.

— И еще, Джонни. Надеюсь, ты хорошо спрятал дробовик Брайана.

От упоминания Брайана по лицу Джонни пробегает тень.

— Я с ним точно не расстанусь, но и найти его не позволю, — говорит он. Немного упрямо, но не отвечая на вопрос прямо.

Я сказала что-то, чего не должна была говорить.

— Джонни, я хотела сказать... просто будь осторожен.

Он слегка отмахивается, словно стряхивая что-то.

— Мы собираемся внести свою лепту. Доставить им немного неприятностей. А вы ведите себя так, как должны, тетя Вив, — говорит он мне.

— Но ты можешь попасть в тюрьму. Или еще чего хуже.

Он не обращает на мои слова никакого внимания. Вижу, что он не воспринимает их всерьез. Джонни наклоняется ко мне через стол, его ясные, полные жизни глаза впиваются в мое лицо.

— Я вот что вам скажу, тетя Вив. Я очень разочарован в некоторых наших островитянах.

Я понимаю, что отвожу взгляд, не могу смотреть ему в глаза.

— Они какие-то немного безвольные, — продолжает он, — некоторые из местных. Я бы сказал, что они даже с некоторой теплотой встречают этих «джерри». Расстилаются перед ними ковриком с надписью «Добро пожаловать».

Ощущаю, как на меня накатывает горячая волна вины. В кармане моего фартука, прижимаясь к ноге, лежит зажигалка капитана Леманна, которую я почему-то так и не отнесла в Ле Винерс.

— Тем не менее, есть еще несколько из наших, кто мыслит правильно, — говорит Джонни. — Мы должны доставить этим «джерри» немного неприятностей. Пока не победим.

Слова повисают в воздухе между нами: блестящие, переливающиеся всеми цветами радуги, но пустые и недолговечные, как мыльные пузыри на ветру. «Пока не победим». Я думаю обо всех кинохрониках, которые мы смотрели о гитлеровской армии, неукротимым потоком захлестнувшей Париж.

Я представляю, как они входят в Лондон, маршируют вверх по Мэлл к Букингемскому дворцу и дальше, мимо Гайд-парка к Мраморной арке. Я так отчетливо вижу это.

Они пришли сюда, на наши острова, сделали всего лишь первый шаг и без усилий вошли. Вот оно, будущее Британии — оккупация. И всем нам придется научиться жить с этим.

— Джонни. — Я слышу, как прерывается мой голос. — Ты действительно думаешь, что мы сможем победить? В глубине души. Несмотря на все, что происходит?

Он всматривается в меня своими теплыми темными глазами, такими доверчивыми, как у ребенка.

— Конечно сможем, тетя Вив. Можете быть уверены. Британцы никогда не проигрывали. А пока мы не победили... ну, мы с Пирсом собираемся делать все, что в наших силах.

Я смотрю, как он сидит за столом, весь облитый тягучим солнечным светом. Он до сих пор всего лишь мальчишка, порывистый и бесшабашный. Я вспоминаю, как он играл с Бланш в лесу, когда ему было шесть или семь лет, как, рисуясь, залезал на самые высокие деревья, отчаянно стараясь произвести на нее впечатление. И эти его разговоры о борьбе я воспринимаю по большей части именно так: как мальчишескую браваду, особенно с тех пор, как умер его брат. Он стремится жить за Брайана, быть таким же смелым, каким был его брат. Это его способ вынести груз того, что он остался жив.

Но порою я задумываюсь о том, что в Джонни есть что-то, чего нет во мне. Иногда, когда он со мной, я почти верю, что мы можем победить.

— Ну, я лучше пойду, тетя Вив.

— Рада была повидаться, Джонни.

Я провожаю его во двор, наполненный ветром и солнцем, по земле кружат несколько желтых листьев с груши. Лето переходит в осень. Скоро все вокруг рассыпется в последнем отважном урагане цвета.

— Знаете, что меня раздражает, тетя Вив? — говорит Джонни, садясь на велосипед. — Слышать, как люди говорят, что рады тому, что не стало хуже, что «джерри» такие вежливые и все не так плохо, как они предполагали. Некоторые почти благодарны... Но знаете, что я думаю, тетя Вив? Они еще даже не начинали. Люди думают, что на этом все закончилось, что дальше будет так же. Но я думаю, что все только начинается.

# Глава 21

На следующий день я делаю себе последнюю чашку кофе, выскребая со дна банки остатки порошка. Кофе очень слабый, на самом деле это просто горячая вода бледно-коричневого цвета. Несу его на столик за дверью. Собираюсь сделать вид, что все по-настоящему.

Стоит еще одно прелестное сентябрьское утро. Небо смягчает облачная дымка, и вокруг меня медленно танцует осень — летают из стороны в сторону ленивые насекомые, кружась, опадают с деревьев листья. Через открытую дверь я слышу, как играет Милли.

Я поставила ее кукольный домик на кухонный стол. Это довольно симпатичная старая игрушка, когда-то принадлежавшая нам с Ирис, с блестящим канделябром и обрезками муара на стенах.

Она вполголоса напевает какую-то нестройную мелодию, расставляя маленьких кукол по комнатам. Умиротворение этих минут окутывает меня, словно одеяло. На мгновение может показаться, что нет никакой оккупации.

В переулке раздаются шаги. С груши срывается голубь с таким звуком, будто что-то порвалось. Я поднимаю глаза. Около ворот в мой двор стоит капитан Леманн, положив руку на калитку и собираясь ее открыть.

— Можно? — спрашивает он.

Мое сердце колотится. Я знаю, что должна сказать нет. Мне следует сказать, что я не желаю иметь с ним никаких дел, что наш разговор в темноте моего сада — ошибка. Я была не в себе. Боялась за Бланш. Это не должно было случиться...

— Да, конечно, — отвечаю я.

Он заходит, тихо закрыв за собой калитку, и стоит передо мной, задумчиво глядя на меня сверху вниз. Рядом стоят три стула, но я не предлагаю ему сесть, хотя и чувствую себя неловко: это выглядит очень невежливо.

Сидя на стуле, я очень остро осознаю, какой он большой: насколько крупное у него тело и насколько он выше меня. Но при свете дня он выглядит иначе, менее внушительно, чем в освещенном луной саду. У него короткая стрижка, так что можно видеть крепкую форму его черепа, в солнечном свете его волосы бледно-серые. Интересно, сколько ему лет?

Меня охватывает беспокойство от того, что я не знаю, зачем он здесь. Я вспоминаю вчерашнее утро с Джонни и то, как откровенно мы говорили. Была ли закрыта дверь во время нашего разговора? Я повела себя легкомысленно, не додумалась убедиться, что дверь надежно заперта. Сердце готово выскочить у меня из груди.

Капитан Леманн простирает горло.

— Я пришел сказать вам, что у нас есть кофе.

— О.

Видя мое удивление, он улыбается слегка кривоватой улыбкой.

— Макс привез из Франции... слишком много. Это очень хороший кофе, в зернах. Возможно, вы захотите взять немногого для своей семьи?

Я думаю о кофе, представляю, какой приятный у него будет вкус. Сделанный из зерен, на французский манер. Раньше я время от времени делала такой кофе, до войны. Я люблю хороший кофе. Представляю насыщенный аромат жареных зерен и то, как мир вокруг становится более ярким и четко очерченным.

И качаю головой.

— Ваше предложение очень любезно, но я не могу его принять, — говорю я.

Надеюсь, мне удалось взять верный тон — вежливый, но непреклонный. С этой минуты я все буду делать правильно. Джонни напомнил мне, как следует себя вести.

Капитан Леманн не отвечает. Молчание между нами затягивается и заставляет меня паниковать. Мне надо что-то сказать, что угодно.

— Я серьезно. Я не могу его принять. Это было бы неправильно, — повторяю я. Но может быть, я отнекиваюсь чересчур сильно.

Он смотрит на меня и слегка хмурится, не понимая. Солнце хорошо его освещает, все черты его лица: морщины на лбу, неровный шрам на щеке. У него глубоко посаженные глаза печально-серого цвета, похожего на древесный дым.

— Но мне кажется, что вы любите кофе, — говорит он.

Несмотря ни на что, мне становится любопытно.

— Почему вы так думаете? — спрашиваю я. И понимаю, что мне не следовало этого делать, не следовало ничего говорить, не следовало продолжать беседу.

— Я видел, как вы приносите его сюда, на этот стол на солнце, — отвечает он. — Как вы обнимаете чашку ладонями. Для вас это особенные минуты. Минуты покоя.

Я пытаюсь пожать плечами, словно опровергая его слова. Но это правда.

— А это, думаю, неважный кофе, — говорит он, показывая на мою чашку. Выражение его лица вызывает у меня улыбку, я не могу сдержаться. У него такой неодобрительный вид, как будто мой кофе его оскорбляет. — Это просто подкрашенная вода.

— Я к нему привыкла, — отвечаю я.

Он качает головой, почти горестно.

— Но вы же можете получить намного лучший, чем этот. Почему нет?

— Нет. Правда. Я не хочу. Но спасибо...

Я мысленно приказываю ему уходить, но он просто стоит и смотрит на меня.

Мне не следовало улыбаться.

— Капитан Леманн. Я серьезно. Не думаю, что нам следует разговаривать подобным образом. Я действительно считаю, что это неправильно.

Но я не успеваю закончить свою осторожную речь. Он стремительно придвигается ко мне, и слова застревают у меня в горле. На короткий миг мне кажется, что он собирается меня ударить. Потом я вижу, что он сбивает осу с моего рукава.

Я привстаю, уворачиваясь от осы и ударяясь о стол. Мой фартук цепляется за гвоздь, и из кармана вываливаются вещи: пара прищепок, кукла из домика Милли — и серебристая зажигалка. Мы наблюдаем, как зажигалка падает и с тихим, но отчетливым хрустом приземляется на гравий. Во внезапной тишине звук кажется поразительно громким.

Мое лицо пылает.

— Что ж, миссис де ла Маре, — произносит он с дразнящей серьезностью. — Думаю, это мое.

— Вы забыли ее в саду. — Мой голос звучит высоко и простодушно. — Я собиралась вернуть ее. Хотела отнести ее в Ле Винерс...

Слова высказываются из меня.

Я поднимаю зажигалку и кладу ее на стол. Не могу отдать ее ему в руки. В окружающей нас тишине я различаю малейшие звуки: тихая песенка Милли в кухне, воробей, легкий, словно лист, упавший на ветку дерева. Я все еще чувствую то место, где он прикоснулся к

моему рукаву, по моей коже пробегают маленькие язычки пламени.

Он собирается что-то сказать, но передумывает. Протягивает руку и берет зажигалку. Он не улыбается, но выглядит довольным чем-то.

— Тогда доброго утра, миссис де ла Маре, — говорит он и уходит.

Я понимаю, что у моего кофе ужасный вкус. Отношу его в кухню и выплескиваю в раковину.

## Глава 22

Теперь по вечерам темнеет рано. Я задергиваю занавески, включаю лампу. Тени протягивают свои пальцы из углов комнаты.

Читаю Милли новую сказку. Мы с ней сидим на софе. Бланш развалилась на полу со своими журналами. От лампы на нас падает яркий свет, словно опавшие с цветка лепестки.

Сказка повествует о солдате, вернувшемся с войны. Вспоминаю ту сказку про танцующих принцесс, которую я читала Милли вечером перед тем, как мы отправились на корабль. В той истории речь тоже шла про солдата, который пришел с войны. В сказках всегда есть войны и мужчины, уходящие, чтобы сражаться. Но лишь некоторые из них, счастливчики, возвращаются домой. Здесь война — это данность, часть жизни, как старение и увядание тела, как ненастная погода. Война — дело мужчин, ее причины никогда не объясняют. А возвращение с войны — долгий путь, полный испытаний. Возвращаясь с поля боя, солдаты сталкиваются и сражаются с необъяснимыми вещами, как будто все случившееся с ними открыло им нечто, доселе невидимое.

Милли сидит прижавшись ко мне. Слышу причмокивания, когда она посасывает свой пальчик. Она разглядывает картинку. На иллюстрации изображен солдат, идущий по простой сказочной дороге, с удивительной симметрией петляющей к далеким голубым холмам. Лица солдата не видно, но видна его усталость. Он устал от войны. Сложно не заметить его стремление к спокойной жизни. Все это сквозит в его сгорбленной, изможденной фигуре, в том, как он в одиночестве бредет по дороге.

У Милли завороженный взгляд, какой бывает всегда, когда я ей читаю. Она даже почти не моргает.

— Этот солдат, он как папочка? Папочка — солдат, — говорит она.

— Да, — отвечаю я.

— А он где? — спрашивает Милли.

Удивлена, что отец в ее понимании реально существует. Ей было всего три, когда он ушел на фронт.

— Я не знаю точно, милая, где он сейчас находится. Из-за оккупации мы больше не получаем новостей. Но я уверена, где бы он ни был, он думает о нас.

— Думает о нас постоянно, мамочка? Он думает о нас все время?

Вопрос ранит, возникает знакомая тупая боль, словно нажали на синяк. Я уверена, что Юджин с нежностью вспоминает про детей. Но если он и думает о женщине, оставшейся на Гернси, то не обо мне. В такие моменты я стараюсь быть очень осторожной, чтобы не было и намека на то, что между нами что-то не так. Чтобы мой голос не выдал, что мы несчастливы.

— Уверена, он не забывает о нас ни на минуту, — говорю я Милли.

Читаю про то, как солдат делится с нищим последним куском хлеба, и тот за его доброту дает ему волшебный мешок. Про то, как солдат ловит этим мешком Смерть. Сначала он торжествует и празднует. Но позже начинает сожалеть о содеянном, потому что Смерть повержена и нет пути из этого мира. А орды старииков осаждают солдата, обвиняя его и желая умереть.

Милли вытаскивает палец изо рта. Она, задумавшись, слегка хмурится. Ее мокрый большой палец блестит в свете лампы.

— Но ведь никто не хочет умирать, — говорит она.

— Может быть, если только человек очень стар.

— Как бабушка? А бабуля хочет умереть?

— Нет, уверена, что не хочет. Я хочу сказать... гораздо старше, чем она... Мне кажется, что у очень старого человека появляется ощущение, что он устал.

Но мой голос звучит не очень уверенно. Может быть, сказка не права. Может быть, все так, как сказала Милли: никто не хочет умирать.

Дочитываю сказку, размышляя о солдате. Представляю его очень отчетливо, но не так, как он выглядит в книге. Нет, в некотором отношении, конечно, как на иллюстрации. В потрепанной одежде, еле-еле переставляя ноги, он бредет по длинной и извилистой дороге, возвращаясь домой. Но лицо у солдата такое же, как у капитана Леманна.

# Глава 23

Октябрь. Самолеты Люфтваффе бомбят Лондон. Каждый вечер. Полная разруха. Поночам лондонцы укрываются в метро и поют, чтобы не падать духом. Говорят, несмотря на все разрушения, они держатся. Я очень боюсь за Ирис и ее семью.

В первые дни октября мы почти не видим живущих по соседству немецких солдат. Исчез и капитан Леманн. Порой, когда я работаю в саду, мне слышатся шаги, я оборачиваюсь, ожидая увидеть его. Увидеть, как его рука лежит на нашей калитке, а сам он вежливо и немного удивленно смотрит на меня. Но там никого нет. Или, убираясь в комнате, услышу шум машины в переулке, осторожно погляжу в окно, но там окажется лишь один из других обитателей Ле Винерс.

В любом случае, я чувствую некое облегчение. Не знаю, какой стала бы наша очередная встреча. От одной мысли о ней на меня накатывает горячая волна смущения. Говорю себе, что, возможно, он в отпуске. Возможно, его отправили в другое место.

Когда эти мысли появляются в голове, чувствую, как во мне закипает злость. Как он мог уехать, не сказав мне? Почему он не попрощался? А потом я думаю: с какой стати я вообще этого от него жду? Откуда злость? У меня нет прав на это чувство. Он ничего мне не должен.

Как-то, оставив Милли с Эвелин, еду на велосипеде в Сент-Питер-Порт. Магазинные полки выглядят опустевшими, но мне удается раздобыть свинины и немного хлеба. В скобяной лавке покупаю семена фасоли и капустную рассаду. Мне кажется, пришла пора выкопать цветы и начать выращивать в саду что-то съестное.

Я договорилась встретиться с Гвен. Когда я добираюсь до миссис дю Барри, она уже там, сидит за нашим любимым столиком в дальней части магазина. Мы сидели там в тот день, когда была бомбежка. Кажется, с того времени прошли годы.

Спрашиваю, как она поживает. Гвен отвечает, что все хорошо. Но я не знаю, правда ли это: на ней старый потрепанный кардиган, на губах нет ни следа помады, и сама она стала очень худой — кости лица проступают гораздо четче, чем раньше. Знаю, что и сама выгляжу не лучше. Мы все устали, смирились и выглядим жалко.

Миссис дю Барри приносит чай и печенье, в которое теперь добавляется картофельная мука. Но чай у нее по-прежнему хорош. Мы молча сидим, с признательностью попивая чай и глядя на раскинувшуюся гавань с ее красными черепичными крышами, водой и птицами, поднимающимися ввысь. Их крылья сверкают над водой. Нам видны стоящие на якоре вражеские корабли и солдаты на набережной. Я знаю, мы с Гвен думаем об одном и том же: как подобное могло произойти здесь?

— Иногда по ночам мы слышим, как они маршируют, — говорит она мне. — По главной дороге. Маршируют и поют. Это заставляет содрогнуться. Словно они говорят: «Мы покажем вам, кто здесь главный». После такого очень сложно снова уснуть. Но до вас, в Ле Коломбье, это вряд ли долетает.

— Да, наверное. Там пока тихо... Хотя рядом, у Конни, поселились немецкие военные.

Гвен как раз открыла рот, чтобы откусить печенье. Да так и застыла, широко распахнув глаза.

— Что... в Ле Винерс?

— Да.

— О. Я и не знала. Ты никогда об этом не упоминала.

Она хмурится. Чувствую, как к лицу приливает кровь.

— Они там сами по себе, — говорю я.

— Не могу поверить, что ты мне не рассказала.

— Они живут тихо. Если честно, мы о них ничего и не знаем.

Стараюсь не смотреть на Гвен. Гляжу мимо нее в окно, где в прозрачном воздухе виднеются близлежащие острова, и кажется, что до них можно дотянуться рукой. Думаю про себя: «Если честно... Зачем я так сказала?» Я читала где-то, что, произнося эту фразу, человек пытается скрыть правду.

— Должно быть, это неприятно, что вы постоянно находитесь у них на виду, — говорит она. — Я хочу сказать, что окно Конни выходит как раз на ваш двор.

Я вру ей. Ненавижу врать.

— Полагаю, ко всему можно привыкнуть, — отвечаю я.

Убеждаю себя, что все те странные встречи с капитаном Леманном, все те неловкие разговоры — все это в прошлом. Мы никогда с ним больше не увидимся. Так что очень глупо чувствовать себя виноватой, словно я сделала что-то плохое.

— Как девочки? Что Бланш? — спрашивает Гвен. — Нравится ей работать у миссис Себир?

— Да. Хотя, я думаю, она до сих пор жалеет о том, что мы не уехали с острова. Бланш недавно ходила на танцы в Ле Брю. Там были немецкие солдаты и наши девочки.

— О, — все, что сказала Гвен, переваривая мои слова.

Четкая морщинка пролегла у нее на лбу. Я чувствую, что между нами что-то изменилось, будто между камней пробился росток сорняка.

А потом она пожимает плечами и неловкий момент исчезает.

— Ну, молодым людям нужно жить дальше. — Я знаю, что Гвен этого не одобряет, но делает некоторые поблажки ради Бланш. — Им трудно... половина мужчин уехали с острова, кругом дефицит, в магазинах нет новых нарядов... Слушай, я кое-что тебе принесла. — Она вытаскивает из сумки лист бумаги, на котором написан рецепт макаронного пирога. — Он не очень вкусный, но по крайней мере, сытный.

Я благодарю ее. Слишком усердно. Думаю, мы обе рады сменить тему.

Звякает колокольчик; мы оборачиваемся и видим двух вошедших людей — немецкого солдата в сопровождении местной девушки. Она мне знакома, училась в одной школе с Бланш, только в параллельном классе. У нее лицо сердечком и волосы цвета карамели. И в отличие от большинства из нас, она при макияже: персиковая помада и светлая пудра. Когда они садятся, юноша тянется через стол и берет ее руку в свои.

Гвен покачивает головой.

— Как она может? — говорит она едва слышно. — Как она может?

Я сижу молча.

— Я хочу сказать, быть вежливым — это одно. Они ведь тоже люди. И я могу понять, что Бланш хочется ходить на танцы. Я имею в виду, молодым людям нужно развлекаться... — Она пытается очертить границу доступного, хочет сказать: «Вот это хорошо, а это недопустимо». — Но это... Этого я точно не понимаю... Это зашло слишком далеко. Я имею в виду, когда уже все слова сказаны и поступки совершенны, мы ведь враги с ними. Они бомбили нас. Я просто не понимаю, как она после этого спокойно спит.

Я сижу молча.

Думаю про себя: «Что сказала бы Гвен, узнай о нас с капитаном Леманном? Хотя ведь

нет ничего такого, что про нас с капитаном Леманном можно было бы сказать».

— Вив, ты точно в порядке? — Ее глаза блуждают по моему лицу. — Ты как будто не в себе.

— Я в порядке, Гвен. В порядке.

# Глава 24

Оставляю велосипед у стены дома. Мои пальцы окоченели и онемели от того, как я держалась за руль. Воздух сегодня очень холодный, скоро зима. Растираю руки и чувствую, как в пальцы впиваются иголочки, когда к ним приливает кровь.

Чувствую облегчение от того, что в мое отсутствие не случилось ничего плохого. Милли играет наверху, а Эвелин крепко спит в своем кресле. Вытаскиваю продукты из велосипедной корзины. Хлеб, свинина, поднос с саженцами. Меня на краткое мгновение охватывает триумф от того, что я все еще могу прокормить свою семью. Слышу, как позади меня открывается калитка.

На пол ложится тень.

— Добрый день, миссис де ла Маре.

На пороге моего дома стоит капитан Леманн.

Испытываю некоторое удивление, словно за время его отсутствия я забыла, как он выглядит.

— Давно вас здесь не видела, — говорю я. А про себя думаю: «Эта фраза предполагает, что я искала его». Чувствую, как кровь приливает к лицу.

— Был в отпуске. Ездил в Берлин, — отвечает он мне.

— О.

Вспоминаю кинохроники из Берлина: военные парады, речи Гитлера, одновременно абсурдные и леденящие душу. И в тоже время я думаю о тех, кто ждет его в Берлине: жена, сын. Ощущаю жгучее любопытство. От этих мыслей я испытываю противоречивые чувства.

— Я привез немного шоколада, — говорит он. — Купил на обратном пути в магазине шоколада в Шербуре.

Он протягивает его мне. Это молочный шоколад «Suchard» в обертке василькового цвета с золотым тиснением. Один только вид обертки действует чарующе. Представляю, каково это будет, развернуть ее и съесть — изысканный шелест серебристой фольги, сладость ворту.

— Возьмите. Это вам, — говорит он.

Я отрицательно качаю головой. Мне кажется, я чувствую запах шоколада сквозь обертку. Или, может, это просто воображение разыгралось, как бывает, когда ты чувствуешь в чем-то недостаток, когда к чайному столу у тебя всего лишь безвкусное печенье из заменителя муки. Мой рот наполняется слюной, я сглатываю. Капитан смотрит на мое горло, понимаю, что он заметил.

Я краснею от стыда, испытывая в некотором роде смущение.

— Думаю, вы любите шоколад, миссис де ла Маре, — говорит он.

— Да кто же не любит шоколад, — неопределенно отвечаю я.

— Так почему вы не берете его? — спрашивает Леманн.

— Спасибо, но я не могу. — Я говорю очень тихо, чтобы не разбудить Эвелин. От этого наш разговор становится более интимным, такого не должно быть. — Я уже говорила вам прежде, когда отказывалась от кофе.

— Но это такая мелочь... сказать «нет» шоколаду.

— Это все, что в моих силах, — мелочи, — говорю я. Вспоминаю, что говорил Джонни. Всегда есть что-то, что можно сделать. Может, всего лишь какую-то мелочь. Ты должен

делать то, что в твоих силах.

— Миссис де ла Маре, никто не умрет от того, что вы примете от меня небольшой подарок, — говорит он. — Никакого риска.

Он стоит слишком близко ко мне. Вспоминаю, как он согнал с моего рукава осу. Приятное ощущение проходит сквозь меня.

— К тому же вы уже брали у меня сигарету, — говорит он. — Что изменилось?

— Мне и сигарету не стоило брать.

Он задумчиво смотрит на меня.

— Если вы не хотите взять шоколад себе, отдайте его детям. Это уменьшит ваше чувство вины? — говорит капитан.

Я протягиваю руку и забираю шоколадку.

Он выдыхает с облегчением, словно он рад. Стараюсь не думать об этом: разве моя уступка что-то значит, почему для него настолько важен этот подарок?

# Глава 25

Уношу шоколадку на кухню, разворачиваю обертку и несколько секунд вдыхаю сладкий аромат. Отламываю два кусочка для себя и откладываю на блюдце. Решаю отдать Милли и Бланш их долю после чая, когда они уже не будут голодны и не съедят его очень быстро.

Вечером, когда наши тарелки опустели, я иду к буфету, чтобы достать шоколад.

— У меня для вас кое-что есть. Угощение.

— Это шоколад. Это его запах, — говорит Милли.

Девочки пристально следят за тем, как я снимаю синюю обертку, разворачиваю фольгу.

Она дразняще шелестит.

— Мам, где ты ее взяла? — спрашивает Бланш.

— В городе, — отвечаю я.

— Но я думала, что шоколада вообще нигде не осталось, — говорит она. — Так сказала миссис Себир.

— Мне повезло, я нашла его.

Разламываю шоколадку на три части. Одну протягиваю Эвелин, она отрицательно качает головой.

— Я не буду, спасибо, Вивьен. Шоколад не способствует моему пищеварению.

— Это ужасно. Бедненькая бабуля, — говорит Милли.

Отдаю девочкам их порции.

— Ешьте медленно, растягивайте удовольствие.

Но они, конечно же, делают все наоборот.

Когда они доели, делю долю Эвелин между девочками. Они вежливо благодарят бабушку и съедают вторую порцию.

Рот Милли коричневый от шоколада. Она тщательно облизывает губки и слегка вздыхает. Милли поднимает голову, и вечернее солнце освещает ее кожу и глаза.

— Я очень люблю шоколад, мамочка. Я ела бы его и ела. Постоянно.

— Милли, ты такая прожорливая. Если будешь много есть, станешь толстой, — говорит Бланш.

— А я хочу быть толстой, — отвечает Милли. — Хочу быть толстой, как поросенок. —

Она выпячивает грудь и сжимает кулаки. — Хочу быть такой же толстой, как тюлень.

— Да ты и понятия не имеешь, как он выглядит, — говорит Бланш.

— Знаю. Я знаю. Он выглядит вот так.

Она надувает щеки, чтобы лицо стало большим. Бланш тянется к ней и двумя пальцами надавливает на щечки Милли. Та выпускает воздух изо рта. Обе девочки находят это забавным, и комната на некоторое время наполняется задорным смехом, словно наша жизнь снова вернулась в нормальное русло, словно больше нет войны.

Меня переполняет благодарность. Благодарность к капитану Леманну за то, что глаза моих детей сияют, за то, что в нашем доме слышен смех. Я стараюсь отогнать эту мысль.

Бланш перестает хихикать и потирает рукой глаза.

— А помните те времена, когда шоколад у нас был в любое время, когда бы ни захотели? — с тоской говорит она. — Когда на полках было полно стеклянных вазочек со сладостями? Когда было полно щербета, помадки и лакричных конфет?

В ее голосе сквозит неверие, как будто ей самой трудно в это поверить, трудно

вспомнить.

— Милая, все это будет, — говорю я. — Знаю, что будет. Однажды все это вернется. Война не вечна.

Бланш качает головой, словно не верит мне.

— Можно мне забрать фольгу? — спрашивает она.

Отдаю ей серебристую бумажку. Она, разглаживая поверхность, пробегает по ней пальцами. Бланш положит ее между страницами в один из школьных учебников.

Эвелин хмурится, глядя на меня. У нее напряженный взгляд человека, который пытается дотянуться до чего-то недосягаемого.

— Где ты взяла шоколад, Вивьен? — спрашивает она у меня.

— Я же сказала, в городе, — отвечаю я, не глядя на Эвелин.

Она поджимает губы, словно мой ответ ее не удовлетворил.

— Шоколад не для меня, — снова говорит она. — Совсем не для меня.

Когда все уже лежат в своих кроватях, я открываю кухонный шкаф и достаю отложенные два кусочка шоколада, слегка удивляясь, почему же решила съесть их втихаря. Кладу один кусочек в рот и ощущаю прилив сладости. Шоколад, словно бархат, тает на языке. Вкус после нескольких месяцев пресной еды кажется экзотичным, намекающим на тропики с их богатыми плантациями и теплыми звездными ночами. Ем шоколад медленно, подолгу задерживая его во рту.

## Глава 26

В воскресенье выдался прекрасный денек. После обеда Бланш сидит в саду, ловя последние лучи осеннего солнца в надежде еще немного загореть. Милли тоже в саду — играет с метлой, используя ее в качестве лошади. Она продела ленточки сквозь прутья метлы и скачет галопом вокруг наваленной кучками травы, которую я недавно состригла.

Я играю для Эвелин ее любимый ноктюрн Шопена. Музыка очень нежная, элегическая. Что же до меня, то мне больше нравятся его мазурки. Они одинаково суровы и печальны, с некоей ноткой диковатости. Но Эвелин находит их слишком странными. Спустя какое-то время я растворяюсь в музыке, целый мир крутится вокруг меня, перестраивается. Все такое изменчивое, совершенное.

— Очень хорошо получилось, Вивьен, — вежливо говорит Эвелин, когда я останавливаюсь.

Внезапно снаружи раздается крик:

— Нет, Милли! Ты просто чудовище!

Подхожу к окну. Бланш вскочила на ноги. У нее на голове частички срезанного газона. Я вижу, как она вытаскивает из волос траву. Милли одновременно с восторгом и ужасом смотрит на сестру. Должно быть, она подкралась к Бланш сзади и оттуда осыпала ее травой.

— Ты маленькая идиотка! — Бланш просто в бешенстве. — Я же только что вымыла волосы... С меня довольно. Я тебя придушу, — говорит она.

Милли визжа убегает. Открываю французское окно и выхожу, чтобы вмешаться, но их уже и след простыл. Бланш исчезает за домом, бросившись в погоню за Милли. Слышу хруст гравия под ее ногами, потом глухой удар, тишина, вскрик.

Эвелин качает головой.

— Грядут большие неприятности, Вивьен.

Ко мне спешит Бланш. Она выглядит обеспокоенной.

— Мам, тебе лучше пойти туда.

Милли упала на гравий. Ее руки в мелких порезах, но самые неприятные ранки — на колене. Оно все расцарапано, в грязи и кровоточит.

Отношу Милли в ванну, чтобы промыть порез. В былые времена я бы добавила в ванну соль, чтобы продезинфицировать ранку, но сейчас соль в дефиците. Порез по-прежнему выглядит грязным, в ранке застряли частички гравия, которые я никак не могу вытащить. Понимаю, что нужен антисептик. Достаю его, отчего Милли приходит в ужас.

— Не надо! Будет больно! Мамочка, не надо! — Ее плечики сотрясаются от рыданий.

Не могу причинить ей боль. Убеждаю себя, что этот порез заживет сам по себе.

\* \* \*

Чей-то стук выдергивает меня из сна. Включаю лампу и иду к двери. Все тело вялое, неуклюжее.

Это Милли. Ее мокрое лицо блестит в свете лампы. На ресницах повисли слезы.

— Мамочка, у меня ножка болит.

Пальцем трогаю ее колено. Кожа горячая и воспаленная. От моего прикосновения

Милли вскрикивает. Ругаю себя на чем свет стоит. Я должна была проявить твердость и обработать рану.

— Пойдем, я отведу тебя в кровать, — говорю я, — а утром мы подумаем, что делать дальше.

Я встревожена, больше не могу уснуть. Через какое-то время встаю и прислушиваюсь к тому, что происходит в комнате Милли. Она все еще плачет, но я решаю оставить ее в покое. В плаче уже проскальзывает сонливость. Я знаю, скоро она заснет, и лучше, если я не стану ее тревожить.

Ночью погода портится. Дождь идет и в моем сне. Мне снится, что крыша Ле Коломбье вся в дырах, сквозь них льется вода. Мой дом весь затоплен. Я медленно выбираюсь из своей спальни по колено в воде. Вокруг холодный, чистый, аквамариновый свет.

Мимо меня в сияющем потопе проплывают вещи: книги с поэзией, пупсы из кукольного домика Милли, музыкальная шкатулка моей матери. Они все повреждены водой, но во сне я смотрю на все это с невозмутимым спокойствием. Плавущее в потоке воды не беспокоит меня: оно все покрывается пятнами, гнилью, разрушается. Я просто позволяю всему этому уйти в прошлое. Я испытываю в некотором роде наслаждение от того, что больше не сопротивляюсь, отдаюсь на волю судьбе.

\* \* \*

Утром дождь все еще идет. Небо тяжелое, оловянного цвета.

Перед тем как уйти на работу, Бланш оборачивается ко мне, стоя в двери. Она повязывает вокруг головы шифоновый шарф. Ее кожа золотится от вчерашнего солнца, от Бланш пахнет розами.

— Мама, с Милли все нормально? Я слышала, как она плачет, — говорит Бланш.

— Не знаю, — отвечаю я. — Меня беспокоит ее порез на колене. Постараюсь сходить за доктором.

Но я не тороплюсь. Не хочу оставлять Милли. Да и потребуется много времени, чтобы связаться с доктором. Мне придется ехать на велосипеде к нему домой и надеяться, что он или его жена будут там. Или же мне стоит попытаться позвонить ему из ближайшей телефонной будки, которая тоже находится достаточно далеко.

Бланш хмурится. Ее васильковый взгляд впивается в меня.

— Но если тебя что-то будет беспокоить, ты же вызовешь врача, да, мам? Пообещай, что вызовешь.

— Да, конечно.

Боковым зрением вижу какое-то движение, оно заставляет меня повернуться. В Ле Винерс открыто окно. Я что-то вижу в темноте комнаты по ту сторону окна: лицо или рукав рубашки. Ощущаю бессильную ярость. Мне противно, что люди, живущие там, знают подробности нашей личной жизни. Как будто оккупация дает им на это право.

Глаза Бланш наполняются слезами.

— Это я виновата, да?

— Нет, милая, конечно, нет. Вы же обе просто дурачились. Это просто случайность, что она упала на гравий.

— Мне не следовало так себя вести, — говорит она. — Но ты же знаешь Милли. Она прикидывается невинной овечкой, а сама такая приставучая.

Она выходит, плотнее натягивая пальто. Хотя дождь такой сильный, что я сомневаюсь, что Бланш надолго останется сухой.

## Глава 27

Раздаются шаги и стук в дверь. Мое сердце уходит в пятки.

Но это не тот, о ком я думала. Пришел капитан Рихтер. Его мокрые черные волосы прилизаны дождем.

— Прошу прощения, миссис де ла Маре, но мы случайно услышали ваш разговор.

Страх подступает к моему горлу. Я сделала что-то недопустимое? Нарушила какое-то правило, о котором даже и не подозревала?

Его темные умные глаза смотрят на меня.

— Один из наших услышал, что ваша дочь поранилась.

Его голос смягчается, он увидел страх на моем лице.

— Я был доктором, миссис де ла Маре, в той, другой жизни. Перед тем как... — Он разводит руки в беспомощном жесте, охватывающем все происходящее вокруг: войну, оккупацию. Жест, который говорит, что все это невозможно описать словами.

— О, — это все, что я могу сказать в ответ.

Пытаюсь представить его в образе врача. Без формы, без оружия. Это сложно.

— Вы не против, если я осмотрю вашу дочь? — спрашивает он.

В моем взгляде сквозит нерешительность.

— Я работал хирургом в госпитале Рудольфа Вирхофа в Берлине. — Он слегка улыбается. — Но я уверен, что хирургического вмешательства не потребуется.

Когда он заходил в прошлый раз, то предупреждал меня о комендантском часе. Я помню его строгий взгляд, тонкую линию его рта. Сейчас он предлагает осмотреть Милли. Я вся на нервах. Не знаю, как мне следует вести себя с этим человеком.

Колеблюсь. Но потом вспоминаю, как Милли плакала ночью.

— У нее болит нога, — говорю ему я. — Она упала на гравий. Боюсь, как бы не пошло заражение. Заходите.

В тот момент как я пригласила его в дом, во мне поднимается тошнотворная волна сомнения. Настойчивый голос в моей голове гневно и возмущенно ругает меня. «Что ты делаешь? Этот человек — твой враг. Ты доверяешь ему свою дочь, но он не на твоей стороне...» Но я уже не могу отступить.

Милли лежит на диване в гостиной, больное колено покоятся на подушке. Когда мы заходим в комнату, она поднимает взгляд. Несмотря на боль, на ее лице проступает любопытство.

— Милли, меня зовут Макс. Я доктор.

Она картино указывает на свое колено, наслаждаясь ролью пациента, наслаждаясь всем драматизмом ситуации.

— Болит, — говорит она.

Он осматривает ее, ощупываю кожу вокруг раны, сгибая-разгибая колено. Она вздрагивает от его прикосновений. Когда он причиняет ей боль, в ее взгляде появляются осколки сомнений. Меня так и тянет броситься к ним и оттащить ее в сторону.

— Так как же ты поранилась, Милли?

— Все из-за Бланш. Она погналась за мной.

— Моя дочка тоже любит бегать, — говорит капитан Рихтер. — И любит дразнить своего старшего брата...

Должно быть, он видел все, что случилось, через окно в Ле Винерс. Я ощущаю по отношению к нему некую враждебность.

Но Милли заинтригована.

— А сколько ей лет? Она тоже падает? — спрашивает она.

— Ей шесть лет. Да, она тоже бывает, что падает. — Его голос смягчается, когда он заговоривает о дочери. — Она всегда куда-то бежит, спешит. Не может сидеть спокойно.

Он встает и поворачивается ко мне.

— Как вы и думали, в ранку попала зараза, — говорит он. — Ей нужны лекарства. — Рихтер достает из кармана коричневую стеклянную бутылочку. — Это сульфамиды. Они помогут побороть инфекцию. Позволите мне дать их Милли?

Киваю.

— Милли, ты умеешь пить таблетки? — спрашивает он.

— Конечно. Мне же четыре с половиной.

Капитан протягивает мне бутылочку и объясняет, как пить лекарство. Потом прощается с Милли. Я слышу, как над нами скрипит пол в комнате Эвелин. Молю Бога, чтобы она не решила спуститься прямо сейчас. Провожаю капитана до двери.

Думаю, каково это быть хирургом, и мне становится кое-что понятно. Хирург должен быть в каком-то смысле отстраненным и бесстрастным. Я отдаю себе отчет, насколько циничен этот человек. Он всего лишь наблюдатель. Тот, кто смотрит со стороны, он сам по себе, но все видит.

— Скучаете по работе в Берлине? — спрашиваю я у него. Теперь я перед ним в долгу, нужно быть вежливой.

— Очень сильно скучаю. — Тень набегает на его лицо, появляется пустота во взгляде. — Но вы же знаете, в это тяжелое время многие лишились любимого дела. У тех, кто принимает решения, другие планы на наши жизни. Как всегда.

Я вздрагиваю. Должен ли он говорить мне что-то подобное? Он что, критикует Гитлера? Что на самом деле эти люди, эти солдаты, думают о войне?

— Это касается всех нас, — продолжает он. — Никто из нас не может быть там, где ему хочется. — Он слегка пожимает плечами, словно отбрасывая в сторону эту минуту откровения, словно он немного смущен. — Но в сложившихся обстоятельствах, мы считаем, что нам повезло — мы оказались на вашем прекрасном острове. Мы все, каждый из нас, благодарны... Хотя мне представляется, что вы смотрите на это несколько иначе.

У него умная улыбка с оттенком самоиронии.

— Большое вам спасибо за помощь, — говорю я.

Я открываю дверь и нервно оглядываю переулок, чтобы убедиться, что никто не увидит, как он выходит из моего дома. Капитан поворачивается и уходит, брезгливо огибая лужи. Дождь уже не идет, темные опавшие листья блестят, словно мокрая кожа.

Гадаю, кто же рассказал ему, что Милли поранилась, кто слышал наш разговор. Капитан Леманн наблюдал за нашим домом? Это капитан Леманн отправил Рихтера к нам?

## Глава 28

Собираю все фрукты, что есть в саду. Яблоки я складирую в сарае, высыпав в картонные коробки. Сливы закатываю в бутылки. А вот груши мы съедаем все сразу, они не хранятся долго. Милли отказывается есть кожуру, поэтому специально для нее я очищаю и нарезаю фрукты. Зернистая плоть сочится густым и вязким нектаром.

Дует северный ветер, и птицы улетают в теплые страны, где проведут всю зиму. Наш остров лежит на одном из перелетных путей в Европу, он ведет на юг по западным окраинам. По ночам, в темноте, можно услышать перекличку цапель; иногда хрипло и одиноко, словно потерянные души, кричат гуси.

День в самом разгаре, когда с моря прилетает внезапный шторм. Еду на велосипеде с фермы Вязов, а надо мной собираются и клубятся тучи. Звук такой, словно очень много людей бежит по переулку, шелестит живая изгородь, а потом начинает идти дождь.

Я моментально промокаю, поскольку забыла плащ. Проклинаю непредсказуемую погоду этих островов и ощущаю раздражение, знакомое каждой хозяйке, которая повесила белье сушиться, а теперь находится далеко от дома. Вся работа коту под хвост.

Ход велосипеда замедляется, и он начинает скрести землю. Похоже, спустило переднее колесо. Ругаясь под нос, слезаю с велосипеда. Милли дома с Эвелин, но я не люблю оставлять их надолго. Толкаю велосипед вперед и начинаю долгий путь к дому.

Мимо, прямо по луже, проезжает немецкий грузовик, обливая меня с ног до головы. Кажется, что он сделал это намеренно, со злостью. Мои платье и кофта промокли насовсем, в туфлях хлюпает вода.

Чувствую внезапную усталость. Я обессилена, рассыпаюсь на кусочки. Я устала от ворчливой, потерявшей рассудок Эвелин; от Бланш, которая все еще зла на меня из-за того, что мы не уплыли с острова; от этой оккупации, дефицита и дождя. Все перепуталось у меня в голове, это выше моих сил.

Приближается еще один автомобиль. Черт. Когда он проезжает мимо, я отворачиваюсь, не хочу, чтобы меня опять окатили водой.

Слышу, что машина останавливается, потом сдает назад. Ко мне подъезжает знакомый черный «Бентли». За рулем капитан Леманн. Он останавливается рядом со мной, перегибается через пассажирское сиденье и открывает окно. Сердце прыгает в груди, словно теннисный мяч.

— Миссис де ла Маре. Могу я вас подвезти?

Даже представить не могу, как нелепо я выгляжу. Волосы мышиными хвостиками облепили голову и лицо, по которому стекает вода. Вода же капает и с носа. Откидываю с лица мокрые волосы. Пытаюсь отрицательно покачать головой, но даже этого не получается.

— Мне кажется, вы прокололи колесо, — говорит он. — Так почему бы не разрешить мне помочь вам?

— Не стоит.

Но мой голос звучит не очень уверенно.

— Почему же не стоит? — спрашивает он.

Я не хочу думать о том, по какой причине он так настойчив, ведь он прекрасно знает, каким будет мой ответ.

— Я правда думаю, что не нужно, — отвечаю я.

Он наблюдает за моими колебаниями. Мне кажется, он готов ждать вечность.

— В любом случае, мой велосипед...

— Можете оставить его здесь. Я отправлю кого-нибудь из ребят забрать его.

— Но вы, наверное, очень заняты, у вас много дел...

Хотя я всегда захожу в тупик, когда думаю, какими могут быть эти дела. Вижу тень улыбки в его глазах, пока я все это говорю, словно он уверен, что я потерпела поражение.

— Ничего, что не могло бы подождать, — произносит он.

— Но вы ехали в другую сторону...

— Я с легкостью могу доехать до вашего дома.

— Я правда не должна...

Он открывает дверь.

Забираюсь в «Бентли», когда-то принадлежавший Ле Брю. Я должна злиться из-за того, что машина мистера Губерта реквизирована, я должна сказать, что меня не надо подвозить. Но я так устала, замерзла и промокла, а до дома еще очень далеко.

Капитан Леманн смотрит на меня: на мои мокрые волосы, гусиную кожу на руках, мокрую одежду, облепившую все тело.

— Миссис де ла Маре, вы дрожите. Накиньте мой плащ.

— Не могу, — отвечаю я.

— Мне кажется, вы должны. Вы же не хотите заполучить пневмонию. Особенno, если учитывать, что от вас зависят некоторые люди, — говорит он.

А вот это правда.

Поскольку я ничего не говорю и не протестую, он оборачивается к заднему сиденью. Достает оттуда плащ и накидывает его мне на плечи, опуская полы между моей спиной и спинкой кресла. Его близость шокирует меня.

Его рука скользит под волосами к основанию шеи, поднимая волосы там, где они соприкасаются с воротником плаща. Он делает это скрупулезно, не пропуская ни единой пряди, едва касаясь моей шеи своим пальцем. У него горячая кожа. Слышу, как он дышит, уверена, он слышит, как дышу я. Никто из нас не произносит ни слова.

Он заводит автомобиль. Плащ очень длинный, он складками собирается у меня за спиной. Но мне тепло.

— Это очень любезно с вашей стороны, — одновременно официально и вежливо говорю ему я. В моем голосе слишком много придухания.

Он слегка качает головой, словно не соглашаясь со мной.

— Как Милли? — спрашивает он.

— Сейчас уже хорошо, спасибо.

— Макс заходил?

— Да.

— Я подумал, что Макс сможет ей помочь, — говорит он.

— Да, спасибо.

Меня озаряет мысль, что он хочет, чтобы я знала: это он отправил ко мне Макса. Он понимает: ничто не подтолкнет меня к нему сильнее, чем его забота о моих детях. От этой мысли я чувствую себя счастливой, чего не должно быть.

Отворачиваюсь от капитана и смотрю в окно. Много времени прошло с тех пор, как я последний раз смотрела на Гернси из окна автомобиля. Буря проходит, в мир возвращается разноцветие: под белизной небес трава лихорадочно заливается зеленью, влажные ягоды

рябины блестят, словно помада на женских губах.

От нашего дыхания окна запотели, так что местность вокруг кажется размытой, цвета сливаются, словно земля вокруг иллюзорна и вот-вот исчезнет. Капитан приоткрывает окно, чтобы холодный воздух очистил стекло.

Некоторое время он молчит. Тишину заполняет скрип дворников. От мокрых вещей идет слабый запах: мокрая шерсть моей кофты, мускус моих волос. Медленно поворачиваюсь к капитану, наблюдаю за его сильным, крепким телом, за его руками, поворачивающими руль. Вспоминаю ощущения, когда его пальцы касались моей шеи. Теплые, пугающие. Он едет очень медленно.

— Итак, шоколад, — говорит он, словно продолжает начатый разговор. — Вы сами его съели или весь отдали детям?

— Пару кусочков съела я.

— Понравилось? — спрашивает он.

Вспоминаю, как таяли во рту сладкие кусочки.

— Да. Очень вкусно.

— Даже несмотря на то, с какой неохотой вы его взяли?

Я не смотрю на капитана, но слышу в его голосе улыбку.

— Я отказывалась не потому, что думала, будто он мне не понравится.

Слова повисают между нами.

Ветер уносит облака. На землю льется свет, все сияет, сверкает. Он отирает окно изнутри своим рукавом. Цвета окружающей местности ослепляют: медь и бронза опавших листвьев, поле из темно-желтых одуванчиков, длинноногих, как девчонки. Проезжаем мимо сказочных виноградников, стоящих, словно стена, горящих ярким, но мягким огненным цветом.

— Пейзаж акварельный, — говорит он. — Я бы с удовольствием его нарисовал.

Меня это интригует.

— Вы художник?

— Не думаю, что достоин того, чтобы меня так называли, — отвечает он. — Но мне нравится рисовать, когда есть такая возможность. Ради собственного удовольствия. — Он замолкает на некоторое время, словно пытается подобрать слова, чтобы выразить свои чувства. — Мне кажется, это помогает мне отрешиться от настоящего. Хотя бы на время.

Я прекрасно его понимаю. Иногда очень хочется отыскать безопасное место, убежище. Вот как я со своими пианино и поэзией. Но не такие слова ты ожидаешь услышать от солдата.

— Искусство — это не моя профессия, — говорит он. А поскольку я ничего не спрашиваю, он добавляет: — До войны я был архитектором.

Я удивлена, как тогда, когда капитан Рихтер сказал, что он был врачом. Никогда не думала, что у этих людей есть другая профессия. Я пытаюсь, но неудачно, подобрать слова так, чтобы вопрос вышел неглупым.

Небо расчищается. Чуть впереди нас, на фоне голубого великолепия, видна огромная темная туча. Она выглядит очень основательной, словно какая-то страна, словно какие-то сказочные холмы, о которых я читала Милли.

Он больше ничего не говорит, да это и неважно. Я чувствую себя такой счастливой в этой машине, в этом плаще — меня охватывает неожиданное счастье, оно заполняет меня. Я не могу его контролировать, изгнать или отвергнуть.

На повороте в проулок, возле поилки для скота, стоит темная фигура — женщина с платком на голове выгуливает собаку. Узнаю в ней Клемми Ренуф, мы немножко знакомы, ходим в одну церковь.

Она смотрит прямо на машину. Кажется, что ее пристальный взгляд выискивает именно меня. Во мне появляется страх. Убеждаю себя, что она не сможет ничего разглядеть сквозь запотевшие стекла. Очень хочу, чтобы так и было.

Подъезжаем к Ле Коломбье.

— Я могу довезти вас до двери. Но если хотите, я высажу вас за углом, — говорит он.

— Да, так будет лучше.

Он останавливает машину на некотором расстоянии от моих ворот.

— Если вы дадите мне ключ от вашего навесного замка, я отправлю Ганса Шмидта за велосипедом, — говорит капитан.

Вытаскиваю ключ из кармана и кладу ему в руку, стараясь не дотронуться до нее.

— Спасибо, что подвезли.

— Не за что, миссис де ла Маре.

Снимаю плащ, сворачиваю, потом кладу на сиденье. Без него я чувствую себя одинокой, мне холодно. Открываю дверь, поворачиваясь спиной к нему.

— Меня зовут Вивьен, — говорю я.

— Вивьен, — серьезно, очень тщательно и бережно повторяет он, словно боится повредить его, произнести слишком грубо. — Благодарю.

Будто я что-то ему отдала.

\* \* \*

Этой ночью мне снится он. Во сне он прижимает меня к себе. Просто прижимает, никаких поцелуев, никакого сексуального подтекста. Его тело соприкасается с моим, так бывает после очень долго расставания. Во сне все такое настоящее, как и должно быть. Но просыпаюсь я в потрясении от такого сна.

## Глава 29

— Я разбирала некоторые вещи Фрэнка, — говорит Энжи.

На кухонном столе высится стопка книг: «Садоводство» мистера Миддлтона, «Тroe в лодке», «Сказки острова Гернси».

— Они принадлежали Фрэнку, — говорит она. — Мне они не нужны, Вивьен. Я не такая, как ты или он. Как я тебе уже говорила, я не читаю. Я хотела бы отдать их тому, кому они пригодились бы.

Она протягивает мне народные сказки Гернси.

— Я знаю, что твоя Милли очень любит сказки. Мне кажется, ей понравится эта книга.

Открываю книгу, страницы пахнут пылью и плесенью. Пролистываю ее: старомодный декоративный шрифт, начальная буква каждой сказки обвита листьями.

Закладкой служит засушенный цветок. Несмотря на то, что он выцвел и высох, я по форме узнаю в нем стальник колючий — ползучее растение с розовыми лепестками. На нашем острове он растет повсюду: на каждом склоне или вершине скалы, или не скошенном участке земли. Мне всегда нравилось его название. Смысл заключается в том, что его красота останавливает комбайны.

— Спасибо. Милли понравятся эти сказки. Нам обеим понравятся, — говорю я.

Энжи делает что-то похожее на кофе, заварив обжаренный пастернак. Напиток горький, но его вполне можно пить (если только выкинуть из головы память о вкусе настоящего кофе). Мы сидим за ее кухонным столом и молча пьем.

У нее все еще бледный, потерянный вид. Когда я спрашиваю, как она держится, Энжи печально улыбается.

— Не так уж и плохо, Вивьен. Жаловаться не на что.

— Если я могу чем-то помочь... — начинаю я.

Энжи как всегда практична.

— Пока ты здесь, ты могла бы помочь мне шелушить горох, — отвечает она.

Она берет стручки гороха из раковины и выкладывает их на стол. Некоторое время слышен лишь стук горошин о миски, а через открытую дверь доносится царапанье и возня кур. Да еще слышен шепот деревенской местности. Складывается ощущение, что всю комнату покрыл темный лак грусти.

Спустя какое-то время она откашливается, но в мою сторону не смотрит.

— Знаешь, Вивьен, я порой просто ненавидела Фрэнка, — говорит она. Очень прозаично, как будто отвечает на заданный мной вопрос. — Дело в том, что когда он напивался, то распускал руки. Ты знала об этом, Вивьен?

Я немного удивлена тем, что она в открытую об этом говорит.

— Иногда я так думала, — осторожно отвечаю я.

— Ну, ты очень чуткая, Вивьен, ты умеешь подмечать такие вещи, — говорит Энжи. — Ты знаешь, что чувствуют люди... Так вот, когда он напивался, я должна была сидетьтише воды, ниже травы. Вести себя как хорошая девочка, иначе он меня избивал... Но сейчас, когда его нет, я очень по нему скучаю. Любовь — очень странный зверь, — продолжает она, луща горошек.

— Это да, — отвечаю я.

— Он мог быть разным. В нем жили два разных человека. Это странно, правда, Вивьен?

И один из этих людей был для меня незнакомцем. Порой я думала: «А я вообще знаю этого человека?»

Вспоминаю тот ужасный момент, когда я заглянула в гримерную Юджина, когда увидела его с Моникой Чарлз. Эта тошнотворная мысль, словно насекомое карабкается по моей коже: мой брак отнюдь не таков, каким я его себе представляла. Кофе из пастернака оставляет на языке горькое послевкусие.

— Я понимаю, что ты хочешь сказать... понимаю, что чувствуешь, — говорю я. — Ты задаешься вопросом, насколько хорошо ты знаешь человека.

Снаружи шелестят листья на старом дереве. К осени они высохли и у них грубоватый и шипящий шелест.

— Но несмотря на все это, он был хорошим человеком, — медленно, тщательно подбирая слова, говорит мне Энжи. — Он был трудягой, что очень важно в мужчине. Мне не хватает мужских рук. Таков закон природы, ведь так? Чтобы в доме были мужские руки. Я иногда ненавидела его, а сейчас люто по нему скучаю... Знаешь, какой урок из этого я вынесла, Вивьен? Ты всегда должна быть благодарна судьбе за каждый ее подарок. — Она открывает стручок. — Дорожи тем, что имеешь, — продолжает Энжи, а горошины со стуком падают в миску.

\* \* \*

Возвращаюсь домой в Ле Коломбье. Мне грустно от того, насколько Энжи изменилась. Она теперь такая тихая, такая задумчивая. Когда Фрэнк был жив, она тараторила без умолку.

Она знала все новости и сплетни. Энжи знала много баек и любила посудачить о тех суевериях, в которые до сих пор верят старики. Вроде такого, когда говорят, что будет дождь, если мерещится шарканье ног по гальке.

Во время приливов случается больше родов, а во время отливов — смертей. Жизнь приходит с водой, а уходит, когда та спадает.

Особенно она любила рассказывать про местных ведьм, которые давным-давно встречались на Ле Катиорак, мысе на западной стороне острова. Энжи говорила, что ведьмы плясали там совершенно обнаженными, как обычно это делают ведьмы. Они проклинали монахов, которые жили на острове Лиху (святой остров возле западного берега Гернси).

Картинка вырисовывалась впечатляющая: свирепые голые женщины, извергающие проклятия на ветру, ибо на том мысе всегда очень ветрено. Мы иногда ходили туда летом. Во время отлива можно добраться до острова по дамбе из камней.

Монахов сейчас уже тоже нет, на острове никто не живет. Это место пустынно — черные скалы, серая вода, черные водоросли на бледном песке. Девочки могут сорваться с камней, поэтому я всегда потоптываю их на обратном пути. Прилив приходит неожиданно, можно остаться на острове. Эти прогулки, где-то на задворках сознания, всегда сопровождает страх, что вода тебя опередит.

# Глава 30

Эвелин зовет меня из своей комнаты:

— Вивьен, это ты? Вивьен?

Она в своем кресле, вяжет. Подхожу к ней. Эвелин бросает на меня суровый взгляд.

— Пока тебя не было, заходила Клемми Реноф. Занесла приходской журнал.

— Вот как?

— Клемми Реноф рассказала мне такое, чего я не ожидала услышать.

Сердце выпрыгивает у меня из груди.

— Она видела тебя в машине с гунном. Она говорит, это определенно была ты.

Думаю, стоит ли отрицать.

— Это был один из офицеров, живущих в Ле Винерс, — отвечаю я. — Он увидел, что я проколола колесо, и подвез меня до дома.

— Клемми Реноф сказала, ты улыбалась.

— Эвелин, это не преступление. Человек просто подвез меня. Была гроза. Я только выехала от Гвен, и мне нужно было домой, к тебе и Милли.

— Очень широко улыбалась, — говорит она.

— Он просто хотел помочь. Всего лишь вопрос порядочности.

— Да, — отвечает она. — Вопрос порядочности. — Она медленно и значительно произносит слова. — А еще Клемми сказала, что на тебе был его плащ. Военный плащ. Скажи мне, что это неправда, Вивьен.

О Боже!

— Клемми не могла этого увидеть. Я же говорила, что шел сильный дождь, а все окна запотели.

Но я чувствую себя ужасно от того, что вру ей.

Эвелин выпрямляется. Ее тонкие, нарисованные карандашом брови изгибаются.

— Твое поведение разочаровывает, Вивьен. Юджин бы этого не одобрил.

— Остров очень маленький, — говорю я. — Мы должны найти способ существовать с ними.

Она качает головой.

— Он бы подобного не допустил. Он всегда знает, как поступить правильно... — Слова иссякают. Взгляд Эвелин блуждает по комнате. В голосе появляется сомнение. — Вивьен, а где Юджин?

— Воюет, — мягко отвечаю я.

Ее взгляд затуманивается, как запотевшее стекло. В глазах возникает вопрос за вопросом.

— Воюет, Вивьен?

— Да. Послушай...

На каминной полке стоит фотография Юджина. Я сфотографировала его своим «Кодаком» прямо перед тем, как он уехал. Юджин в форме, смотрит в объектив. Он очень серьезен — осознает всю торжественность момента. Хотя я не знаю, действительно ли он его таковым считал. Возможно, даже в тот момент он играл свою роль — роль решительного солдата, идущего на войну.

— Вот он... до того, как ушел в армию, — говорю я.

— Ох, Вивьен, он выглядит таким франтом.

— Разве?

— Это когда было?

— Прошлой осенью, — отвечаю я. — Как раз перед войной.

— О! Правда? Знаешь, Вивьен, я иногда забываю всякие разные вещи... Значит, говоришь, Юджин ушел на войну?

— Да. Мы все очень им гордимся...

— Вивьен, так он уехал?

В ее голосе слышится паника. Внезапно Эвелин начинает плакать. Слезы возникают так неожиданно: еще минуту назад она злилась, а сейчас плачет. Как будто ее эмоциональное настроение где-то на поверхности, она ранима, как поврежденная кожа. Малейшее прикосновение может ей навредить. Слезы оставляют блестящие дорожки на напудренном лице. Это так ужасно, она забывает, что он ушел, и осознание этого каждый раз причиняет ей боль.

Как ребенку, вытираю ей лицо. Она откидывается в кресле, в нем она смотрится маленькой и потерянной. Обнимаю ее.

— Все хорошо, не плачь.

Злость оставила ее, вся ушла. Я чувствую себя виноватой, что расстроила ее, что из-за меня она плачет. Чувствую себя виноватой кругом и всюду.

# Глава 31

Я работаю в той части сада, где наша земля идет вокруг заднего двора Ле Винерс. Здесь изгородь невысокая и есть небольшая калитка. Я перекапываю часть газона, чтобы разбить огород. Это тяжелая работа.

Сначала со мной была Милли, копалась в земле кухонной ложкой, собирая червей в банку. Но теперь она убежала играть в дом. Милли оставила банку из-под варенья на боку, и все пойманные червяки отыскали путь на свободу и расползаются. Солнце согревает кожу. Кажется, в этом укромном уголке лето решило задержаться.

Некоторые цветы все еще цветут. Осенние клематисы на моей изгороди; бледно-розовые георгины, повесившие свои тяжелые головки; несколько роз «Belle de Crécy», распустившие свои шелка и источающие сладковатый аромат, отдающийся в тебе болью. Из бутона в бутон перелетают пчелы.

Тяжело дыша, я на мгновение останавливаюсь, перенеся весь свой вес на лопату. И тут рядом со мной падает тень. Я подпрыгиваю от неожиданности.

— Вивьен.

Оборачиваюсь.

Капитан Леманн. Он прошел через калитку в заборе. Обращаю внимание, насколько из его уст мое имя звучит по-другому: чужеродно, почти чарующе.

— Вы напугали меня, — говорю ему я.

— Да, вижу. Прошу прощения.

Он постоянно передо мной извиняется.

Сегодня у него целеустремленный взгляд, вид человека, который собирается сделать что-то важное. Он выглядит неуместно в моем саду. От его присутствия день становится немного сказочным, каким-то нереальным.

— У вас прекрасный сад, — говорит он.

— Спасибо.

На мне старый мешковатый свитер Юджина, довольно жаркий для такого дня. Я чувствую, что у меня вспотели подмышки и лицо. Заправляю за ухо непослушную влажную прядь. Ощущаю себя неопрятной и растрепанной. Он, напротив, безукоризненно одет, хладнокровен, недосягаем для меня.

— Красивый цветок, — произносит он, показывая на клематис, который вьется по изгороди. Его лепестки насыщенного сливочного цвета, а тычинки красные, словно гранаты. Мужчина дотрагивается до лепестка. Я слежу за тем, как его палец движется по яркому распустившемуся цветку. У меня перехватывает дыхание. Интересно, он это слышит?

— Любите возиться в саду? — спрашиваю я. — У вас дома есть сад?

Он отрицательно качает головой.

— Нет, в Берлине у нас нет сада. Только балкон. Жена выращивает там какие-то комнатные растения, да стоит клетка с птичкой.

Его слова вызывают в моем воображении целую картинку, и я думаю: «Вот что он мысленно видел перед собой тем вечером, когда я через окно смотрела, как он читает письмо: жену, балкон, птичку в клетке».

— Звучит очень мило, — отвечаю я. Вежливо. Беспомощно.

Он слегка пожимает плечами и внимательно смотрит на меня. Его глаза серые, как дым

от костра, они словно что-то требуют от меня.

— Я бы хотел, чтобы у меня был сад.

Чувствую, как краснеет мое лицо. Запах роз обволакивает нас, будто влажный язык какого-то животного.

Эту часть сада нельзя увидеть из спальни Эвелин или из гостиной. Но я все равно ощущаю сильную неловкость, думая, в какой ужас она пришла бы, если бы заметила, что мы стоим здесь. Особенно, если учесть, что она уже меня подозревает. Я поворачиваюсь к дому спиной, как будто это безопаснее. Я похожа на ребенка, который прячет лицо в ладонях и думает, что его не видно.

— Вам всегда это нравилось? Что-нибудь выращивать? — спрашивает он.

— Да. Даже когда я была ребенком. — Как за спасательный круг, я цепляюсь за тему, которая кажется безопасной. — Но только что-нибудь яркое, не овощи. Я тратила свои карманные деньги на пакетики с цветочными семенами.

— Когда вы были ребенком... — повторяет он и улыбается, как будто эта мысль его позабавила.

— Мне нравились рисунки на упаковках, — говорю я. — Я помню, как покупала «Любовь в тумане», потому что мне нравились название и картинка.

Как только я это произношу, тут же смущаюсь из-за названия цветка. Но у него заданный вид, он не понял слов.

— «Любовь в тумане» — это название растения, — объясняю я.

Говорю и внезапно очень четко все вспоминаю. Стою перед стойкой с семенами в Клапхэм Коммон, выбираю пакетик с семенами цветов, у которых заманчивые синие лепестки

— Но они никогда не вырастали такими, какими должны были, — говорю я. — У меня были такие большие ожидания, но всегда вырастала пара щедруших цветочков, которые даже не цвели. Но конечно же, именно тогда я научилась заниматься садоводством. — Слова льются из меня, я не могу остановиться. Такое ощущение, что я пьяная, у меня кружится голова, а по спине стекает неприятный ручеек холодного пота. — Но сейчас придется все поменять, я должна выкопать больше половины всех цветов, чтобы посадить на их месте что-то съедобное. Уже давно пора это сделать. Но это тяжело, я очень люблю свои цветы.

— Да, это я вижу, — отвечает он.

— Дело в том, что... что я не очень практична. Со всем этим дефицитом огород был бы весьма кстати, если бы я была более практична, если бы я была другим человеком. Мне кажется, я не вписываюсь в происходящее.

Он слегка улыбается, но в его глазах я вижу грусть.

— Среди нас очень мало людей, которые вписываютя в происходящее, Вивьен.

Некоторое время он не произносит ни слова. Я роюсь в голове в поисках того, что бы еще сказать, но после моей тирады там пусто. Такое ощущение, словно я под водой: она на моей коже, она плещется на ветру в живой изгороди. Я не могу дышать.

Слышу, как он откашливается.

— Я хотел кое о чем попросить вас, Вивьен. Об одолжении.

Он произносит эти слова другим тоном. В нем слышится колебание, неуверенность. У меня во рту становится сухо.

— Может быть, вы помните, я говорил о том, что люблю рисовать, — продолжает он. — Я бы хотел попросить вас позировать мне.

Так вот почему он казался таким целеустремленным, когда проходил через калитку в мой сад. Его целью была я.

— Простите, я не должен был просить об этом, — говорит он.

Он быстро отступает. Уверена, что он гордый мужчина.

— Нет, нет, дело не в этом, — отвечаю я.

— Это было непорядочно с моей стороны.

— Я не имею ничего против того, что вы спросили. Правда.

Он отступает от меня еще на шаг — собирается ретироваться.

— Тогда желаю вам хорошего дня, Вивьен, — говорит он.

Сейчас он снова отстранен и ведет себя официально. Капитан разворачивается к калитке.

С трудом сглатываю.

— Я смогла бы... — говорю я тихим голосом. В горле стоит ком.

Он моментально оборачивается ко мне.

Я же не смотрю на него. Изучаю свои руки, линии на ладонях, черные полумесяцы земли под ногтями.

Делаю еще одну попытку.

— Я смогла бы, когда Милли с Бланш уснут. Но будет поздно. Часов в десять?

Чувствую на себе его полный теплоты взгляд.

— Благодарю, — говорит он.

Не осмеливаюсь посмотреть ему вслед.

## Глава 32

Слышу тихий стук в дверь. Разрешаю капитану войти.

— Вивьен.

Мое имя он произносит медленно, как будто не желает его отпускать. Нас окружает тихая, спокойная обстановка сонного дома, где все уже спят.

Провожу его в гостиную. Капитан все рассматривает, и я внезапно смотрю на знакомую комнату его глазами. Теперь я вижу, что это полностью женская комната. Ситец с ландышами, кисти на шторах, георгины в белом кувшине. Сплошные драпировки и цветочки. Капитан же смотрится в этом месте слишком солидно, слишком по-мужски.

У него с собой блокнот для рисования, карандаши в кожаном чехле и бутылка бренди, которую он протягивает мне. На ней французская этикетка. Выглядит дорого.

— Это в качестве благодарности, — говорит он.

Кажется, прошло уже несколько лет с тех пор, как я отказывалась от шоколада, что он мне предлагал.

Из китайского серванта достаю два стакана для бренди. Единственные, которые не разбили в тот день, когда мы пытались уплыть. Ставлю стаканы на пианино. Капитан разливает бренди. Передав мне стакан, он чокается со мной; в тишине громко раздается ясный, уверенный звон стекла. Делаю глоток и чувствую, как внутри разливается тепло, и напряжение постепенно отпускает.

Капитан смотрит на мои книжные полки.

— У вас много книг, — говорит он.

— Да.

— И кому же принадлежат все эти книги? Вам или вашему супругу?

— Большинство мои. Юджин не очень любил читать. — Я использую прошедшее время, сама не знаю почему. — Многие я привезла из Лондона.

— Может, одолжите мне одну? — спрашивает он. — Попрактиковаться в английском.

Вот снова опять один из тех моментов, когда я гадаю, где же провести черту. Но как я могу ему отказать, когда сама же его и пригласила, чтобы нарисовать меня, чтобы выпить бренди?

— Какую хотите?

— А какая из них самая лучшая?

Я улыбаюсь:

— Это слишком сложный вопрос.

Он ждет.

Беру одну из своих самых любимых книг — томик стихов Джерарда Мэнли Хопкинса. Но это не очень разумный выбор для того, кто не является носителем английского языка. Поэт использует довольно эксцентричный и странный язык.

Книга открывается в том месте, где лежит закладка, я часто открывала ее именно на этой странице.

— Можно? — спрашивает он.

Протягиваю книгу капитану.

— Поправьте меня, если я что-то произнесу неверно, — просит он.

Потом начинает читать. Тихо, осторожно, слегка спотыкаясь на словах.

Хочу бродить все дни,  
Где всё цветёт,  
В полях, где слепней нет, и град не бьёт,  
Где лилии одни...

Он замолкает и смотрит на меня.

— Неужели можно писать таким слогом?

У него такой смущенный вид, который всегда заставляет меня смеяться.

— Типа того. Но это странный способ использовать это слово, — говорю я. Чувствую себя глупо из-за своего неуместного выбора. — Наверное, это не очень хороший выбор. Поэт довольно непростой.

— Нет, Вивьен, это хороший выбор.

Он возвращается к книге.

Прошу, о дай мне кров,  
Где есть покой,  
В той гавани, где молкнет вал морской,  
И нет штормов.<sup>[2]</sup>

В воцарившемся молчании слова замирают, словно вода в ладонках. Она задерживается лишь на мгновение, прежде чем пролиться сквозь пальцы.

— Я все правильно прочитал? — спрашивает он.

— Да. Да, все правильно.

Но от его чтения в комнату прокралась печаль, чувство опустошения. Не знаю, откуда это чувство.

— Мне нравится это стихотворение. Оно прекрасно, — говорит капитан.

— Оно всегда было моим любимым, — отвечаю я мягким и обыденным голосом, пытаясь отогнать печаль. — Мы изучали его в школе.

— Сколько вам было, когда вы его изучали? Четырнадцать, пятнадцать?

— Да, где-то так.

Он улыбается, будто эта мысль доставляет ему удовольствие.

— Интересно, какой же вы были в четырнадцать? — произносит он.

Я не знаю, как ответить на этот вопрос.

— Такой же, как все, полагаю... — Я чувствую, что он заслуживает нечто большее, чем этот ответ. Что-то более конкретное. Потому что я точно помню, какой я была, я ненавидела свои четырнадцать. — Нет, это не так. Не такой, как все... Мне всегда выговаривали за то, что я таращусь в окно, витая в облаках. Что я невнимательна. Я была до ужаса застенчивой, немного неуклюжей, сплошные локти и коленки...

Его глаза смотрят на меня с теплотой и заинтересованностью.

— Я всегда завидовала некоторым девочкам. Успешным. С отличной осанкой. Идеальным, — говорю я. — Всегда есть такие девочки, вы же знаете. У которых стрелка на чулках ровнее, чем у остальных, у которых идеально завиты волосы.

— Да, такие девочки есть всегда, — отвечает он, слегка пожимая плечами. Как будто точно знает, о каких таких девочках я говорю. Как будто они его никогда не интересовали. Я чувствую внезапный прилив счастья, который, как я знаю, испытывать не должна.

— Вы можете взять книгу на время, если хотите, — говорю я. — Чтобы потренировать свой английский.

— Спасибо. Спасибо вам больше.

Он перебирает страницы, потом возвращается к титульному листу. Я вижу, как он смотрит на то место, где я написала свое имя: «Вивьен Мэри Коллиер», потом «Коллиер» зачеркнуто и написано «де ла Маре». Он пробегает пальцем по надписи, словно ожидает почувствовать там другую текстуру, не такую, как на других страницах. Как будто мое имя сможет оставить отпечаток на его коже.

Он убирает книгу в карман куртки.

— Спасибо, Вивьен, — снова говорит он.

Чувствую в его взгляде напряженность. Отворачиваюсь.

— Куда вы хотите, чтобы я присела? — небрежно спрашиваю я.

Он показывает в сторону дивана. Внезапно смущившись, усаживаюсь на него, одергивая юбку и неуклюже пытаясь устроиться на сиденье и поставить ноги. Капитан садится в кресло напротив меня. Достает карандаш и кладет блокнот на колено.

— Куда мне смотреть? — спрашиваю я.

— Не могли бы вы повернуться слегка налево, — отвечает он.

Поворачиваюсь.

— Так?

— Да, так хорошо. Свет будет падать как раз на ваше лицо.

Сначала он пристально на меня смотрит, а потом начинает делать зарисовки. Капитан приподнимает карандаш, наклоняет его, работая над пропорциями моего лица. От его внимательного взгляда можно прийти в замешательство. Я рада, что не сижу лицом к нему и избавлена от необходимости смотреть ему в глаза.

— Насколько неподвижной я должна быть? Разговаривать-то можно? — спрашиваю я.

Он слегка улыбается.

— Да, немного можно, — говорит капитан.

Но я не могу ничего придумать, ничего умного, о чем можно было бы поговорить.

— Вы всегда любили рисовать? — задаю вопрос я.

Слишком очевидно. Вопрос звучит высокопарно, наивно. Но капитан отвечает на него со всей серьезностью.

— Не всегда. Когда я был ребенком, рисовал постоянно, но потом это стало лишь хобби. Я снова стал рисовать совсем недавно, после того, как мне исполнилось сорок. Мне захотелось, чтобы был какой-то кусочек времени, принадлежащий лишь мне. Я подумал, если не начну сейчас, не начну уже никогда.

Значит ему сейчас чуть за сорок. Я чувствую, насколько мы старые. Мы оба. Как много мы повидали в жизни.

— Странное ощущение, когда взрослеешь, — говорю я. — Все не так, как ты предполагал.

Он вопросительно смотрит на меня.

Не уверена, почему я произнесла именно это. Стараюсь объяснить.

— Мне самой скоро сорок. Порой мне кажется, что я до сих пор жду, когда же начнется жизнь. — Я говорю медленно, тщательно подбирая слова. — Я так долго жду. Жду, когда Милли пойдет в школу, чтобы у меня появилось немного свободного времени. Жду, когда вернется Юджин... — Замолкаю и думаю, почему я вспомнила о нем? Потому что должна

была? Скучаю по нему? — Жду, когда закончится война... Но жизнь не ждет, она утекает сквозь пальцы, просто утекает... Это звучит глупо, да? Уверена, что глупо.

— Нет, не глупо, — отвечает капитан.

— Вы когда-нибудь чувствовали что-то подобное? Нет, конечно же, нет. У мужчин все по-другому, да?

— Может, и нет, — говорит он.

— Я иногда завидовала тому, что мужчины больше делают, чем ждут. Иногда я чувствую, что реальные вещи проходят мимо меня. Как будто меня вытолкнули на обочину жизни. А иногда я завидую Юджину... завидую тому, что он воюет на фронте.

— Вероятно, война совсем не такая, какой вы ее себе представляете, — говорит он мне. — В большинстве своем, война — это ожидание. Ожидание того, как уходит жизнь. — У него на лице появляется кривоватая улыбка. — Хотя и кое-что хорошее в ней есть...

Его карандаш зависает над страницей.

— Вивьен, я рисую ваши губы, поэтому некоторое время вам придется помолчать, — говорит капитан. Он снова смотрит на бумагу. — Верхнюю губу.

Я вдруг очень начинаю переживать за свои губы. Лицо горит. Уголок рта дергается. Не замечала подобного раньше. Гадаю, видит ли он.

Он смотрит на мои губы и молча рисует. До мельчайшего слышны все звуки в комнате: бьется о лампу мотылек, потрескивает камин. Мне они кажутся очень чистыми и опасными.

Наконец, он откладывает карандаш.

— Уже можете посмотреть, что получилось, — говорит мне капитан.

Встаю и подхожу к нему. Он поднимается и кладет рисунок на пианино, чтобы я могла посмотреть. Чувствую, что он нервничает, ему интересно, что я скажу.

— Это просто набросок, эскиз. Грубовато получилось, — говорит он.

Но я вижу, что он весьма самокритичен. Рисунок не грубый, все очень точно. Могу сказать, что капитан все подмечает: родинка на подбородке, морщинки на лбу, своюенравные волосы, выскользнувшие из-под заколки и обрамляющие мое лицо. Он видит меня такой, какая я на самом деле. Губы на рисунке выглядят полными, но они такие и есть, хоть мне это и не по нраву. Я завидую женщинам с маленьким ртом, их губы, словно бутоны. Задумываюсь над тем, что, может, я ошибаюсь на его счет, и он вовсе не в восторге от меня. Я была бы рада некоторой лести с его стороны.

— Очень точно, — говорю я.

— Кое-что, да, — отвечает он. — Но вот эту часть я изобразил неверно. — Он дотрагивается до бумаги одним пальцем, проводя по моей нарисованной щеке. — Я старался, но уловить не смог. Эта часть вашего лица очень мила. Вот этот изгиб.

Он отводит руку от бумаги, дотягивается до моего лица и медленно проводит пальцем по моей щеке. От его прикосновения все слова испаряются. Мы стоим так некоторое время — его палец касается моей кожи. Жар его тела волной пробегает по моему.

Капитан опускает руку и делает шаг назад. Я не вынесу этого, не вынесу того расстояния, что между нами теперь.

— Могу я забрать рисунок? — спрашиваю его. Хочу, чтобы у меня осталось что-то от этого вечера, от него самого. Мой голос кажется мне таким далеким.

Он удивлен. Ему приятно.

— Да, конечно. Да.

Протягивает рисунок мне.

— Я должен идти, — говорит он. — Спасибо вам.

— А ваш бренди?

Я беру в руки бутылку.

— Оставьте. Это вам. Но, может, я зайду еще раз и мы вместе его выпьем?

— Да... Послезавтра... вы можете зайти послезавтра.

Он слегка вздыхает, слыша эти слова. Хотя слова ничего не значат, все было решено, когда он коснулся меня.

Я прячу бренди подальше в шкаф, где никто не найдет бутылку. Рисунок убираю в одну из своих книг со стихами. Я все еще чувствую то место, где находился его палец, словно моя кожа ожила.

# Глава 33

Достаю книгу, которую мне отдала Энжи.

— Это подарок миссис ле Брок, — говорю я Милли.

Она прижимается ко мне. Ей нужно помыть волосы. Вдыхаю запах ее волос, в котором намешано много разных ароматов.

— Отлично, тогда почитай мне, мамочка, — говорит она.

Открываю книгу.

Она хмурится.

— А картинок-то нет, — говорит она.

— Нет. Они будут появляться в нашем воображении...

Меж страниц все еще лежит веточка стальника. Милли забирает ее и осторожно держит большим и указательным пальцами.

Начинаю с первого рассказа.

— Жил да был на Гернси человек, который поплыл на лодке на Сарк...<sup>[3]</sup>

Милли рада. На ее лице расплывается улыбка.

— Мы там уже были, да, мамочка? Мы уже ездили на Сарк, — говорит она.

Вспоминаю, как одним летним днем мы плыли на лодке. Это было до того, как ушел Юджин, до того, как началась война. Мы взяли с собой сэндвичи и домашний лимонад. Сарк — небольшой тихий остров, где нет никакой техники, нет машин. Место глубоких, необыкновенных улочек, лежащих между нависающих живых изгородей, с любовью ухоженных садов, полных цветов. Там обитают большие птичьи колонии: на рифах, на шельфе, на Летаке и Лес Отелетс. Птицы взлетают, словно белый дым клубится вокруг. А шум от них улетает далеко в море.

Милли очень внимательна... гордится тем, что знает то место, о котором идет повествование.

Продолжаю читать.

— Мужчина был отличным стрелком и планировал добыть чего-нибудь на обед. Он уселся на скале над Хавр Госселин, откуда и увидел стаю диких уток, летящих в форме идеального круга. Его оружие, казалось, не причиняло им никакого вреда.

Взгляд Милли стал задумчивым.

— Как ты думаешь, это были какие-то неправильные утки? Они были волшебными, мамочка?

— Да, я думаю, они были волшебными.

Она довольно вздыхает, удовлетворенная тем, что сказка о чем-то сверхъестественном. Она рассеянно проводит засохшим цветком по лицу.

— Вернувшись на Гернси, мужчина пошел к белой ведьме, колдуны, чтобы посоветоваться с ней.

Хочу объяснить ей, но Милли кивает. Слово «колдуны» ей знакомо.

— Колдуны сказала охотнику, чтобы он стрелял по уткам особенными пулями — серебряными, на которых изображен крест. Мужчина поплыл обратно на Сарк и снова уселся над Хавр Госселин. В спокойном воздухе за краем обрыва опять летели утки, выстроившись в идеальную окружность. Мужчина выстрелил серебряной пулей. Она попала в одну из уток, но не убила, а лишь ранила в крыло.

Возвращаясь домой, мужчина заметил среди других островитян девушку. Она была бледна, вся тряслась. И у нее была ранена рука.

Глаза Милли сияют. Она знает, что происходит в подобных сказках: ослепительные превращения — вещи становятся не тем, чем казались ранее.

— Это она, да, мамочка? Девушка — это та самая утка, которую он подстрелил. Она умеет колдовать и превращаться в утку...

— Да, я думаю, ты права, — отвечаю я.

Но я прислушиваюсь к ней лишь наполовину. Эта сказка задела во мне что-то, чего я не могу объяснить или выразить. Я так живо представляю себе картинку: маленькая лодка, серое море, серое небо, черные волосы девушки и ее бледное, напряженное лицо; девушка дрожит от боли, а по ее руке струится яркая кровь.

Переворачиваю страницу.

— Мужчина знал, что эта девушка и есть утка, которую он подстрелил. Но он посмотрел на нее и ничего не сказал. В течение многих лет после этого случая он хранил молчание и поведал о случившемся только в день своей смерти...

Милли задумалась.

— Он сожалел, да? Он не должен был в нее стрелять. Поэтому он никому не рассказывал.

Я думаю о том миге, когда они взглянули друг на друга, те двое — девушка, обладающая запретной магией, и мужчина, ранивший ее в руку. Когда он смотрел на нее, поняла ли она, что он никому не скажет, что он сохранит ее тайну?

Они стали соучастниками, и это тронуло меня.

# **Часть III**

## **Октябрь 1940 — Сентябрь 1941**

## Глава 34

Набираю из бочки дождевой воды, она хорошо действует на волосы. Мою их и завиваю. Когда волосы высыхают, трясу кудряшками. Они пахнут свежестью и садом. Прибравшись после чая, надеваю свое лучшее платье, морского края. Оно сшито из шаньдунского шелка. У темной мерцающей ткани призматический блеск. Так сверкает масло на поверхности воды. Смотрюсь в зеркало своего туалетного столика. У него три створки, оно отражает само себя и множество сомнений внутри меня. Глаза блестят, вся покраснела и напугана, словно во мне сидит куча нетерпеливых, взволнованных женщин.

Приходит Бланш, чтобы пожелать мне спокойной ночи.

— Мама, ты великолепно выглядишь, — говорит она. — Ты уже много лет не надевала его.

В ее словах невысказанный вопрос.

— Мне просто захотелось надеть что-то лучше, — отвечаю я.

— Это платье очень красивое, — говорит Бланш. — В нем даже можно пойти на танцы.

И не скажешь, что ты чья-то мама.

Она задумчиво, возможно, немного завистливо, разглядывает меня. Потом отворачивается, пробегая пальцами по стоящей на пианино музыкальной шкатулке с нечетким изображением двух девушки в импрессионистском стиле.

— Можно? — спрашивает она.

— Конечно, можно.

Она крутит ручку. Музыка звучит, словно звенит множество крошечных колокольчиков. Звук серебристый и чистый, будто это стекло или лед. Бланш слегка раскачивается в такт. Она всегда танцует, когда слышит музыку, даже если это «К Элизе» из музыкальной шкатулки.

Мне становится неловко перед дочерью. Это она, а не я должна наряжаться.

— Бланш, а ты ведь больше ни разу не ходила на танцы вместе с Селестой.

— Ты имеешь в виду те вечеринки, которые были в Ле Брю?

— Да. Их больше не устраивают?

— О, нет. Я думаю, они все еще проводятся там, — говорит она.

— Я не стану возражать, если ты захочешь пойти. Правда. Если только ты будешь в безопасности. Если только тебя подвезут до дома.

— Да все нормально, мам.

— Но, мне показалось, тебе понравилось, когда ты ходила туда...

— Ну, одно время было весело, — говорит она. — Я люблю танцевать. Но потом я помолилась и решила, что это неправильно.

— Да, милая? Ты так решила?

Ее религиозное рвение порой заставляет меня содрогаться.

— Дело в том, что эти немецкие мальчики предлагают встречаться, — говорит она. — Но это было бы неправильно, да, мам? Стать девушкой немца.

Я удивлена. Не думала, что Бланш задумывается над этим.

— Ну, это с какой стороны посмотреть, — неопределенно говорю я.

— Я не хочу. И тебе бы тоже это не понравилось. — Ее взгляд сосредоточен на мне — голубой, как летнее небо. В нем сквозит такая ясность и чистота.

— Ну, конечно же, есть люди, которые этого не одобрят. Но если он хороший человек... — Я замолкаю.

— Но ведь в этом нельзя быть уверенной, так? — спрашивает она. — Я хочу сказать, ты же не можешь знать наверняка, хороший он или нет.

— А Селеста? — спрашивает она. — Она все еще встречается с Томасом?

Бланш утвердительно кивает.

— Он очень ей нравится, — говорит она. — Хотя, я думаю, что ей не следует с ним встречаться.

— А она знает, что ты так думаешь? Думаешь, что она поступает неправильно?

— Конечно, мама. Мы с Селестой говорим обо всем. У нас нет друг от друга секретов. Но она говорит, что я ошибаюсь, что он не такой, как все остальные.

— Что ж, может, она и права... может, он действительно не такой, как другие.

Музыка в шкатулке замолкает, когда заканчивается завод. Внутри слышны перестукивания и жужжание. Бланш закрывает шкатулку.

— И все равно, я не стану так поступать, — говорит она. — Я думаю... как вообще можно узнать кого-то по-настоящему? Как можно быть уверенным в том, что они из себя представляют?

— Но разве ты не можешь назвать человека хорошим? Даже если он воюет на другой стороне.

Она бросает на меня недоверчивый взгляд, словно я вообще ничего не понимаю.

\* \* \*

Когда девочки и Эвелин улеглись, сижу на кухне и жду его. Тени бархатными складками залегают на стенах моей комнаты, меня начинают одолевать сомнения. Все становится очень отчетливым: необузданное, иррациональное намерение — необдуманное, импульсивное, неправильное. Сидя здесь, облаченная тенью, я принимаю решение.

Скажу ему, что больше он не может сюда приходить, я передумала. Наши отношения не могут продолжаться по многим, многим причинам. Он поймет или, по крайней мере, не будет удивлен. Может, даже стоит снять свое платье из шаньдунского шелка и надеть что-то будничное. Может, мне даже стоит задуть свечи, которые я зажгла наверху в своей комнате.

Слышу стук в дверь. Сердце подпрыгивает в груди. Иду открывать.

Он не улыбается. Вижу, что он тоже очень нервничает, и это кажется мне трогательным. Понимаю, что не смогу попросить его уйти. Я уже выбрала свой путь.

— Вивьен...

Мне нравится, как он произносит мое имя: медленно, почти бережно.

Он заходит и стоит в коридоре прямо передо мной. От его близости идет волна желания, но более рассеянная, более эфемерная, чем я чувствовала прежде, когда он пробегал пальцем по моему лицу. Лишь ниточка. Шепоток.

Отворачиваюсь и веду его вверх по лестнице, стараясь не разбудить спящих. Показываю ему, где скрипит, тихо говорю, на какие места лестницы наступать не нужно. Сердце бьется быстро, как у воришки. Я вор в своем собственном доме.

Открываю дверь и завожу его внутрь. Закрываю дверь и поворачиваю ключ в замке. Звук красноречиво повисает между нами.

Он стоит в свете свечей и смотрит, смотрит на меня, будто и не собирается отводить взгляд. Я думала, что в такой момент мне будет неловко, даже стыдно, но меня одолевает абсолютная радость от того, что мы вместе.

У меня появляется ощущение бесконечной свободы. В этой комнате мы можем делать, что захотим. Здесь, куда не добралась война. Меня переполняет радость, когда он заключает меня в свои объятия. Я пробегаю пальцами по его лицу, чувствуя кости его черепа под коротко стриженными волосами и ощущаю, насколько ему приятно мое прикосновение. Он ласкает меня руками, полностью захватывая меня своими прикосновениями.

С Юджином, много лет назад, когда мы еще занимались любовью, я всегда была как будто где-то вне происходящего, наблюдала со стороны. Смотрела с потолка, на расстоянии. Меня это не касалось, я была где-то на удалении, разделенная надвое: часть меня принимала участие, а часть просто наблюдала.

Но здесь, сейчас, я присутствую при каждом прикосновении, каждой ласке. Я четко ощущаю твердость его тела, запах его кожи, его губы на моих губах. Мое тело сотрясается от его рук, словно я разваливаюсь на части. Он прикрывает мне рот рукой.

— Тсс, — произносит он, — Тише.

Потом я чувствую его внутри себя, и мое тело обнимает его. Я прячусь в нем, прячу его в себе.

После мы тихо лежим рядом. Открываю глаза и вижу, что моя комната осталась такой же, какой и была, и это меня удивляет. У меня такое чувство, как будто я унеслась на большое расстояние и оказалась в другой стране.

Его форма лежит на кресле. Ее вид раздражает, напоминая мне о том, о чем я думала до его прихода. Отвожу взгляд. Говорю себе, что это все часть другой жизни — его жизни, когда мы не вместе. Ничего не говорит о том, кто он такой на самом деле здесь, в моей комнате.

Он целует меня и говорит:

— Спасибо.

Ощущаю внезапный прилив счастья. Так странно, что он благодарит меня, когда сам дал мне так много.

Кладу голову ему на грудь, слушая тихое биение его сердца. Его же рука у меня на волосах. Мы молчим. И эта тишина такая сладостная. Не знала, что близость может подарить такое умиротворение.

А потом я слышу то, чего так боялась: звук шагов, поворот дверной ручки и стук в дверь

— Прячься под одеялом, — говорю я ему.

Надеваю халат и открываю дверь.

Я очень боюсь, что это Бланш. Она заглянет в мою комнату и сразу все поймет: почему на мне было мое лучшее платье, почему между нами состоялся тот разговор. Но это Милли в своей карамельной пижаме. Ступни в вязаных ночных носках кажутся огромными и неуклюжими. Ее глазки широко распахнуты, но я не знаю, что она видела. Она еще не проснулась толком, у нее сонное лицико.

— Мамочка, пчелы прилетели. Они повсюду.

У нее тоненький, пронзительный голосок. Она до сих пор еще проживает свой кошмар. В глазах Милли отражается блеск свечей — крошечное, безукоризненное отражение.

— Нет, милая. Это всего лишь сон.

— Они у меня в кровати, мамочка!

Я приседаю и обнимаю Милли. Ее сердечко бьется напротив моего, словно ее сердце — моё сердце. Вокруг ее глаз залегли тени.

— Там нет никаких пчел.

— Мамочка, пчелы у меня в волосах. Я слышу их... Я бежала, бежала, но не могла убежать, — говорит Милли тонким, словно прозрачным, голосом.

Глажу ее по волосам.

— Это всего лишь сон. Не стоит бояться.

— А ты не слышишь, как они жужжат? — спрашивает она.

Отвожу ее обратно в комнату. Меня охватывает чувство вины. Задумываюсь, не моя ли вина в том, что она тревожится. Слышала ли она что-то, видела ли? В ее комнате я внимательно прислушиваюсь, оглядываю каждый угол, чтобы доказать ей, что нет никаких пчел. А потом пою ей, чтобы она заснула. Не думаю, что она видела Гюнтера. Но ощущение покоя оставило меня, пошло трещинами и разлетелось на тысячу блестящих осколков.

Когда я возвращаюсь в спальню, он уже одет.

— Она в порядке? — спрашивает Гюнтер.

— Да, она спит. Не думаю, что она что-то видела.

Он обнимает меня.

— Вивьен, дорогая, я хотел бы увидеть тебя снова. Мы встретимся еще раз? Ты бы этого хотела?

Его вопрос наполняет меня радостью.

— Да. Хотела бы...

Но ночной кошмар Милли тревожит меня. Я ощущаю всю чудовищность того, что мы сделали, что мы собираемся сделать.

— Гюнтер, а сможем ли мы оставить это все в тайне? Сделать все так, чтобы никто не узнал? Мы должны сохранить свой секрет... от Эвелин, от девочек. От всех и всякого...

— Мы будем очень осторожны, — говорит он.

Провожаю его до двери. Смотрю, как он уходит... уходит в свою другую жизнь. По моему двору разливается серебряный свет луны. Такой яркий, что сад отбрасывает тени.

Возвращаюсь в свою комнату. Мое тело, моя кровать — все пахнет им. Я уже скучаю по нему.

# Глава 35

Мы разрабатываем правила. Я оставляю ему сигнал — пустой горшок на пороге дома, — чтобы он знал, что все в порядке, все спят. Если он приходит, то точно в десять. Если до четверти одиннадцатого его нет, я отправляюсь спать одна.

Я слишком долго жила в доме с одними женщинами. Испытываю потрясение от того, что в моей кровати спит мужчина. Я благодарна ему за тепло, за тяжесть его тела, тонкий запах его кожи. За то, что он другой. А еще я потрясена тем, какая я с ним. Я, которая всегда считала себя такой застенчивой, такой замкнутой, с этим мужчиной могу быть какой угодно — открытой, бесстыдной. Такое ощущение, что мое тело — не мое, когда я с ним, словно я меняюсь, когда он рядом.

Мы занимаемся любовью, а потом обязательно разговариваем. Моя голова лежит на его плече. В мягком свете свечей спальня кажется такой таинственной и обособленной, как пещера в лесу или лодка в непостоянном море. Слышно, как покряхтывает и потрескивает старый дом, отходящий ко сну, словно лодка поскрипывает, стоя на якоре.

Он берет две сигареты, одну прикуривает для себя, другую — для меня. Как правило, мы говорим о прошлом, в котором гораздо спокойнее, чем в настоящем.

— Каким ребенком ты была? — спрашивает он. — Расскажи мне о своем детстве.

Капитан выпускает изо рта табачный дым. Нас окружает покой. Мне нравится видеть его здесь, в своей постели, люблю смотреть на его тело: волосы на груди, позвонки, пропадающие сквозь бледную кожу, вены на запястьях, изящество жестов. И поразительная улыбка, внезапно озаряющая его лицо. Он кажется мне очень родным, словно стал частью меня, словно я всегда ждала только его.

Рассказываю ему об Ирис, о том, как мы росли в высоком доме в Клапхэме. О тетках, которые нас воспитывали.

— Мама умерла очень неожиданно, когда мне было три года, — рассказываю я. — От пневмонии.

Он обнимает меня, прижимая крепче. Ждет.

Воспоминание вдруг становится таким ярким. Почти чувствую прохладный, с примесью антисептика, запах комнаты, где находится больной. В груди появляется ноющая боль.

— Нас привели туда, чтобы попрощаться... меня и сестру.

Понимаю, что начинаю плакать. Как будто твердый панцирь, защищавший меня, в присутствии капитана смягчается. Я много лет не говорила о своем горе.

Он вытирает слезы с моего лица своим теплым пальцем.

— Ты была такой маленькой, — тихо говорит он. — И тебе пришлось столкнуться с подобным.

Все произошедшее здесь, в моей голове. С внезапной и тревожной точностью.

— Она выглядела странно. Не как моя мама... С тех пор я поняла, что порой, когда приходишь навестить больного, ты можешь сказать... Ты знаешь, что скоро он умрет. Ты точно видишь, что выглядит он по-другому.

— Да, я понимаю, о чем ты.

— Мне кажется, это я увидела в своей маме. Хоть и не понимала.

Он гладит меня по волосам. Прикосновение, ритм успокаивают меня.

— Тебе было очень трудно, — говорит он. — И для твоей матери тоже, поскольку вы

были такими маленькими... Я с самого начала почувствовал, что в твоей душе есть какая-то рана. Что-то спрятано там и ждет, когда это вытащат наружу. Я понял это в тот первый раз, когда увидел тебя в переулке.

— Вот как? Ты правда это понял уже тогда? Расскажи мне...

Впоследствии я даже была рада, что рассказала ему о своей маме. Я не понимаю, почему это было для меня столь утешительно. Словно рассказав ему, я от чего-то освободилась.

\* \* \*

По ночам наша близость кажется мне абсолютно естественной, как будто так и задумано, как будто такой и должна быть моя жизнь. Но иногда я вижу его днем: в реквизированном «Бентли» или с другими солдатами. Он смеется с Гансом Шмидтом или Максом Рихтером. Смеется громко, как смеются мужчины, находясь вместе с другими мужчинами. И осознание того, что я делаю, обрушивается на меня.

И я думаю: «Какой он с другими людьми, с теми вражескими солдатами, которые делают все возможное, чтобы держать наш остров под контролем? Насколько хорошо я его знаю? Что значит, узнать кого-то?» И когда эта мысль приходит ко мне, в голове слышится голос Бланш: «Как вообще можно узнать кого-то по-настоящему? Как можно быть уверенным в том, что они из себя представляют?»

Однажды я прошу его рассказать про свою жизнь.

— Я так мало о тебе знаю, — говорю я.

— Что тебе рассказать? — спрашивает он.

Моя голова забита вопросами, и я не знаю, какой задать первым. Выбираю самый безопасный.

— Расскажи про Германию. Я никогда там не была.

Я лежу, повернувшись к нему, глядя на него. На туалетном столике позади него стоит пузырек с духами, на котором в свете свечей пляшет стрекоза. Она будто горит. Профиль капитана на стене такой безликий, черный по сравнению с огненными крыльями.

— Кое-где в Германии очень красиво, — произносит он.

— Расскажи мне о ее красотах, — прошу я.

— Бавария очень красива, — говорит он. — Там живет дядя моей жены. Мы собирались поехать туда летом, до войны, до того, как все началось. Такого воздуха, как в лесах Баварии, больше нет нигде. Такой тишины, как там, больше нет нигде.

Пытаюсь их представить. Величественные леса, аромат можжевельника и сосны. Я невежественна, словно ребенок, и так мало знаю об окружающем мире.

— А вот Берлин давит, — говорит он. — Все эти большие здания, люди, живущие друг на друге. Мне не нравится находиться там долго. Люблю ехать куда глаза глядят. Чтобы ни о чем не думать...

Вспоминаю стихотворение, что выбрала для него:

Хочу бродить все дни,

Где всё цветёт.

Может, это был не такой уж и неправильный выбор, как я думала.

— Мне нравится рисовать в Баварии, — говорит он мне. — Поставить мольберт на

склоне горы. Целый день тишины наедине с моим угольным карандашом и красками... Это те моменты, когда не нужно бороться, не нужно куда-то стремиться. Ты именно там, где должен, и все течет, как вода, выходя из-под твоей руки.

Мне кажется, что у каждого есть мечта, поддерживающая его. Мысль: «Вот закончится война...» Для Гюнтера мечта там, на фоне тех лесов и тишины. Именно там он оставил частичку себя. На склоне горы в Баварии, там, где его мольберт, кисти и маленькие тюбики с красками. Аромат можжевельника и тишина.

Говорю ему об этом.

— Вот, где бы ты был, если бы мог выбирать.

Некоторое время он молчит.

— Нет, Вивьен, — наконец произносит он. Потом поворачивается ко мне лицом. В нем чувствуется напряженность. — Видишь ли... может быть, ты действительно, как и говорила, слишком плохо меня знаешь. Из всех мест, что я мог бы выбирать, я хотел бы быть здесь, в этой постели.

# Глава 36

На коврике у двери лежит конверт. На нем ни имени, ни адреса. Гадаю, кто же оставил его здесь и почему этот кто-то не остался поговорить?

Открываю конверт. Внутри лист бумаги, сложенный пополам. Разворачиваю. Комната вокруг меня начинает вращаться.

Послание составлено из букв, вырезанных из «Гернси-пресс» и наклеенных на бумажный лист. Буквы, словно пьяные, с кривыми углами, как будто их наклеивали в спешке, как попало. Но послание совершенно четкое: «Вив де ла Маре — подстилка для джерри!!!»

Быстро кладу письмо на столик в коридоре, как будто прикосновение к нему может ранить, как будто может опалить меня. Но я понимаю, что не могу оставить конверт здесь. Уношу его в гостиную, сминаю и бросаю в огонь. Бумага разворачивается, занимается пламенем, по ней пробегает красная линия. Я смотрю, как конверт вспыхивает, чернеет и рассыпается в пепел. Даже подумать не могу — и не хочу — о том, кто мне его отправил.

В комнату позади меня заходит Эвелин, под ней скрипит пол. Она осторожно садится в свое любимое кресло и берет из корзинки вязание.

— Что-то горит, — говорит она. — Что это здесь горит? Я чувствую. Что-то горит в камине.

— Ничего, Эвелин, — отвечаю я. — Не беспокойся.

— Кто это сжигает письмо? — спрашивает Эвелин.

Она может увидеть сожженную бумагу в камине. Я разбиваю пепельные фрагменты. Даже сейчас, когда письмо полностью сожжено, оно все еще стоит у меня перед глазами. Перекошенные газетные буквы, уродливые слова.

— Это не письмо, — отвечаю я. — Ничего такого. Просто старый рисунок Милли.

Я задаюсь вопросом, откуда Эвелин знает, что это было письмо. Она видела его на коврике у двери? Она видела из своего окна, которое выходит на переулок, кто принес его? Но я не могу спросить об этом, не в силах узнать, кто оставил его там, потому что я уже сказала ей, что это не письмо.

Эвелин принимается за вязание. Ее пальцы двигаются резво, спицы звучат яростно, как упрек.

Некоторое время она молчит. Я же задумываюсь над тем, что случится со мной? Многие ли знают и кому они уже рассказали? Представляю, как люди будут меня осуждать, если узнают про мою любовную связь. Я представлю холодный взгляд Эвелин, Гвен и моих детей, они отвернутся от меня. Становится трудно дышать. Боюсь, что Эвелин увидит на моем лице чувство вины и страх.

Она внезапно перестает вязать, держа спицы острием вниз. Ее руки словно ослабли, петли начинают соскальзывать. Подхожу к ней, опасаясь, что ее вязание распустится и расстроит ее.

— Где Юджин? — спрашивает она. — Куда он делся?

— Эвелин, Юджина здесь нет. И тебе это известно.

— О.

Я сжимаю ее руки вокруг спиц. Ее кожа холодная и тонкая, как бумага... почти не похожа на плоть. Эвелин снова начинает вязать.

— Где Юджин? — спустя какое-то время снова спрашивает она. — Хочу поцеловать его на ночь. Кто-то же должен.

Она одаривает меня весьма суровым взглядом.

— Эвелин, Юджин на войне. Он очень храбрый, — говорю я.

— Письмо было от него? Ты сожгла его письмо?

— Нет, конечно же, нет. С чего бы мне это делать?

— Он нам не пишет, — говорит она.

— Нет, он не может. Ты же знаешь. Я уверена, он хотел бы написать, но просто не может. Письма не дойдут. Пока здесь немцы. Идет война, Эвелин, помнишь?

— Война. Все говорят, идет война. Они постоянно говорят, что идет война, — отвечает Эвелин. — Но что-то я не вижу здесь боевых действий. На самом деле, скорее наоборот.

Запах бумаги совсем слабый, в воздухе от него почти не осталось и следа... но кажется, что он останется здесь еще надолго.

## Глава 37

Однажды, лежа в кровати, я прикасаюсь к шраму на его лице. Кожа под моим пальцем мягкая, как у ребенка.

— И как это случилось? — спрашиваю его.

Некоторое время он молчит. Словно в его голове роится куча слов, но он не знает, с чего начать. У него серые, словно дым из осенних садов, глаза.

— Это отчим, — говорит он.

Я ошарашена. Такого я не ожидала. Думала, что шрам — это результат ранения.

— Твой отчим?

— Он меня ударил, и я упал на печь.

— Ты не рассказывал мне про своего отчима.

Наши знания неравны: он знает о моем детстве гораздо больше, чем я о его.

— Родной отец умер, когда мне было шесть, и мать снова вышла замуж. Отчим был очень сложным человеком. Он был пастором. Все им восхищались, но дома он был очень жестоким, — сказал Гюнтер.

Пытаюсь представить себе его отчима — холодного, сурового и праведного.

— Как ужасно.

Мой голос звучит жалко, тоненько, как будто мои слова невесомы.

— Ты учишься держать язык за зубами, — говорит он мне. — Учишься держаться в стороне... делать то, что тебе сказано...

— Да, конечно, — мягко говорю я, не желая вторгаться в его мысли, желая, чтобы он продолжал говорить.

— Я много думал над этим, — продолжает он. — Когда ты маленький, ты рассуждаешь так: «Мой отчим прав, ведь так? Может быть, я плохой ребенок». Если он так говорит, значит, наверное, это правда. Особенно, когда этот человек столь могуществен, и ты от него зависишь. Ты должен верить, что он прав.

Он глубоко затягивается. Моя голова лежит на его груди. Слышу, как его сердце, словно от бега, бьется быстрее, когда он рассказывает свою историю. Его мысли тягучи и полны раздумий.

— Но потом, когда я подрос, я уже так не думал. Я пришел к пониманию, что мой отчим был жестоким человеком.

— По твоим словам, очень жестоким, — отвечаю я.

Он, ёрзая, немного отодвигается от меня, как будто моя близость отвлекает его от того, что он хочет рассказать. Я лежу на своей половине и наблюдаю за ним.

— Однажды вечером он ударил моего брата. До этого раза он всегда бил только меня. За что-то незначительное, воду на полу разлил. Отчим обвинил в этом брата и избил его. Я должен был защитить того, дать отпор отчиму. Тогда я уже был достаточно большим, мне было одиннадцать. Для своего возраста я был крупным, смог бы с ним побороться. Но я этого не сделал.

Я слышу, как срывается его голос. Чувствую, что этот позор живет в нем до сих пор.

— Он начал бить моего брата, а я ничего не сделал. Помню, как спрятался под лестницей. Слушал удары. Я закрыл руками уши, но все же до меня доносились звуки ударов, а они очень громкие в молчаливом доме.

Гюнтер говорит монотонным, размеренным голосом, но я чувствую то страдание, что кроется за словами.

— Как видишь, Вивьен, не такой уж я хороший человек.

Я качаю головой.

— Это было очень давно, — говорю я. — А ты был всего лишь ребенком. Одиннадцать — это очень мало. Как ты мог остановить его?

— Я знаю, о чем я тогда думал, — отвечает он тихим голосом. Когда Гюнтер поворачивается лицом ко мне, мне кажется, я могу кожей ощущать его слова. Но я могу только слушать. — Теперь я точно помню. Пока он бьет брата, он не тронет меня... Вот о чем я думал.

— Ты был всего лишь ребенком. Разве у тебя был выбор? — снова говорю я.

## Глава 38

Декабрь. В нашем камине горит добрый огонь. Мы сидим на ковре у очага и в его отблеске читаем очередную сказку. Рядом с нами спит Альфонс, его свернутое колечком тельце поднимается и опускается в такт дыханию. В гостиной стоит уютный запах шерсти, идущий от одежды, которая сушится на каминной решетке. Снаружи дождь бьется в окно, с моря дует сильный ветер.

Читаю про призрачную похоронную процессию, плывущую по переулку. Читаю про старую дорогу, бегущую между Сент-Сейвье и Сент-Пьер-дю-Буа, на которой путешественники повстречали сверхъестественное создание. Эту книгу дала нам Энжи.

Милли вздыхает с удовольствием.

— Люблю сказки про привидения, мамочка. А вот Бланш от них становится страшно, — самодовольно улыбается она.

Бланш на мгновение поджимает губы.

— Милли, ты несешь ерунду, — говорит она.

Бланш отпарывает подгиб на подоле одной из своих юбок. За последнее время она очень выросла. Ее тело стало как у газели, такое же угловатое, — одновременно неуклюжее и изящное. В руке у Бланш иголка. В свете огня она угрожающе блестит.

— Прочитай еще одну, — говорит Милли.

Читаю про пляж Портеле, где в наступивших сумерках вы можете встретить сгорбившуюся женщину, завернутую в шаль. Она говорит, что все ищет и ищет своего потерявшегося сына.

— А это было на самом деле? — спрашивает Милли.

— Нет, милая. Это просто сказка...

В комнате стоит тишина, лишь потрескивает огонь в камине, да бьется в окно дождь. От бревна вздымается сноп искр.

Милли хмурится.

— Зачем люди придумывают сказки про призраков, если призраков не существует?

Задумываюсь, как же ей ответить. Есть вполне очевидное объяснение: потому что люди, которые впервые рассказали подобную сказку, верили, что призраки существуют. Но тогда Милли ответит, что, возможно, они были правы. А я не хочу обманывать ее или пугать.

— Я думаю, они придумывают их, потому что боятся темноты, — говорю ей я.

— А я не боюсь темноты, — отвечает Милли.

— Ты нет, а многие люди боятся. Когда я была маленькой, я очень боялась темноты.

Вспоминаю, как Ирис закрыла меня в сарае для угля. Я выпучивала глаза, но ничего не видела в темноте. Даже сейчас при мысли об этом я содрогаюсь.

— А я не боюсь, мамочка, — говорит Милли. — Мне всего лишь пять, но я не боюсь темноты.

Поправляю одежду возле очага, чтобы тепло добралось до всех частей. Кот зевает, укладывается в другую позу и погружается в глубокий сон.

Возвращаюсь к книге, переворачиваю страницу.

Читаю историю о том, что у некоторых людей, живущих на острове, в венах бежит кровь фей. Фей, которые вторглись на остров. Они покинули родной дом и переплыли море на лодках, которые были искусно сделаны при помощи заклинаний, вплетенных в паруса.

Пока феи подплывали все ближе и ближе к земле, их лодки становились все меньше и меньше. Наконец, они стали такими крошечными, как галька или косточка птицы. Феи были красивыми созданиями (и мужчины, и женщины), они выглядели как люди, но куда милее. Порой феи влюблялись в островитян. Они женились и строили дома.

Но как бы счастливы они ни были на Гернси, они очень хотели вернуться на родину. Это был зов крови, который невозможно преодолеть. Рано или поздно они должны были оставить тех, кого любят, и уплыть с острова.

— Это конец сказки? — спрашивает Милли.

— Да, это конец.

Она хмурится. Мягко потрескивает огонь. Крошечные языки пламени, красные как мак, пляшут в глубине глаз Милли.

— Мне не нравится конец. Он грустный. Это несчастливый конец, — говорит она.

Какое-то мгновение я думаю, что она права, это грустно. Как можно жить, не зная, когда же тот, кого ты любишь, покинет тебя. А потом я думаю, что так оно всегда и бывает.

## Глава 39

Однажды я спрашиваю его про жену. Я ощущаю, как меня охватывает жгучее, лихорадочное любопытство.

— Какая она? — смело задаю я вопрос.

— Илзе? — Он колеблется. — Как можно коротко рассказать о человеке? Она хорошая хозяйка. У нее все под контролем.

Должно быть, Илзе очень сильная женщина. Я чувствую это.

— Она подарила мне безопасность. На некоторое время, — говорит он.

— Да, — отвечаю я, понимая, насколько это было важно для него — иметь надежное место, куда можно отступить. Мы оба разделяем эту потребность.

— И она хорошая мать для Германа. Но его рождение трудно далось ей, было много осложнений. Она решила, что больше не станет рожать. Эта часть нашей жизни закончилась. Давно закончилась.

Когда он говорит это, меня охватывает быстрое запретное счастье, потому что это снимает с меня часть вины. А потом я снова ощущаю вину за свои чувства.

— Покажи мне, — прошу я. — У тебя должна быть карточка. Покажи.

Он отходит, достает из кармана кителя фотографию и приносит ее мне. Они снялись втроем.

Меня нервирует этот образ его другой жизни, о которой я ничего не знаю. Его настоящей жизни. Жизни, в которой есть семья, страна, долг, обязательства. Я заглядываю в историю, которая не имеет ко мне никакого отношения.

Первое, что я замечаю, — то, насколько моложе он выглядит на карточке, как сильно его отметили годы, прошедшие с тех пор, как она была сделана.

— На фото ты кажешься намного моложе, — говорю я.

Он печально улыбается:

— Ты хочешь сказать, что сейчас я выгляжу намного старше?

— Полагаю, да... — Я протягиваю руку и провожу по его лицу, по твердым костям под кожей. — Но мне нравится, как ты выглядишь сейчас.

Потом я отворачиваюсь от него и пристально вглядываюсь в других людей на фотографии.

Илзе маленькая, у нее высокие скулы и рассеянный взгляд. Бледные волосы, наверное, светлые или седые, заплетены в косу и уложены вокруг головы. Серьезное выражение лица. Я представляю, как она лежит ночью без сна, беспокоится, пытается сплести вместе разрозненные нити своей семейной жизни, просчитывая и стараясь все наладить. На карточке их сыну около двенадцати. Он очень светленький и покрыт веснушками. У него такое же выражение лица, как у его матери: желание получить одобрение. На нем что-то вроде формы.

Пока я рассматриваю фотографию, Гюнтер следит за мной, стараясь прочитать мои мысли.

— Нам бы очень хотелось завести второго ребенка, — говорит он мне. При этих словах в его голосе проскальзывает тоска, и я понимаю, что это было источником огорчения для них обоих. — Но жизнь не всегда дает нам то, что хочется, — продолжает он. Потом смотрит на меня. — Ну, по большей части.

Я снова гляжу на фото, чувствуя жар от его взгляда.

— Он выглядит слишком юным, чтобы носить форму, — замечаю я.

— У нас существует молодежное движение — «Гитлерюгенд», — поясняет он. — Герман очень хотел к ним присоединиться. Он действительно стал активным членом. Мне это не очень нравилось. — Его лицо становится непроницаемым. — Моей жене нравилось, но мне нет. Они перегибают палку.

— Тогда почему ты позволил ему вступить туда? — спрашиваю я.

— Приходится быть осторожным, нельзя выделяться, — отвечает он. — И еще, до того как Герман вступил в «Гитлерюгенд», он был непослушным мальчиком. Водил плохую компанию. Это движение дало ему целеустремленность. Жена говорит, что это хорошо, что жизнь без цели не имеет смысла... Сейчас мой сын уже в партии.

Я леденею от шока: сын моего возлюбленного — нацист.

— Значит, ты не смог его остановить? Ты считаешь, что они перегибают палку, но не смог его остановить?

Он качает головой.

— Это было бы глупо, — осторожно говорит он.

Я думаю о том, что мы слышали: о подожженных синагогах, о том, как у евреев отнимают бизнес, о разбитых окнах, оскорблении, уличных избиениях. Я молчу.

Но он слышит мой невысказанный вопрос.

— Ты должна понять, Вивьен. Мы не могли продолжать жить, как раньше. Германия стояла на коленях. Депрессия ужасно отразилась на нас. Наш мир состоял из чувства голода и инструкций по технике безопасности. У нас не было ничего. — Он пристально вглядывается в тени, притаившиеся в углах комнаты, словно перед его глазами снова разворачиваются прошедшие годы. — Привычки, приобретенные в то время, живы до сих пор. У Илзе на дверце буфета висит мешочек для разломанных печений и крошек: ничего нельзя выбрасывать почем зря. Что-то должно было измениться, — продолжает он. — Сначала мы приветствовали Гитлера. Его появление казалось нам проблеском надежды. До Гитлера нам было нечего есть, а когда он пришел, у нас появилась еда... Но многое из того, что они делают, я считаю неправильным... — признается он.

— То есть, если бы ты мог выбирать, то не стал бы сражаться на этой войне?

Я жалею, что выразилась именно так. Получается, что я говорю за него.

— А кто из нас выбрал бы войну? Кто захотел бы, чтобы наши жизни оказались разорваны на куски? — Он сердится на то, что мне вообще пришло в голову спросить такое. — Но я никогда не сказал бы этого нигде, кроме как здесь. Всегда нужно думать о безопасности своей семьи.

Я вспоминаю, что говорила ему раньше, когда он рассказал мне о том, как его был отчим, о том, что он должен был дать ему отпор: «Разве у тебя был выбор?» Думаю: «Разве у кого-нибудь из нас есть выбор?» Но я не знаю ответа на этот вопрос.

Он убирает фотографию в карман и возвращается ко мне в кровать. Я слышу, как снаружи завывает ветер, словно вышедший на охоту хищный зверь, как он стремится отыскать лазейку в мой дом через малейшую трещину или щель.

# Глава 40

Февраль. Приходит Джонни и приносит мне подарок, завернутый в коричневую бумагу. Он кладет его на стол в кухне и начинает разворачивать слой за слоем. Внутри обнаруживается пергаментная бумага, на которой блестят потеки крови.

— Вот, тетушка. Вам подарок.

Целый убитый кролик. Гвен освежевала его для меня, так что видно бледное красное мясо, но он все еще похож на кролика. Однажды, не так давно, вид мертвых животных вызывал у меня печаль. Сейчас я просто думаю о том, как стану его готовить, добавив несколько веточек тимьяна и розмарина, каким густым получится соус, каким вкусным он будет.

— Твоя мама ангел, — говорю я. — Но вы точно уверены, что можете поделиться им?

— Не волнуйтесь, тетя Вив. Эти кролики плодятся, как... ну, вы знаете.

Я завариваю ему чашку кофе из пастернака. Я научилась его делать: раскладывать кусочки пастернака на решетке, поджаривать их нужное время, пока они не станут ярко-коричневыми, как древесная стружка, а затем измельчать. Это лучше, чем ничего, но у такого кофе горелый привкус.

— Ты не обязан его пить, если тебе не нравится, — говорю я Джонни.

Но он быстро выпивает.

Моя комната залита ясным белым светом ранней весны, тем светом, который выдает грязь в тех местах, где не убирали уже некоторое время, паутину и комочки пыли, что пропустили тусклыми зимними днями. Этот свет омывает Джонни, освещая его живость, беспокойные руки, острый взгляд ореховых глаз. Я смотрю, как он пьет кофе, и думаю о том, как же люблю его.

— Так чем ты занимаешься, Джонни? Все еще рисуешь знаки «V»? — спрашиваю я.

Он не торопится отвечать. В этой тишине, что повисла между нами, я чувствую: что-то меняется.

Его кадык дергается, когда он сглатывает.

— Я хотел сказать вам, тетя Вив. Мы затеяли новое дело, я и Пирс Фалья.

Но он кажется очень бодрым и не желает встречаться со мной глазами.

— Он, Пирс, собирался прийти сюда, — говорит Джонни.

Он слегка запинается. Я не понимаю, что он имеет в виду. Понятия не имею, с чего бы Пирсу захотелось прийти в Ле Коломбье.

— Я сказал ему не приходить.

В кухню крадучись входит Альфонс, привлеченный запахом сырого мяса. Он ходит вокруг стола и громко мяукает, а затем подбирается, готовясь запрыгнуть на стол. Я хватаю его, отношу в коридор и захлопываю дверь. Он скребется и подвывает: этот наполовину человеческий звук нервирует, словно его издает какое-то жуткое существо.

— Видите ли, тетя Вив, дело в том...

Джонни не смотрит на меня. Он протягивает ладонь в беспомощном жесте и опрокидывает свою чашку с кофе. Остававшаяся на дне темная мутная жидкость выплескивается на стол. Джонни ставит чашку обратно, но не замечает разлитого.

Я знаю, что нужно взять влажную тряпку, но у меня вдруг начинают трястись ноги, и я не уверена, что они меня удержат.

— Дело в том... — Его взгляд скользит мне за спину. — Дело в том... что на Гернси есть женщины, которые делают то, чего делать не следует. Они слишком дружелюбны. Поступают не так, как должны. Вы знаете, о чём я.

Он краснеет, лицо и шея, румянец яркий, как клубника.

У меня начинает колотиться сердце, и я думаю, может ли он видеть, как сильно оно бьется под моей блузкой.

— Уверена, что такие есть. — Я говорю небрежно и легко, как будто для меня это не имеет значения. — Мужчины и женщины... ты знаешь, как это бывает.

И тотчас жалею о сказанном. Я слышу, как за дверью вопит и скребется кот.

**Больше книг на сайте — [Knigolub.net](http://Knigolub.net)**

— У нас есть несколько наводок. Мы знаем их имена и где они живут. Мы не позволим им уйти от наказания, тетя Вив, — говорит он. — Мы нарисуем свастику на их домах. Чтобы показать им, что мы знаем. Чтобы показать, что им должно быть стыдно.

— Джонни. Какая от этого польза? Вы только попадете в беду.

— Человек делает то, что должен, — отвечает он.

Именно это он говорил мне раньше. Но сейчас в его голосе нет той ясной уверенности, к которой я привыкла.

— Ты рассказывал об этом маме с папой? — спрашиваю я.

— Не совсем.

Я думаю: «Тогда зачем ты рассказываешь это мне, Джонни?» Невысказанный вопрос висит в воздухе между нами. Слова кажутся такими плотными, осязаемыми, будто можно протянуть палец и дотронуться до них.

Джонни изучает стол, словно там, в структуре дерева, зашифрован секретный код.

— Пирс говорит... он говорит, что про вас ходят слухи, тетя Вив. — Его голос такой тихий, что я едва слышу. — Про вас и одного из немцев из Ле Винерс. Пирс хотел нарисовать свастику здесь, на стене Ле Коломбье. Но я сказал, что это, конечно же, не так. Я сказал, что он наверняка ошибается.

Но я слышу вопрос в его голосе.

Сердце подскакивает к горлу.

— Джонни, ты не должен слушать сплетни.

— Тетя, он говорит, что вас видели в машине с одним из них.

Чувствую волну облегчения: это все, что ему известно.

— Ах это, — говорю я. — Что ж, это правда. Он подвез меня до дома. Шел дождь. Я проколола колесо.

Он поднимает на меня глаза. У него бледный, несчастный вид.

— Шел дождь, а мне надо было вернуться к Милли. — Слышу умоляющие нотки в собственном голосе. — Ее бабушка теперь не может за ней приглядывать. Она не совсем в себе... Я не люблю оставлять их одних надолго.

Он все еще смотрит на меня так печально, как будто я его разочаровала. Ненавижу это чувство: мне хочется быть хорошей в его глазах, я не хочу потерять его уважение. Он ничего не говорит.

— Какой толк идти весь путь домой под дождем? — Я слишком усердно возражаю, но не могу остановиться. — Не понимаю, чем это кому-то помогло бы.

Он едва заметно качает головой.

— Вам правда не следовало так поступать, тетя Вив. Это было неразумно. Люди могут

сделать ошибочные выводы.

Разговор движется в безопасном направлении.

— Ты прав, это действительно было неразумно, — говорю я. — Но дождь был такой сильный...

Он слегка вздыхает, как будто решив принять то, что я сказала.

— Я говорил ему. Говорил, что вам и в голову не придет поступать неподобающее. Я сказал: «Пойми, речь идет о моей тете Вив».

Минуту мы сидим в тишине. Запах крови и сырого мяса вызывает дурноту. К горлу поступает тошнота, и я пытаюсь ее сглотнуть.

— Кто же распространяет сплетни? — спрашивает Джонни. — О том, что это было что-то большее?

— Я не знаю, Джонни.

— Кто-то на вас наговаривает? Кто-то хочет отомстить вам за то, что вы, по его мнению, сделали? Кто-то, кто затаил злость на вас?

— Я не знаю.

Он продолжает ждать. Ждать спасательного круга, чего-то, что поможет ему выплыть на берег. Я должна предложить ему нечто большее.

— Но, конечно же, такое возможно, — говорю я. — Может быть, кто-то и затаил. Ты же знаешь жителей острова. Здешние люди вечно дуются.

— Значит, скорее всего, так и есть, — убеждает он сам себя, — кто-то на вас обиделся, тетя Вив.

— Думаю, да.

— Я говорил Пирсу, что вы не такая, — продолжает он. — Что вы никогда не сделаете подобного. Я сказал: «Это же моя тетя Вив...»

Когда Джонни уходит, я скребу и скребу кухонный стол, но не могу избавиться от кофейного пятна, что он пролил.

# Глава 41

Так продолжается долгое время. Теперь это моя жизнь. Я привыкла к секретности, к скрытности, к жизни, которую делю с Гюнтером, когда мы закрываем дверь, оставляя за ней войну, весь мир, и лежим в моей кровати, освещенные мягкими дрожащими отблесками свечей.

Иногда я думаю о сказке, которую читала Милли перед самой оккупацией: про танцующих принцесс, которые по ночам сбегали через потайной ход и спускались по винтовым лестницам, а потом шли через золотую рощу в тайный, скрытый мир. Такая жизнь становится для меня почти нормальной.

Теперь он остается у меня большую часть ночи и покидает мою кровать очень рано, когда в комнату проникают первые белые пальцы утра. Я ощущаю такое умиротворение, засыпая в его объятиях. Иногда я ловлю себя на мысли, что именно таким и должен быть брак.

Но чаще я боюсь — боюсь, что появится еще одна записка или кто-нибудь из усердных друзей Джонни нарисует свастику на стене моего дома. Меня беспокоит, что кто-нибудь, кто меня подозревает, нашепчет Эвелин или Бланш, расскажет им про нас с Гюнтером.

И когда я об этом думаю, то понимаю, как все хрупко, как вся моя жизнь может оказаться разбитой вдребезги. Иногда, когда я слышу, как звякает почтовый ящик, мне приходится сжимать губы, чтобы удержаться от вскрика. Но анонимных писем больше нет.

Однажды, направляясь к Энжи, я прохожу большой старый дуб, нависающий над дорогой. На сморщенной коре его ствола какая-то влюбленная парочка вырезала свои инициалы — переплетенные буквы В.С. и Ф.Л.

Всего на миг я испытываю такую острую зависть к парам, которые живут вместе каждый день, гуляют по улицам, держась за руки, и оставляют нестираемые свидетельства своей близости; которые так легко и просто могут выражать свою любовь. Не таясь и не прячась.

Все это время война кажется мне какой-то далекой. Конечно, существует нехватка продуктов, ограничения, комендантский час; но здесь, в моей скрытой долине, рядом со своей семьей и возлюбленным, я не слишком осознаю мощь немцев, власть, которой они обладают над нашими жизнями.

Гвен на своей ферме Вязов до сих пор слышит, как по ночам немецкие солдаты маршируют и поют свои военные песни. Наш остров принадлежит им, им принадлежит даже темнота. Но здесь, в тишине этих заросших улиц, их не слышно. Я сосредотачиваюсь на повседневных вещах. Говорю себе, что именно это важно — заботиться о моих детях и об Эвелин, каким-то образом все пережить.

Больше всего меня беспокоит Эвелин. Кажется, она теряет вес, как бы я ни упрашивала ее поесть. Часто ее глаза затуманиваются, как будто все вокруг для нее неясно, как будто ее жизнь напоминает обратную сторону гобелена и она видит не узор, а лишь узелки и растрепавшиеся нити.

Однажды днем она вяжет в гостиной и, когда я вхожу, поднимает взгляд.

— Вы кто, дорогая? — любезно спрашивает она. — Кто? Не думаю, что мы встречались. Я знаю, это оттого, что ее разум отключается, но все равно пугаюсь.

— Эвелин, я Вивьен, помнишь?

Но она не помнит.

— Вивьен, — задумчиво произносит она. — Какое милое имя.

Когда она не узнает меня, она гораздо любезнее. Эта мысль меня огорчает.

Я подхожу ближе и хочу дотронуться до ее рукава, подумав, что мое прикосновение поможет ей вспомнить о том, что я ее невестка, и вернет ее к реальности. Она пристально смотрит на мою ладонь на своей руке, удивленно и немного неодобрительно, как будто я слишком фамильярна. Я отдергиваю руку.

— Вы должны позволить мне напоить вас чаем, дорогая, ведь вы проделали долгий путь, — говорит она. — Вы так добры, что пришли меня навестить. Думаю, в шкафу еще остался гаш.

— Эвелин, я здесь живу. Я жена Юджина, — говорю я.

Она потрясенно смотрит на меня, а затем поднимает свои тонкие брови.

— Нет, дорогая, не думаю, что это так. — Ее голос холодный и ясный, и сильный, словно уверенность придала ей энергии. — Вы ошибаетесь. Видите ли, Юджин никогда не был женат. У него очень высокие требования.

Мне нечего на это ответить. Оставляю ее сидеть в гостиной.

Через пять минут она зовет меня.

— Вивьен, я уронила очки и, кажется, не вижу, куда они подевались. Будь умницей, найди их.

Будто ничего не произошло.

Из-за своей слабости Эвелин перестала посещать церковь. У нее нет сил ходить туда, а служба слишком утомляет ее. Я договорилась с пастором, чтобы он приходил и причащал ее в Ле Коломбьер, и решила, что буду сидеть с ней дома. Но Бланш продолжает ходить на утренние службы и иногда берет с собой Милли.

— Мам, почему ты больше не ходишь в церковь? — спрашивает Бланш.

— Мне не хочется оставлять твою бабушку.

Она смотрит на меня голубыми, как летнее небо, глазами.

— Но не только поэтому, да? — говорит она.

Я задумываюсь. Возможно, она права. Возможно, Эвелин — просто предлог.

— Честно говоря, я уже не знаю, насколько сильна моя вера, — отвечаю я. — Эта война, и все лишения.

— Но ты все равно могла бы ходить, мам. Быть верующей не обязательно.

— Не знаю...

Интересно, связано ли мое нежелание с Гюнтером: ведь он настолько дорог мне, но все в церкви посчитали бы мою любовь неправильной во многих отношениях.

— И вообще, война и лишения имеют свою цель. Так говорит пастор. Все это — часть божьего замысла и должно иметь цель, — продолжает Бланш, как будто для нее все просто и понятно.

— Я не уверена, милая.

Я рада, что в ней есть эта уверенность, даже завидую тому, что она может видеть какую-то предопределенность во всем, что творится в мире, в этой ужасной анархии. Но я не разделяю ее чувств.

Протираю картины и фотографии. Провожу по ним влажной тряпкой, потом начищаю их смятой газетой, после этого они всегда сверкают. Вытираю висящую в кухне репродукцию Маргарет Таррант: младенец Иисус в окружении ангелов с большими,

мягкими, словно вырезанными крыльями. В гостиной беру в руки фотографию Юджина.

Я давненько ее не протирала: стекло покрыто голубоватым слоем пыли. Пристально смотрю на фотографию, провожу по ней пальцем, как будто ощущение стекла под моей кожей каким-то образом сделает его реальным. Образ Юджина в моей памяти теряет четкость: иногда мне приходится смотреть на фото, чтобы вспомнить его лицо.

Разглядываю фотографию, стараясь заново его запомнить. Гоню прочь мысли, стараясь не думать о том, что он стал таким далеким, стал человеком, с которым у меня мало общего.

О том, что делить постель с Юджином кажется предательством по отношению к Гюнтеру. Что мой настоящий муж — Гюнтер. Он тот, с кем мне суждено быть, а мой брак — нечто далекое и нереальное.

— Дорогой мой мальчик, — произносит Эвелин, глядя на фотографию.

— Это очень хорошее фото, — говорю я.

Я тщательно протираю ее, убирая с рамки все до единой частички пыли, как будто это сделает его образ четче.

## Глава 42

Дни стали длиннее. По моему саду гуляет свежий весенний ветерок, обрывая лепестки, так что землю под деревьями замело белым. Я ухаживаю за огородом.

Окучиваю картошку. Втыкаю подпорки из орешника для гороха и стручковой фасоли и накрываю их сеткой, чтобы защитить от голубей. Собираю салат-латук и редис и сажаю капустную рассаду, которую вырастила из семян.

Я постоянно пропалываю овощи: весной сорняки растут очень быстро. Я начинаю разводить кур. Купила у Гарри Тостевина молоденьких курочек — «Род-айленд», с каштановыми перышками и хитрыми оранжевыми глазками. Джонни помог мне построить вольер в конце сада, там, где наш участок огибает Ле Винерс.

К своему удивлению обнаруживаю, что получаю настоящее удовольствие от куриц: мне нравятся звуки, которые они издают, когда шумят, переговариваются, беспокоятся; нравится собирать яйца, бледно-коричневые и хранящие тепло гнезда в моей ладони. Милли помогает мне с яйцами и дает курицам экстравагантные имена из своих книжек: Рапунцель, Золушка.

Энжи дает мне урок по приготовлению курицы, учит ощипывать и потрошить ее. Я знаю, что могу накормить свою семью, и это наполняет меня теплым чувством удовлетворения.

В мае мы слышим, что на Лондон совершен чудовищный авианалет, говорят, погибло больше трех тысяч человек. Я очень боюсь за Ирис и ее семью. Вспоминаю об ужасах бомбардировки Сент-Питер-Порта, и думаю о том, что там подобное происходит каждую ночь, повсюду.

О людях, пойманных в огненной буре или скрывающихся в подземке, прислушивающихся к разрушениям наверху и при каждом падении бомбы думающих: «Это в мой дом?» Глаза Бланш наполняются слезами, когда она слышит новости.

— Бедные, несчастные люди, — говорит она.

Поднимаюсь на холм, иду навестить Энжи. Сегодня прохладное майское утро, и во всех садах, мимо которых я прохожу, на веревках хлопает влажное белье, а в воздухе стоит пудровый, ностальгический аромат постепенно распускающихся тугих бутонов сирени.

Энжи возится с ниткой у себя на рукаве и старается не встречаться со мной глазами.

— Я хочу сказать тебе кое-что, — говорит она. — Чтобы ты услышала все от меня.

Мне интересно, о чем пойдет речь.

— Это про моего брата Джека, — объясняет она. — Значит, тебе еще никто не рассказывал?

— Нет, Энжи. Зачем?

Она простирает горло.

— Дело в том, что... он работает на них. Понимаешь, о чем я? — Ее голос негромкий и хриплый. — Он работает на аэродроме.

— Ну, все мы вынуждены как-то справляться, — отвечаю я.

— Честно говоря, он этим не гордится. Но ему надо кормить малышей.

Я слышу в ее голосе мольбу. Она отчаянно хочет, чтобы я простила, не возражала.

— Конечно, надо, — говорю я. — Конечно, это самое главное.

— У него подрастает четверо детей, и почти нет земли. Не думай о нем плохо, Вивьен.

— Конечно, я не стану плохо о нем думать. Нам всем приходится искать способы

выжить. Всем.

Но она, кажется, не слышит меня. Наверное, она неправильно поняла выражение моего лица, увидела в нем какую-то напряженность, хотя я думаю не о Джеке, а о себе. Но я не могу сказать ту единственную вещь, которая утешила бы ее.

— Я знаю, что есть люди, которые осуждают его. Существуют гадкие прозвища для таких, кто делает то, что делает Джек, — говорит она. — И, честно говоря, это можно понять. Когда слышишь новости из Лондона, самое ужасное чувство в мире — понимать, что человек, которого ты любишь, способствует этому.

Минуту я ничего не отвечаю и не смотрю на нее. Человек, которого я люблю, уж точно способствует.

— Я не стану осуждать его, Энжи. Правда.

Но что-то во мне беспокоит ее, я ее не убедила.

Иногда, работая в вольере для кур, я вижу других немцев в саду Ле Винерс. Забор там низкий, и мы можем видеть друг друга. Кажется, белокурый и розовощекий Ганс Шмидт — садовник, хотя все, что он делает, стрижет траву и время от времени подрезает ветки.

Когда он работает в саду, к нему приходит Альфонс, и Ганс начинает с ним возиться: он встает на колени и чешет ему между ушами, отчего кот мурчит и изгибаётся от удовольствия.

Иногда в теплые дни на лужайке сидит Макс Рихтер с книгой в руках. Он заставляет меня чувствовать себя неуютно, несмотря на всю его доброту во время болезни Милли. Он наблюдательный. Я знаю, что он ничего не пропускает.

Когда он видит в саду Милли, он машет ей рукой. Однажды, когда она прыгает через скакалку, а я кормлю кур, он зовет ее.

— Милли, смотри, что я тебе покажу.

Она идет к нему. Он протягивает к ней руки над калиткой. Его ладони неплотно сложены вместе, и я вижу, как между его пальцев трепещут крылышки бабочки.

— Какое красивое создание, — говорит он.

— Она называется бабочка, — отвечает она несколько свысока.

— А есть у этой бабочки специальное название? — спрашивает он.

Он немного разводит ладони, чтобы Милли могла рассмотреть. Милли заглядывает между его пальцами. Солнце сверкает на его ботинках и на пистолете, висящем на ремне.

— Это репейница, — говорит ему Милли. — Они прилетают из самой Африки. Мне мамочка рассказывала.

— Забавное название.

— Я как-то видела медведицу. У них на крыльях полоски, как у тигра.

— На вашем острове красивые бабочки.

Милли слегка хмурится, глядя на его ладони.

— Вам надо быть аккуратным, чтобы не навредить ей, — говорит она.

— Да, я буду аккуратным.

— А там, откуда вы приехали, есть бабочки? — спрашивает Милли.

Он улыбается:

— Да, у нас есть бабочки.

Они еще минуту смотрят на бабочку, склонив свои темные головы. Волосы мужчины коротко подстрижены, у Милли волосы длинные и растрепанные и падают ей на лицо. Солнце освещает их обоих.

Я наблюдаю за ними и думаю обо всех людях, погибших в Лондоне, о душераздирающей

скорби, о разбитых невинных жизнях, и никак не могу совместить это в своем сознании, не могу понять.

— Думаю, вам следует отпустить бабочку, — весьма укоризненно говорит Милли. — Им не нравится быть пойманными вот так. Дикие создания не любят быть пойманными.

— Да, конечно, ты права, — отвечает он. — Но я был осторожен, чтобы не повредить ее.

Он раскрывает ладони. Бабочка лениво порхает прочь. Милли возвращается к своей скакалке.

Позже я слышу разговор дочек.

— Я тебя видела, — говорит Бланш. — Видела, как ты разговаривала с тем немцем из соседнего дома.

— У него была бабочка. Он мне показал, — отвечает Милли.

— Бабушка станет тебя ругать, если увидит, что ты разговариваешь с немцами.

Милли пожимает плечами.

— Бабушка нас не видела, — просто говорит она. — И кроме того, он не немец, он Макс.

## Глава 43

Июнь. Однажды ночью, когда Гюнтер приходит ко мне, я понимаю: что-то изменилось. Должно быть, он много выпил. Его глаза слишком ярко блестят, его руки слишком неловки, от кожи исходит запах алкоголя. И есть в его лице что-то такое: изнуренное, побежденное.

Обычно мы сразу идем наверх. Но в коридоре он притягивает меня к себе, забыв, где мы находимся. Его поцелуй настойчив, словно он хочет спрятаться во мне, у него вкус спиртного. Кожа прохладная и влажная на ощупь. Я отчаянно пытаюсь завести его в свою комнату, тяну его к лестнице, беспокоясь о том, что он может споткнуться и разбудить Бланш или Милли.

Оказавшись в комнате, я запираю дверь и испуганно поворачиваюсь к нему.

— Что? Что произошло?

Моя первая мысль о Германе, его сыне. Я холдею от страха: что-то случилось с Германом.

Гюнтер отвечает не сразу. Он снимает китель, затем ремень. Садится на мою кровать, снимает ботинки. Его движения тяжелые и медленные, лоб прорезает глубокая морщина.

— Фюрер объявил войну России, — говорит он.

В его голосе слышна многозначительность, как будто он ожидает, что я тут же пойму множество вещей, следующих из этой фразы. Но я не понимаю значения этой новости ни для войны, ни для него или для меня.

Он проводит рукой по лицу, неуверенно, словно ему незнакомы собственные черты. Потом поднимает на меня глаза, полные неестественного блеска.

— Мы надеялись, что скоро все закончится. — Его речь немного неразборчива. — Но что теперь? Не знаю... Макс говорит, что теперь мы проиграем войну.

— Макс говорит что?

Я потрясена.

— Макс говорит все, что захочет. Макс ни в кого не верит. Макс никогда не верил, что те, кто стоит у власти, понимают, что делают.

— Но почему? Почему это значит, что Германия проиграет войну? — спрашиваю я.

— Война в Европе идет хорошо для нас, — говорит он. Словно не осознает, какая пропасть образуется между нами при этих словах. — Открывать второй фронт на востоке — безумие. А Россия... — Он качает головой, как будто у него нет слов, которые могут выразить, что он имеет в виду. — Россия победила много армий.

— Ох, — говорю я.

Все это кажется мне таким далеким, как на другой планете. Сказочная Россия, жестокая, почти дикая: убийство царской семьи, Толстой и Чайковский, яркие цветные купола собора Василия Блаженного на Красной площади. Я думаю — довольно часто теперь — о том, как мало знаю о мире.

— Говорят, что невозможно представить себе ее просторы. — Он неопределенно двигает рукой, будто в беспомощной попытке предположить эти просторы. — Поля, еще поля, еще и еще, до самого горизонта, а потом снова поля. И леса, бесконечные леса и болота. А российская армия неисчислимая. И еще в России есть зима...

Я говорю себе, что должна радоваться, потому что Макс сказал, что немцы проиграют войну. Это должно вселить в меня надежду. Но новость Гюнтера внушает мне ужас, и я не

знаю, что это значит.

## **Часть IV**

**Сентябрь 1941 — Ноябрь 1942**

## Глава 44

В сентябре Милли идет в первый класс школы Святого Питера, расположенной на приходской площади.

На ней синее саржевое платье «Viyella» с вытачками на лифе, которые я буду расставлять по мере ее роста, а в косички вплетена красная лента. Ее туфельки когда-то носила Бланш, но я начищала их, пока они не стали выглядеть как новые.

На игровой площадке полно детей. Те, кто начинает учиться сегодня, жмутся к мамам, а те, что постарше, бродят вокруг, играют в шарики, классики и камешки. Некоторые девочки выполняют стойку на руках возле школьной стены, и их широкие юбки опадают, как лепестки пышно распустившихся цветов.

Я вспоминаю, как Бланш плакала и отказывалась идти в школу в первый раз. Детская площадка повергала ее в ужас, она никак не хотела отпускать меня, так что мне пришлось отлеплять ее пальчики от своих ладоней, словно пластырь. Но Милли всего лишь коротко оглядывается на меня и смело идет вперед, шагая в будущее в своих блестящих туфельках.

Без нее дом кажется другим. Даже когда она вела себя тихо, я знала, что она здесь, как будто воздух был наполнен ее живым и решительным присутствием. Я занимаю себя делами, но успеваю все намного быстрее, чем вместе с ней.

Я мою кухню, пока она не начинает сверкать, собираю последнюю фасоль, закатываю сливы с собственного дерева. Сорт «Виктория» отлично подходит для консервирования. Они сохраняют свой насыщенный розовый цвет даже после обработки, а вся кухня благоухает их насыщенным винным ароматом. Я довольна, что столько сделала, но все равно скучаю по Милли.

Когда приходит время забирать дочку, я жду около школы вместе с остальными матерями. Некоторых из них я знаю с тех пор, когда Бланш начинала ходить в школу, хотя прошло уже десять лет: у многих большие семьи или разница между детьми такая же, как у моих.

Сьюзан Гальен, высокая, стройная и элегантная, с благородно бледным лицом и аккуратно завитыми волосами.

Вера Хилл, управляющая своим домом с такой четкостью, будто это армейский лагерь. Ее окружает запах карболового мыла.

Глэдис Ле Тиссьер, у нее шестеро детей и несколько отстраненный вид, словно все вокруг происходит слишком быстро для нее. Мы здороваемся, обмениваемся новостями и обещаем встретиться снова.

Двери школы открываются, и из них высыпают дети. Милли побегает ко мне, разрумянившаяся и довольно ошелевшая от новизны всего происходящего. Одна из ее лент развязалась и развевается позади нее, как флаг, пока она бежит. Я наклоняюсь, чтобы обнять ее.

Она пахнет школой — восковыми мелками, меловой крошкой, яблоками. Этот запах наполняет меня ностальгией по лучшим друзьям и говорам на площадке, по игре в скакалочку и поведанным шепотом секретах и по измазанным чернилами пальцам. По всему, связанному со школой.

— Милая, у тебя был хороший день?

Она энергично кивает.

— Я хорошо себя вела, — говорит она мне. — Но Симону пришлось стоять в углу. Ему велела мисс Делейни. Он посадил извивающегося червяка на блузку Анни Гальен.

— Симон Дюкемин?

— Да, Симон Дюкемин. — Она перекатывает его имя во рту, словно оно очень вкусное, как украденный леденец. — Симону семь лет.

Как будто это огромное достижение и заслуживает уважения.

На следующий день по дороге из школы она снова говорит о Симоне.

— Симон получил тапочком.

Я вспоминаю, что Бланш рассказывала о тапочке. На самом деле это вовсе не тапочек, а старый парусиновый туфель на резиновой подошве, который мисс Делейни хранит в ящике стола. Она шлепает им детей, когда они плохо себя ведут. Его боятся все ученики.

— Но, Милли, сегодня же только второй день учебы. Я думала, вы все еще хорошо себя ведете.

— Ему пришлось перегнуться через парту, — продолжает она. — Он сказал, что ему не было больно, но я думаю, что это больно. Думаю, он очень старался не заплакать.

Сентябрь смягчил краски сельского пейзажа, придав всему золотой осенний блеск. Падают первые яркие листья и шелестят на гаревой дорожке. В тишине переулка этот звук напоминает осторожные шаги.

— Так что же Симон натворил, чтобы заработать тапочек? — спрашиваю я.

— Он вел себя очень гадко. Он сидел сзади Мэйзи Герин и засунул кончик ее косички в свою чернильницу. — И снова в ее голосе слышится уважение. — Мамочка, я хочу играть с Симоном.

Это меня тревожит: Симон Дюкемин кажется несколько неуправляемым. Но Милли настаивает.

Следующим утром, пока мы ждем детей на площадке, я разговариваю с Рут Дюкемин. Я знаю ее только в лицо. Это бледная, довольно беспокойная женщина с облаком светлых волос вокруг головы и глазами поразительного зеленого цвета, словно листовик, растущий вдоль дорог.

— Интересно, Симон захочет прийти поиграть с Милли после школы?

У нее широкая и добрая улыбка.

— Да, уверена, что захочет, — говорит Рут. — Кажется, он очень увлечен Милли.

\* \* \*

Симон стучит в нашу дверь. У него бледные руки, покрытые веснушками, материнские пышные волосы и настороженное выражение лица. Он заглядывает в коридор за моей спиной.

— Я пришел за ней.

Милли переодела школьную форму, сменив ее на свое старое платье. Она берет старую сумку Бланш. Я положила туда баночку джема, перевязав ее веревкой, чтобы удобно было вытаскивать, и яблоко. Пока я прощаюсь с ней, мне кажется, что ее ноги не могут устоять на месте: она прыгает с одной ноги на другую, как танцор. В глазах солнечные зайчики.

— Не уходите слишком далеко. И возвращайтесь до темноты.

Мои слова встречает тишина. Дети уже пересекли дорогу, прошли фруктовый сад и

устремились в лес. Их звонкие голоса следуют за ними как флагшки.

Я прибираюсь на кухне. Выставляю банки со сливами на пол кладовой. Приятно видеть такое изобилие, все эти тяжелые стеклянные банки, заполненные красно-розовыми фруктами. Я мою пол на кухне, хотя на самом деле в этом нет необходимости.

Когда тени от деревьев становятся длиннее и протягиваются через дорогу, словно цепкие руки, меня охватывает тревога, и мне хочется, чтобы Милли оказалась со мной, в безопасности дома. Это первый раз, когда она уходит гулять.

Но задолго до назначенного времени Симон провожает Милли до нашей двери и отправляется по дороге к своему дому. Милли вбегает в гостиную, где я штопаю вещи, а Бланш расчесывает волосы. Милли грязная, растрепанная и разрумянившаяся от счастья.

— Симон забрался на верхушку дерева, — рассказывает она.

— Мальчишки такие хвастуны, — говорит Бланш, прерывая расчесывание. Она сидит, наклонившись вперед, так что ее блестящие светлые волосы свисают вниз, и считает. Каждый день перед сном она старается провести по волосам сто раз.

— Что ж, я надеюсь, он не думал, что ты тоже полезешь туда, — отвечаю я Милли.

— Он искал старое гнездо лесного голубя, — объясняет она. — Я должна была поймать его, если он упадет. А потом мы устроили в лесу убежище. Мы прятались от бомб. Бомбы убили всех, но в нас не попали... А потом мы были солдатами.

Она стреляет в Бланш из воображаемого пистолета.

— Честно говоря, Милли, девочки не стреляют. Тебе следует это знать, — говорит Бланш.

Она выпрямляется и откидывает волосы назад. Смотрит на свое отражение в зеркале над каминной доской, немного позируя. Свет мерцает в потоке ее волос.

— Я нравлюсь Симону по-настоящему, — хвастается Милли. — Он говорит, что на самом деле я совсем не похожа на девочку.

Можно подумать, что это наивысшая похвала.

После этого большинство дней после школы Симон играет с Милли.

\* \* \*

Однажды вечером она приходит домой возбужденная, напуганная и едва дышит.

— Мы устроили военный лагерь в сарае мистера Махи, — говорит она.

Сарай Питера Махи стоит сразу за моим садом, на тропе через поля, по которой я ходила в Ле Брю. Мистер Махи не заботится о сарае и вряд ли заглядывает в него. Он складирует там старую сельскохозяйственную технику, к которой не может найти запчасти. И еще там есть расшатанная лестница, ведущая на сеновал. Дети могут ползть на нее и свалиться.

— Вы должны быть очень осторожны, когда играете там. Нельзя играть на тракторе. И нельзя забираться на сеновал.

— Мы были очень осторожны, мамочка.

— Ты вся запыхалась.

— Это потому, что за нами гнались.

— Гнались, Милли? Кто за вами гнался?

— Пес мистера Махи, — говорит она. — Его пес очень злобный. Мы шли обратно

позади дома, и он гнался за нами по дороге.

— Я знаю пса, огромную немецкую овчарку, довольно злую. Это меня тревожит.

— Что же вы делали, что он за вами погнался? — спрашиваю я.

— Симон бросил в него камень.

— Нет, Милли. Это очень плохой поступок.

— Симон не плохой. Это был очень маленький камень.

— Ему не следовало этого делать.

— Он был маленький, как листочек, — говорит она. — Правда-правда малюсенький.

Вот такой.

Она сводит вместе большой и указательный пальцы, оставив между ними совсем небольшое расстояние.

— Меня не волнует, насколько он был маленький.

Я ощущаю некоторое сомнение: есть в Симоне какая-то дикость, что-то, что заставляет его не слушаться взрослых. Меня тревожит, что он научит этому Милли.

— Вы больше не должны этого делать, ни один из вас, — говорю я.

— Я ничего не делала. Правда, мамочка.

# Глава 45

Теперь, когда Милли в школе, у меня появилось чуть больше свободы, хотя я не люблю оставлять Эвелин одну надолго.

Однажды ноябрьским днем я отправляюсь на велосипеде в город. Покупаю хлеб и мясо, лук-севок, меняю книгу в библиотеке. Я сумела найти несколько мотков шерсти для Эвелин и купила немного толченого каррагинана в магазине Карра в пассаже. Каррагинан получают из водорослей, и его можно использовать как желирующий агент. В «Пресс» был рецепт джема из репы. Звучало не слишком привлекательно, но я подумала, что попробую его приготовить.

По дороге к дому я поднимаюсь на холм и проезжаю виллу Акаций, где когда-то жил Натан Исаакс, куда я ходила на музыкальные вечера, до того как он уплыл на корабле. Вспоминаю эти вечера: немного богатого кларета, ласковое пламя в камине, «Весенняя соната» для скрипки и фортепиано Бетховена.

Натан любил Бетховена больше всех. Он был прекрасным скрипачом, намного лучшим музыкантом, чем я. Есть в скрипке нечто такое — нежная тягучесть, то, как она парит и поет, — что заставляет фортепиано казаться несколько заурядным.

Думаю, как сейчас дела у Натана. Он рассказывал, что дом его кузины в Хайгейт полон родственников. Надеюсь, что они не слишком шумные. Надеюсь, у него есть комната, где он может играть на своей скрипке. Вилла всегда выглядела изысканно: дверной молоток в виде блестящего латунного льва на зеленой входной двери, перед домом ухоженная лужайка с цветочными бордюрами.

Но без него все выглядит запущенным и ветхим. Цветочные клумбы заросли конским щавелем и бледной мертвой травой, а головки гортензии шуршат и шелестят на ветру словно коричневая оберточная бумага.

Соленый воздух сдувает волосы с моего лица, и меня охватывает внезапная грусть от того, что мир меняется и так много надорвано, заброшено, уничтожено.

Когда я прохожу мимо входной двери, из нее выходят двое мужчин. Я понимаю, что это не жители острова. Худые, одетые в лохмотья, они разговаривают на незнакомом мне языке. Это не немецкий, который я теперь узнаю.

Они выглядят несчастными и потерянными. Их тени неровные и тонкие, словно ветки зимой. Я понимаю, что они дрожат. Сегодня при таком ветре, что дует с моря, просто необходимо хорошее шерстяное пальто.

Этот неизвестный на нашем острове язык очень меня нервирует. Кто они такие, почему они здесь, так далеко от дома?

Свет теперь уходит очень рано; уже темнеет. Кричат чайки. Приближается зима.

\* \* \*

Той ночью, когда приходит Гюнтер и мы вместе лежим в покое моей кровати, я спрашиваю об увиденных мужчинах.

— Я видела людей в Сент-Питер-Порте. В доме, который называется вилла Акаций. Я бывала там до того... Ты знаешь, до того, как все это случилось... Они иностранцы, не с

острова. И не немцы. Они выглядели очень худыми, и у них не было теплой одежды.

Что-то в нем напрягается при моих словах. Я замечаю, как слегка сжимаются мышцы вокруг рта.

— Фюрер хочет укрепить эти острова, — осторожно говорит он. — Он очень горд своим завоеванием. Мы не имеем никакого отношения к укреплениям.

— Что значит «не имеете никакого отношения»?

— Это другое подразделение — «Организация Тодта». Они привозят рабочих, чтобы строить оборонительные сооружения вокруг островов.

— Привозят откуда?

Я вспоминаю язык, который не узнала.

— Некоторых из Голландии и Бельгии. Некоторых из Польши и России. Это военнопленные или добровольцы. Некоторые из них строят лагеря, чтобы жить в них... Не волнуйся об этом, — говорит он, убирая волосы с моего лица. — Давай оставим войну снаружи. Будем только вдвоем, ты и я.

Но позже ночью он внезапно просыпается. Его неожиданное движение будит и меня. Он дрожит, и эта дрожь передается мне. Должно быть, во сне его преследовал какой-то страх, ночной кошмар.

Я задула свечи, но лунный луч просачивается сквозь занавески и падает на лицо Гюнтера, на его глаза. Они направлены на меня, но, кажется, смотрят сквозь, словно он меня не видит. Его лоб блестит от пота в бледном свете луны. Я напугана.

Я гладжу его по руке, пытаясь вернуть его в настоящее.

— Гюнтер. Тебе нечего бояться. Все в порядке. Это Вивьен. Дорогой, ты здесь, со мной помнишь?

Он продолжает смотреть.

— Гюнтер...

Его лицо меняется.

— Ох, — говорит он. — Ох. Вивьен.

Он трет лицо рукой и снова становится самим собой.

Я думаю: что же он видел во сне? Но он не рассказывает мне, а я не спрашиваю.

\* \* \*

В сгущающихся сумерках я возвращаюсь от Энжи. Неподвижный воздух приобрел оттенок сепии. Ветра нет, большая редкость на Гернси. Одинокий бурый лист падет, описывая медленные спирали.

Мир вокруг кажется пустынным, а тени — темно-фиолетовыми, как чернослив. С наступлением сумерек местность словно погружается в печаль. Над бледной землей и черными деревьями раскинулось небо, похожее на темно-синюю золу.

Я иду по перепутанным длинным теням тополей, растущих по обочинам, мимо земли, принадлежащей Ренуфам. Замечаю, что Джозеф Ренуф установил на поле пугало, сейчас его скрывают фиолетовые тени.

Пугало сделано очень умно, из палок и веток, и одето в рваные обноски. Мои шаги звонким эхом отдаются в тишине улицы. Тянет прохладой наступающей ночи.

Прохожу дальше. Но что-то в увиденном беспокоит меня, что-то неуловимое. Шорох

листьев за спиной заставляет меня резко повернуться. Страх хватает меня за шкирку: пугало в поле передвинулось на другое место.

Все волоски на моем теле встают дыбом. Теперь я вижу лицо пугала, вижу, что это человек. Не знаю, кто он и что делает здесь, в пустынных сумерках на поле Джозефа Ренуфа. Я боюсь, что он меня увидит, боюсь, что он может быть опасен, но он, кажется, меня не замечает.

Он полностью сосредоточен на том, что держит в руке. Похоже на капустную кочерышку. Я вижу, как он подносит ее к лицу и яростно вгрызается.

Что же могло случиться, чтобы человек опустился до подобного — есть выброшенную кем-то кочерышку? Он сбежал из какой-то тюрьмы? Он сумасшедший?

Перед тем как уйти за поворот, я снова оглядываюсь, но оборванный мужчина исчез, как будто его там никогда и не было. Как будто я вызвала его из темных глубин своего разума.

\* \* \*

Теперь темнеет рано, и Милли с Симоном не могут после школы играть на улице. Иногда Милли ходит в гости к Симону, а иногда он приходит к нам.

Когда они вместе играют в доме, Эвелин приходится тяжело.

— У меня болит голова. Какой грохот, — говорит она. — Туда-сюда, туда-сюда.

Я велю им быть потише, но мои предупреждения пролетают у них мимо ушей.

Эвелин слышит, как они поют на немецком: «*Stille Nacht, Heilige Nacht*». Они учат рождественские гимны в школе. Эвелин стучит спицей по ручке кресла.

— Прекратите сейчас же, — требует она.

Милли заливается краской.

— Прости, бабуля.

Про себя я думаю: это хорошо, что они учат немецкий. Оккупация может продлиться долго, и если они научатся говорить по-немецки, то будут лучше подготовлены. Хотя я никогда не говорю этого Эвелин.

— Эвелин, их научила мисс Делейни. Это ничего не значит, — говорю я.

— А вот тут ты ошибаешься, — отвечает она. — Это точно кое-что значит. Может быть, эти варвары и пришли на Гернси, но мы не собираемся пускать их в наши дома.

С горящим лицом я отворачиваюсь от нее.

Я отправляю их играть в маленькой мансарде в дальней части дома, откуда их не будет слышно. Эвелин снова принимается за вязание. Я не вижу детей, пока не зову Симона вниз, чтобы сказать ему, что пришло время идти домой.

— Вы хорошо поиграли, милая? — спрашиваю я Милли, когда он уходит.

Она энергично кивает.

— Симон оборот, — говорит она. — У него мех и очень большие зубы.

Я прошу ее повторить, потому что не понимаю слово.

— Оборот, мамочка. Ну, знаешь. Ты знаешь, кто такой оборот.

— Нет, не знаю.

Она смотрит на меня полным сомнения взглядом, как будто не может поверить в мое невежество.

— Оборот выглядит, как человек, но при свете луны...

Она закидывает голову и издает страшный волчий вой.

— А, оборотень, — говорю я.

— Да, конечно. Оборот меня укусил. Смотри.

Она гордо вытягивает руку, и я вижу исчезающие белые отметины от зубов. Я в ужасе.

— Милли... ты не должна позволять Симону кусаться.

— Не волнуйся, мамочка. Крови не было.

— Надеюсь.

— И вообще, это была всего лишь игра. Мы притворялись. На самом деле он не такой, — говорит она.

— Нет... конечно нет.

— А можно я расскажу тебе секрет, мамочка?

Я киваю.

Она притягивает мою голову вниз к своей и шепчет мне на ухо:

— Симон знает, где живет настоящий оборот.

— Милли, настоящих оборотней не бывает. Никогда.

Она меня не слушает.

— Этот оборот настоящий, — говорит она. — Оборот, про которого я говорю.

Ее ротик очень близко ко мне, я ощущаю ее дыхание на своем лице. Она шепчет театрально, с чувством:

— Он рыскает по дороге, которая ведет от Сент-Пьер-дю-Буа в Тортевал. А перед собой он толкает тачку, полную репки. И он любит есть плохих детей.

В ее голосе слышится страх.

— О, и откуда же Симон это знает?

— Ему сказал старший брат, — говорит она. — Это самая настоящая правда, мамочка.

— Нет, милая. Это просто сказка.

Она категорично мотает головой.

— Старший брат Симона знает много чего, — говорит она. — Старший брат Симона сделал биплан из картона и клея. Он правда летает. Симон мне показывал.

Я сержусь на Симона и на его старшего брата за то, что они так пугают Милли.

\* \* \*

Приходит Джонни с баночкой яблочного чатни от Гвен и мешком свежесобранного шпината. Мы сидим за кухонным столом и пьем мятный чай, который я приготовила.

Джонни больше ничего не говорил о затее со свастиками, но между нами появилось напряжение: короткие неловкие паузы в разговоре и некотораядержанность в его глазах.

Чтобы заполнить одну из пауз, я спрашиваю его о людях, которых видела у дома Наташа.

— Наверное, вы видели рабочих из Голландии и Бельгии, — отвечает он. — Сейчас с континента привозят много рабочих. Гитлер строит кольцо бетонных укреплений вокруг всего острова.

Я задаю вопрос, который не смогла задать Гюнтеру.

— Но зачем, Джонни? Это бессмысленно. Как будто они действительно ожидают атаки КВВС.<sup>[4]</sup> Но никто не думает, что это произойдет. Все считают, что Черчиллю на нас

плевать. Мы всего лишь маленький остров.

Джонни пожимает плечами.

— В общем, они строят, — говорит он. — Похоже, это план Гитлера. Те рабочие, которых вы видели в Сент-Питер-Порте, с ними обращаются не так уж плохо, им даже платят небольшую зарплату.

Я думаю об увиденных мужчинах, о том, какие они худые, о том, как они дрожали на соленом ветру.

— Они выглядели так, будто с ними обращаются весьма плохо. Они выглядели так, будто ничего не ели.

Джонни качает головой. Между его глазами пролегли мелкие морщинки, тонкие, словно порезы.

— В рабочих лагерях хуже, намного хуже. Знаете, как в том лагере, который они строят на холме рядом со скалами, что над Ле Талье.

— Я не знала, — говорю я. — Я никогда не хожу туда.

— Там строят укрепления на вершинах скал. И этот лагерь — жестокое место. Людей там вообще едва кормят.

И тут я понимаю.

— Я видела человека на поле. Он был очень худой. Думаю, он ел капустную кочерыжку. Я приняла его за пугало, пока он не пошевелился, и я не увидела его лицо.

— Наверное, он из лагеря, — говорит Джонни. — Люди оттуда выглядят действительно жалко. Они из Польши и России, большая часть. Они как рабы, люди, которые там работают, с ними обращаются, как с рабами. Хуже, чем с рабами. Их бьют. — Его лицо темнеет. — Я видел там человека, которого повесили на дереве. Тело провисело много дней.

Меня пробирает дрожь.

— Там еще есть алжирцы и цыгане. Вам надо пойти и увидеть все своими глазами, тетя. Вы должны знать, что происходит здесь, на нашем острове.

— Да. Наверное, надо...

Но я говорю так только потому, что этого ждет от меня Джонни. Мысль о том, чтобы пойти в лагерь, приводит меня в ужас. Чем поможет то, что я пойду и сама все увижу? Для меня это слишком.

Я не могу ничего изменить, никто из нас не может. Все это не в нашей власти, мы не в состоянии это предотвратить... И тем не менее мне стыдно за свое нежелание. Я знаю, что такие чувства — это слабость.

— Нельзя так обращаться с людьми, — говорит Джонни. — Вы знаете слухи, да? Говорят... должно быть, эти люди там потому, что совершили какое-то ужасное преступление. Флори Гальен говорила в церкви. Но что такого может совершить человек, чтобы заслужить подобное наказание? Мы занимаемся этим делом, я и Пирс. Мы собираемся сделать то, что в наших силах.

Упоминание о Пирсе меня нервирует.

— Джонни, но что вы можете сделать? Это же огромная военная машина, вы не можете ее остановить.

Он меня не слушает.

— На Джерси уже начали. Они создают сеть, чтобы помочь некоторым рабочим бежать, — говорит он. — Убежища и все такое.

Подобная затея кажется мне странной.

— Но куда же они пойдут? — спрашиваю я. — Никто из нас не может сбежать. С этих островов не выбраться. Сейчас мы все просто-напросто застряли здесь.

— Они живут под видом местных.

— До каких пор? Пока не кончится война?

— Пока мы не победим, — говорит он.

\* \* \*

Январь. Штормовой ветер. На вершине холма в Ле Рут окна покрыты солью, хотя дс моря ещё целая миля. Поддерживать тепло в доме очень сложно: ветер, как нож, проникает через закрытые окна и двери. Нас постоянно знобит.

Вместе с другими материами я жду на площадке для игр. Все выглядят немного более потрепанными, чуть более заштопанными. Ветер шуршит листьями плюща, растущего на школьной стене за нашими спинами.

Здесь тоже обсуждают рабочих-рабов.

— Вы видели всех этих несчастных рабочих, которых привозят строить здания? — Хмурится Глэдис. — Должно быть, с ними ужасно плохо обращаются, они выглядят полуголодными.

— Наверное, им очень холодно по такой погоде, — говорит Рут Дюкемин, мама Симона. — Они спят в этих ужасных лагерях и одеты только в лохмотья.

Она вздрагивает, словно чувствует, как им холодно в такой одежде.

— Но они же заключенные, не так ли? — говорит Сьюзан. В отличие от остальных, она старается следить за собой: пользуется пудрой и губной помадой, и в ней еще заметна естественная элегантность, даже в поношенном пальто. — Значит, они, должно быть, преступники, верно? Все они что-то натворили. Должно быть, совершили какое-то преступление.

— И все равно это очень отвратительно, то, как с ними обращаются, — отвечает Глэдис. — Это не по-людски.

Сьюзан плотнее кутается в свое пальто.

— Мы должны помнить, что не знаем всей истории, — говорит она. — Они должны были сделать что-то серьезное, чтобы с ними так плохо обращались.

Я вспоминаю, что сказал Джонни: «Что такого может совершить человек, чтобы заслужить подобное наказание?» Но не говорю ни слова.

— И они кажутся такими больными, — говорит Вера. — Они, наверное, кишат вшами.

Ее лицо напряженно сморщено в попытках противостоять ледяному ветру.

Раздается согласное бормотание.

Сьюзан поспешно прочищает горло.

— Это, безусловно, ужасно для них, но правда в том, что они могут быть заразными. Они могут стать распространителями болезней. Если быть абсолютно честной, мы бы могли обойтись без них на нашем острове. Мы уже и так достаточно натерпелись, — говорит она.

— Бедняги, — говорит Рут, мама Симона. — Они не виноваты, что оказались здесь.

У нее недовольный вид, в ярко-зеленых глазах читается неодобрение. Я понимаю, что этот разговор ее расстраивает. Мне следует вмешаться и поддержать ее, но я не могу придумать, что сказать.

— Их следует пожалеть, — говорит она.

Я собираюсь согласиться с ней, но порыв ветра не дает сказать, и Вера спрашивает раньше меня:

— Но что тут можно сделать? Я слышала о той женщине с Джерси. Она приютила у себя дома одного из рабочих, и немцы нашли его там.

— Что произошло? — спрашивает Глэдис.

Мгновение Вера молчит. Позади нас ветер продолжает шевелить листья плюща с сухим неприятным звуком.

— Я слышала, что они ее застрелили, — произносит она.

Нашу группу, словно электрический заряд, пронзает приступ страха.

— Люди, которые так поступают, создают трудности всем, — говорит Сьюзан. — Подвергают риску остальных.

Вера кивает.

— Мы ничего не можем сделать. Нам придется просто подчиниться и заниматься своими жизнями, — говорит она. — Заботиться о людях, за которых мы несем ответственность. Я хочу сказать, что это печально и все такое, но не имеет к нам никакого отношения. Нам нужно жить своей жизнью.

Я почти начала говорить, но тут школьный звонок возвещает окончание учебного дня. Женщины поворачиваются к зданию, из дверей которого выходят дети. Милли побегает ко мне, и я наклоняюсь, чтобы она обвила меня руками.

— Ты сегодня играешь с Симоном? — спрашиваю я.

— Да, конечно. Он мой друг.

Мы возвращаемся к своей повседневной жизни, но я ощущаю маленькую вспышку горячего стыда за то, что не сумела высказаться.

\* \* \*

Поднимаюсь на холм в Ле Рут, неся немного джема из репы, который я сделала с помощью купленного каррагинана. На обочинах показались подснежники — скромные, повесившие головки, — и уже можно уловить сладкий ванильный аромат зимнего гелиотропа, но весна все еще остается далеким обещанием. Надо мной беспорядочно кружат грачи, похожие на рваные черные тряпки в стремительном белом потоке неба.

В кухне Энжи холодно, ее очаг дает ничтожно мало тепла. От ветра ветки бузины стучат в окно, звук такой выразительный, будто снаружи кто-то есть — кто-то, кто хочет войти.

Холодный воздух проникает под дверь и образует маленькие клубы и вихри из пыли и сухих листьев по углам, которые неделями не видели метлы. До гибели Фрэнка ее кухня всегда сверкала и была безукоризненно чистой.

Она благодарна за джем из репы.

— В самом деле, не стоило. Ты слишком добра ко мне, Вивьен.

Она выглядит постаревшей и осунувшейся, вокруг рта и глаз тонкая сеточка морщин. Я спрашиваю, как у нее дела, и она слегка качает головой. Раньше она сказала бы что-нибудь неунывающее — «Не так уж плохо, Вивьен, не на что жаловаться», — но сегодня она лишь смотрит на меня своими ясными печальными глазами.

— Прошло уже больше года, — говорит она мне. — Мне следовало бы привыкнуть, но я

не могу. Я так сильно скучаю по нему, что это меня убивает.

Я кладу ладонь на ее руку.

— Год — это очень мало, — говорю я. — Когда кого-то теряешь.

— Не знаю, Вивьен. Я чувствую, что должна взять себя в руки. В смысле, что я не одна такая. Тысячи людей проходят через это.

Некоторое время мы молчим. Я думаю обо всем, что она мне рассказывала. Эти странные старые вещи, в которые она до сих пор наполовину верит, истории про острова: о поселениях фей, которые связаны с подземными дорогами; о том, что тело утопленника, принесенное морем, требует погребения; о том, что никогда нельзя приносить в дом цветы боярышника.

Но теперь она чаще молчит, как будто слова больше не приходят к ней с такой легкостью, как будто ей приходится вытаскивать их откуда-то из глубины.

Я рассказываю о человеке, которого видела на поле Джозефа Ренуфа.

— Я тоже их видела, — говорит она. — Похоже, иногда им разрешают выходить... Думаю, они закрывают на это глаза, позволяют им копаться в отбросах на фермах. Полагаю, таким образом им не приходится тратить много еды.

Ее губы потрескались и кровоточат. Она промокает их носовым платком.

— С ними так плохо обращаются, — говорю я.

На ее лицо ложится тень.

— На Олдерни еще хуже, — говорит она. — Мне Джек рассказывал. Джек теперь работает на Олдерни... Ну, я объясняла тебе, Вивьен. Ему надо сводить концы с концами, чтобы кормить растущих детей...

Я думаю, что же такого немцы могут хотеть от Олдерни? Это такой маленький, пустынnyй, продуваемый ветрами островок, на котором едва ли есть пригодная почва.

— Что там происходит? — спрашиваю я.

— Там больше нет жителей, — рассказывает она. — Все уехали в Англию. Джек нашел одичавшую собаку, пришлось пристрелить бедняжку.

— Но что немцы хотят там сделать?

— Они строят на Олдерни бункеры, и тамошние лагеря намного хуже, — говорит она. — Джек мне рассказал. Там четыре лагеря, и люди в них голодают. У них тонкие голоса, они звучат как птички... Так бывает, когда люди голодают. Это Джек мне объяснил. Я такого не знала. А ты знала, Вивьен?

Я качаю головой. Холодные пальцы воздуха тянутся в комнату. Бузина стучится в окно.

— Рабочих там бьют, обращаются с ними, как с животными, — продолжает она. — Даже хуже, чем с животными... Мне Джек рассказывал, и я никак не могу об этом забыть.

Она наклоняется ближе, ее дыхание, едва заметное, пахнущее никотином, касается моего лица.

— Один человек, — говорит она, — упал в бетономешалку, а немцы не остановили ее, и его похоронило заживо. Джек видел, как это случилось. И рассказал мне...

\* \* \*

Той ночью я расспрашиваю Гюнтера про Олдерни.

— Говорят... Ходят разговоры про Олдерни, — говорю я ему. — Мне рассказала

подруга... — Я прочищаю внезапно пересохшее горло. — Она сказала, что люди там голодают. Ходят слухи о том, что там творится что-то плохое. Ты знаешь, что там происходит?

Его лицо застывает.

— На Олдерни расположены рабочие лагеря, — говорит он. — Они не имеют к нам отношения. Я уже говорил тебе, Вивьен. Это «Организация Тодта». — Он гладит мои волосы. — Дорогая, давай не будем о них думать. Пожалуйста. Давай не будем тащить их в эту комнату.

«Он не знает, — уговариваю я себя. — Он не имеет с ними ничего общего».

# Глава 46

Погода меняется. По утрам нас будят белый солнечный свет и чистое голубое небо. Мой сад полон пены из цветов, и трава под деревьями усыпана бледными лепестками.

Вечера становятся длиннее, и Милли с Симоном успевают поиграть на улице перед чаем. На обочинах красуются глянцевые, словно покрытые лаком, листья чистотела, а в полях танцуют нарциссы, источая аромат щербета. Белый лес дрожит и трепещет от птичьих трелей.

Энжи говорит, что на полях Гарри Тостевина рядом с вершиной утеса растут грибы — большие мясистые лисички.

Так что однажды в субботу я оставляю Эвелин с Милли и на велосипеде отправляюсь на утес. Воздух пахнет сменой времен года, он несет с собой свежий зеленый запах пыльцы и растительных соков и кокосовый аромат цветущего драка. На улице так тепло, что мне не нужен кардиган. Легкий ветерок колышет травы, словно их гладит чья-то ладонь.

Добравшись до конца дороги, я вижу блики на море. Отсюда волны кажутся маленькими и движение воды почти не заметно. В теплых солнечных лучах мое тело становится легким, почти воздушным. Я думаю о Гюнтере и о том, что счастлива, несмотря ни на что.

Я оставляю велосипед лежать около дыры в ограде. Тут грязно, мокрая земля чавкает под ногами. Я нахожу чудные лисички в скрытых канавках и влажных, затененных впадинах под оградой.

В тени еще не высохла роса, и мои туфли и манжеты на блузке потемнели от влаги. У грибов насыщенный земляной запах. Я набираю полную корзину и думаю, как буду их готовить с кусочком специально отложенного масла. У меня текут слюнки, когда я представляю, как это будет вкусно.

Смутно ощущаю чье-то приближение, нарушившее спокойствие дня. Далекое движение, мужской крик. Звуки становятся ближе, и я понимаю, что мужчина кричит по-немецки.

Голоса приближаются, становится слышен топот множества ног по дороге. Меня охватывает негодование: что-то собирается вмешаться в мое мирное утро. Появляется инстинктивное желание спрятаться, но я слишком долго тянула и остаюсь стоять на месте.

Вижу, как по дороге проходит бригада рабочих, около дюжины. Должно быть, они направляются на вершину утеса, строить то гитлеровское кольцо укреплений, о котором говорил мне Джонни. Их внешний вид приводит меня в ужас.

Они одеты в лохмотья, а их кости — ключицы и косточки запястий — выпирают сквозь кожу. Они бредут, не поднимая ног, согнув спины, будто придавленные ужасной тяжестью.

Рабочих сопровождают двое охранников, чья форма отличается от уже привычной нам серой формы солдат Вермахта. У этих форма коричневая, а на рукавах повязки со свастикой.

Я смотрю, как они проходят. Сердце громко колотится в груди.

Один из заключенных хромает. Я вижу, как он спотыкается и падает. Его оставляют позади, он пытается встать, но не может: он слишком слаб, возможно, ему слишком больно. Один из охранников разворачивается и идет к заключенному.

Моя первая, глупая и наивная, мысль о том, что, по крайней мере, он поможет мужчине встать. Но он что-то кричит по-немецки, становится понятно, что он ругает упавшего. Заключенный старается подняться, но снова беспомощно падает

Охранник стоит над ним, а потом бьет прикладом автомата — бьет снова и снова, так что я слышу, как автомат бьет по коже, по костям. Слишком громкий звук на тихой дороге. Мужчина на земле едва двигается, закрывает руками лицо в попытке защититься, но потом его руки бессильно падают.

Яркая кровь течет изо рта. Охранник опускает автомат и вытирает приклад о траву. Я говорю себе, что теперь он уйдет, может быть, мужчина еще жив, может быть, когда рабочая бригада уйдет, я смогу подойти к нему и помочь...

Но охранник делает шаг назад и пинает мужчину ногой по голове, разбивая ее. Я слышу звук, с которым ботинок ломает череп. Из раны сочится что-то красное и комковатое. Я не хочу думать об этом или смотреть, но не могу отвести глаза.

Меня охватывает короткий порыв подбежать к охраннику, остановить его. Я даже делаю несколько шагов в его сторону, но что-то тянет меня назад: мысль о детях и Эвелин, о людях, которые нуждаются в моей заботе. Меня начинает трясти.

Я стою на месте, дрожа и разрываясь. Охранник поднимает глаза, видит меня и пожимает плечами. Ему плевать на то, что я здесь, что я вижу все, что он делает. Он непринужден, он не испытывает вины. Он снова пинает мужчину, лежащего на земле, и продолжает бить его ногой еще долго после того, как мужчина перестает двигаться, тяжелый ботинок ломает разбитую голову.

Дрозды продолжают петь, цветы тянут вверх свои свежие головки. Я не понимаю, почему поля выглядят такими же, как всегда, такими яркими и по-весеннему свежими. Эта яркость кажется мне возмутительной.

Охранник уходит, оставив мертвого человека лежать, как будто он ничто, хуже, чем ничто. Меня рвет прямо в канаву.

## Глава 47

Милли играет в кухне. Она так поглощена игрой, что не смотрит на меня.

— Смотри, мамочка, это свадьба.

Ее куклы выстроены процессией на кухонном столе.

— У меня тоже будет свадьба, — говорит она. — Я выйду замуж за Симона. Я надену большую шубу с пурпурными розами.

Она стоит в солнечных лучах, которые заливают мою кухню.

Ставлю корзину с грибами на стол.

— О, грибы. Я люблю грибы. Когда мы будем их есть? — спрашивает Милли.

Я пытаюсь ответить ей, но мои губы, кажется, отказываются двигаться.

Тогда Милли поднимает на меня глаза и хмурится.

— У тебя смешное лицо, — говорит она.

— Правда?

Я не в состоянии сказать: «Не волнуйся, это не из-за тебя», не в состоянии произнести ни слова.

— Мамочка, скажи мне, — беспокоится Милли. Она слезает со стула и подходит, чтобы обнять меня. — Скажи мне, в чем дело. Мамочка, ты поранилась?

— Мне просто нужно минутку побыть одной, — говорю я. — Ты можешь сделать так, милая?

Она убирает руки и пристально смотрит на меня. На ее лице испуг. Никогда раньше я не просила ее о подобном.

— Может быть, тебе поиграть в саду? Всего минутку? — предлагаю я.

Она уходит, но продолжает оборачиваться. В ее широко открытых глазах видна тревога.

Я сижу у стола. Насыщенный земляной запах грибов вызывает тошноту. В голове снова и снова повторяется увиденное, и я не могу помешать этому или остановить. Я так ясно все слышу и вижу, произошедшее более живое и настоящее, чем окружающие меня вещи: разбросанные по столу куклы Милли, ряды банок на полках. Все эти знакомые, реальные вещи кажутся мне зыбкими, ненастоящими.

Меня захлестывает стыд, горячий горький стыд за то, что я не бросилась умолять охранника, не схватила его за руку и не упросила его отпустить мужчину, не сделала ничего. Я раз за разом переживаю это.

Говорю себе: «Конечно же, я не могла его остановить. Я беспомощная, беззащитная женщина, и мне приходится думать о семье — о семье, которая зависит от меня. Если бы я это сделала, он бы и меня ударил или застрелил, или отправил в тюрьму. Я приняла правильное решение...»

Но осознание того, что я не могла его остановить, не спасает меня от чувства стыда. Как будто, став свидетелем этого ужасного поступка, я разделила вину за него, он стал частью меня.

Так я и сижу на кухне долгое время. Наконец приходит Милли и раздраженно тянет меня за рукав.

— Время ужинать. Я хочу есть, мамочка. — Ее высокий голосок звучит обиженно. — И я хочу играть со своими куклами.

Я встаю и начинаю заниматься тем, что нужно сделать, медленно двигаясь по

комнатам, словно бреду сквозь толщу воды.

Но позже тем же днем я возвращаюсь по дороге к полю Гарри Тостевина. По какой-то неясной причине, ведомая смутным чувством, что обязана человеку, которого не смогла защитить. Тело забрали. Все так, как было до того, как будто здесь ничего не произошло.

Я медленно еду обратно по цветущей земле, сквозь весеннюю яркость. Мои глаза широко открыты, но я вижу лишь темноту.

## Глава 48

Я сижу на кровати. Я продумала, что скажу, но теперь, когда я с ним, слова не идут. В дрожащем свете свечей махровые розы на обоях абсолютно черные, они колышутся, как будто тронутые таинственным безмолвным ветром.

Он раздевается, немного отвернувшись от меня. Его лицо скрыто тенями.

Я простила внезапно пересохшее горло.

— Я кое-что видела.

Наверное, он слышит дрожь в моем голосе. Перестает расстегивать рубашку. Ждет.

— Я собирала грибы недалеко от вершины обрыва... Там, где разрыв в изгороди, на земле Гарри Тостевина. У Гарри там ферма... Там на дороге я кое-что видела. Я стояла на поле и смотрела.

Не понимаю, зачем я рассказываю ему все эти незначительные подробности. Возможно, это способ оттянуть то, что я должна сказать.

Он так и стоит в наполовину расстегнутой рубашке, вопросительно глядя на меня.

— Я видела нечто ужасное, — говорю я. — Я видела, как охранник убил человека... мужчину из рабочей бригады. Только потому, что тот споткнулся. Он ударил его и забил до смерти.

Гюнтер пристально смотрит на меня, пытаясь понять, чего я хочу.

— Мне жаль, что тебе пришлось увидеть подобное, — осторожно говорит он.

— Дело не в том, что я это видела... а в том, что такое вообще случилось.

Он закусывает губу, как будто пытаясь найти верный ответ.

— В военное время происходят плохие вещи. Ты должна это понимать, — говорит он, спустя мгновение.

— Но он сделал это так обыденно, как будто это ничего не значит. — Мой голос походит на визг. — Как будто это просто часть его ежедневной работы.

Гюнтер откашливается.

— Вивьен, — тихо говорит он. — Убить очень легко. Может, не так легко сначала. Но спустя какое-то время, убить очень легко. Наверное, так не должно быть, но так есть.

Я не спрашиваю, откуда он знает.

— Ты не должна об этом думать, — продолжает он. — Постарайся не зацикливаться на этом.

Но я вижу только человека, которого забили насмерть. Он здесь, между нами. Он всегда будет между нами.

— Я не могу просто так решить и не думать об этом, — отвечаю я.

— Я знаю, вероятно, ты винишь нас, но мы не имеем к этому отношения.

— Как это может не иметь к тебе отношения? — Мой голос такой резкий, что об него можно порезаться. — Ты часть немецкой армии.

Говоря это, я внезапно думаю о том, что же я делаю: люблю его, отдаю ему так много, всю любовь, которую никогда не могла дать Юджину. В этот миг я абсолютно ясно понимаю, как осудят меня остальные. И, возможно, правильно сделают.

Он качает головой.

— Нет, Вивьен. Это другая организация. Как я уже говорил тебе, это «Организация»

Тодта». Они занимаются всеми укреплениями и рабочими лагерями. Мы за них не отвечаляем. Мы не можем контролировать их деятельность.

— Должно же быть что-то, что вы можете сделать, — говорю я. — Вы не можете просто позволять такому случаться. Это дикость.

— Вивьен, мы не можем это прекратить, у нас нет власти, чтобы остановить это. — Он садится рядом со мной и протягивает руку. Его прикосновение настойчиво: он слишком крепко сжимает мое запястье, впиваясь пальцами в кожу. — Мы должны думать о своих семьях, о людях, которые от нас зависят, которым нужно, чтобы мы оставались живы. Если станешь возражать, тебя отправят на русский фронт.

— Откуда мне знать, что это не просто отговорки? — спрашиваю я тихим голосом.

Мое горло хрипит, как будто эти слова причиняют боль.

Он выглядит пораженным тем, что я могу предположить подобное: обвинить его в том, что он мне лжет. Его вид дарит мне крохи утешения.

— Такое уже случалось, — говорит он.

— Когда? Что случалось?

— Один из наших офицеров возразил против такого обращения с заключенными. Он находился в гавани, когда пришло судно с ними. Его отправили туда, в Россию. — Он говорит очень тихо, я едва слышу. В его голосе появилось что-то новое: острый осколок страха. — Россия — это ад на земле. Смертный приговор.

Мне хочется, чтобы у нас было больше новостей о войне, для большего понимания. Я так мало знаю.

— Почему? Что там происходит? — спрашиваю я.

— Мы подошли очень близко к Москве, — говорит он. — Но потом наступила зима, и многие замерзли насмерть.

— Ох.

— Здесь, на острове, были люди, которые предпочли самоубийство отправке туда. Или пытались сломать ноги, чтобы больше не годиться для войны.

— Я никогда такого не слышала.

— Только на прошлой неделе был случай. В Сент-Питер-Порте. Мужчина бросился со стены и умер. Ты должна мне верить. Это западня... Мы ничего не можем сделать.

— Но должно же быть хоть что-то, — опять говорю я, но уже не так уверенно.

Он слышит уступку в моем голосе. Встает на колени передо мной и берет мою руку в свои ладони, очень осторожно, словно я очень хрупкая, словно что-то во мне может сломаться от его внезапного движения.

— Вивьен, я не герой, — говорит он. — Я хочу пережить эту войну. Я хочу снова увидеть сына.

Я помню, что он рассказывал о своем отчиме: как тот был его. И думаю о том, чему научила его жизнь. Не поднимай головы. Не возражай. Если будешь вести себя тихо, возможно, придут за кем-нибудь другим, а не за тобой.

— Да, я знаю, — говорю я. — Я понимаю.

Я позволяю ему переубедить меня. Говорю себе, что у него нет выбора, он не может это остановить. Это то, что я хочу услышать: это не имеет к нему никакого отношения, не зависит от него...

Он видит изменения. Берет мое лицо в ладони. Я чувствую, как его жар проникает в меня.

— Дорогая, можем мы оставить все это по другую сторону двери? — говорит он. —  
Можем мы ненадолго забыть о войне? Здесь только ты и я...

Но это не так. Больше не так.

## Глава 49

Несколько днями позже, когда я чем-то занята на кухне, слышу, как из гостиной доносится грохот и звон. Иду посмотреть, что там происходит.

Стеклянная дверца китайского шкафчика открыта, перед ним на коленях стоит Эвелин. Она достает приборы и складывает их на ковер: чашки и тарелки из моего чайного набора в цветочек, пережившие то время, когда в доме побывали грабители.

— Эвелин, что ты делаешь? — мягко спрашиваю я.

Она оборачивается и бросает на меня суровый взгляд.

— Кое-кто должен прийти, Вивьен. Мы должны быть готовы, — отвечает она.

— Кто должен прийти, Эвелин?

— Ты же и сама знаешь, — заговорщицки, словно это большой секрет, говорит она. — Неосторожные разговоры могут стоить жизни. Но мы должны быть готовы.

— Эвелин, никто не придет. Здесь нас всего четверо: мы с тобой и девочки.

Опускаюсь на колени рядом с ней. Накрываю своей ладонью ее руку, надеясь, что мое прикосновение вернет ее в эту реальность. Она стряхивает мою руку.

— Мы должны быть готовы, — говорит она мне. — Кто-то должен за всем приглядывать.

Она лезет в шкаф и достает следующую чашку. Подносит ближе к лицу, с озадаченным видом рассматривая ее непростой рисунок, где изображены цветы, ленты и листья. А потом, словно потеряв к чашке интерес, ее рука безвольно повисает. Чашка проскальзывает сквозь пальцы, падает на пол, разбивается. От этого звука ее охватывает дрожь.

Эвелин смотрит на осколки, словно не имеет к ним никакого отношения. Она поднимает цветочный осколок и рассматривает его, пытаясь что-то осмыслить.

— Вивьен, кто-то разбил чашку, — сердито и строго говорит она,

— Я разберусь.

— Кто-то попал в беду.

— Это неважно, — говорю я. — Никто не попал ни в какую беду. Давай-ка, ты поднимешься и сядешь.

Я помогаю ей встать на ноги и сесть в кресло.

— Но мы же не можем просто так сидеть и бить баклушки, — немного задыхаясь, говорит она. Произошедшее ее вымотало. — Мы должны все подготовить к чаю. Мы можем не успеть.

Понимаю, что должна потакать ее прихоти.

— Мы успеем, — говорю я.

Эвелин берет в руки свое вязание. Ее пустые глаза цвета бренди скользят по комнате.

— Кто-то должен прийти, — говорит она. — Помяни мои слова. Кто-то придет.

Но сейчас она менее уверена в том, что говорит.

Иду за совком и щеткой, чтобы подмети осколки.

Когда я возвращаюсь, Эвелин почти спит. У нее медленное и тяжелое дыхание, глаза закрываются. Ее веки покрыты лиловой сеточкой вен. Забираю у Эвелин вязание и обворачиваю одеяло вокруг ее колен.

# Глава 50

Июль. Летние каникулы. Долгими ленивыми днями Милли играет с Симоном. Каждый день она уходит после ланча, захватив старую школьную сумку, в которой лежит яблоко, а когда возвращается, сумка полна сокровищ: молочно-белая галька, ветка, из которой можно сделать рогатку, шелковистое синее перо ворона.

Она худенькая — обе мои девочки очень сильно похудели, — но ее кожа выглядит румяной и здоровой. Ее коленки постоянно в царапинах, платья — в пятнах от травы, а на носу россыпь веснушек, похожих на какао-порошок.

Однажды она не возвращается в положенное время. На столе готовый чай, а тень от груши уже пересекла двор, дотянувшись до стены дома.

Я иду к воротам и встревоженно вглядываюсь в сад и лес за ним. Боюсь, как бы Симон не втянул ее в какую-нибудь новуюshalость.

Но наконец она врывается во двор и одновременно машет рукой Симону, который убегает по дороге.

— Милли, ты опоздала. Я очень волновалась. — Я сержусь, потому что испугалась. — В следующий раз возвращайся раньше. Если такое повторится, я больше не разрешу тебе играть на улице.

Она не обращает никакого внимания на мое замечание.

— Было очень весело, мамочка. Мы с Симоном играли в сарае.

— Ты имеешь в виду сарай мистера Махи?

— Да. Я же сказала, мамочка.

Я думаю о сарае мистера Махи, о шаткой лестнице на сеновал и о старых сельскохозяйственных машинах.

— Мы не поднимались. Мы были очень осторожны.

— И, надеюсь, вы держались подальше от собаки мистера Махи.

— Мы шли вот так. — Она на цыпочках крадется через комнату. — Собака нас даже не видела.

После чая Эвелин уходит к себе в комнату, Бланш на диване читает одну из своих любимых книг Анжелы Бразл, а Милли подходит к стулу, на котором я сижу и штопаю. Она обнимает меня за шею и спрашивает:

— Мамочка, можно рассказать тебе секрет? Большой-пребольшой секрет?

От нее пахнет природой, яблочной зеленью дней, цветочной пыльцой, листьями и нагретым папоротником. Я чувствую, как ее темные шелковистые волосы касаются моей кожи.

— Да, милая.

Она театрально шепчет мне на ухо:

— В сарае мистера Махи живет призрак. Мы видели призрака.

Это заставляет меня встревожиться: ей уже шесть лет, в этом возрасте она уже должна знать разницу между настоящим и воображаемым.

— Милли, послушай. Иногда фантазировать очень весело. Но на самом деле призраков не существует.

— Существуют. Их можно увидеть.

— Нет, милая. Это всего лишь истории, такие же, как про ведьм и все остальное в

наших книжках со сказками.

Она смотрит на меня с подозрением.

Я чувствую себя виноватой. Я рассказывала ей слишком много сказок и поощряла ее веру во всякие воображаемые вещи. И когда Симон говорит об оборотнях или призраках — как в тот раз, когда он рассказал ей про оборота, который рыщет по дороге на Тортевал и хватает непослушных детей, — она ему верит.

— Ведьмы — это сказки. А мой призрак настоящий, — говорит она.

— Нет, милая. Призраки тоже сказки. — Я вспоминаю, как объясняла ей раньше, когда читала книгу сказок Гернси. — Это сказки, которые люди придумывают, потому что боятся темноты. Симон опять тебя дразнил.

— Нет, не дразнил. Я видела призрака своими глазами.

Она с торжествующим видом показывает на свои глаза, как будто это неопровергимое доказательство.

— Мам, — говорит Бланш, — какая разница? Она всего лишь ребенок. Дети верят всему. Дети верят в зубную фею, — продолжает она с деланной мягкостью. Потом откладывает книгу, встает с дивана и излишне крепко обнимает Милли. — Кто моя малышка?

— Бланш... оставь ее, — прошу я. — Не будь противной.

Милли выворачивается из рук сестры.

— Вы все противные. Никто мне не верит.

Ее голос пылает бессильным гневом.

Она крепко зажмуривает глаза, но слезы все равно текут из-под век.

# Глава 51

В нашей жизни появляется больше ограничений. Новые законы и правила, мы читаем о них в «Гернси Пресс». Запрещены гражданские радиоприемники. Немцы обыскивают дома, и если находят приемник, то отправляют вас в тюрьму во Францию.

Люди жалуются: очень раздражает, когда тебя лишают новостей.

Но Джонни воодушевлен.

— Это потому, что теперь война идет не слишком удачно для них, — рассказывает он мне. Его глаза блестят, карие и яркие, словно осень. Он не говорит напрямую, но я подозреваю, что они прячут радио у себя на ферме Вязов. — Они не хотят, чтобы мы знали. Вопрос боевого духа, тетя.

Меня поражает Джонни, его умение во всем находить причины для надежды.

Изменяется и распорядок наших дней. Теперь Бланш редко слушает наши вечерние сказки. После чая она уходит в гости к Селесте. Там они валяются на кровати, листают «Vogue» и делятся красочными мечтами о будущем — прекрасном будущем, в котором есть жемчуга, помада и ярко-красные замшевые туфли-лодочки.

— Мам, ни за что не догадаешься, о чем рассказала мне Селеста, — однажды говорит она тихим, полным тайны голосом. — Ее мама прячет радиоприемник. Она не сдала его.

Я моментально начинаю волноваться. Что, если немцы его найдут? Если они придут, а Бланш будет там, обвинят ли и ее тоже? В моем воображении с ужасающей реалистичностью разворачиваются кошмарные картины: Бланш и Селеста арестованы и отправлены в тюрьму.

— Но, Бланш... ведь это очень опасно.

Бланш усмехается.

— Не там, где она его хранит. Она прячет его в гробу у мистера Озана. — Мистер Озан владеет похоронным бюро. — Они же не станут искать там, верно?

Так что теперь именно Бланш держит нас в курсе военных действий. Мы слышим про сражения в пустынях Северной Африки, а в России немцы форсировали реку Дон и приближаются к огромному городу Сталинграду. Я не уверена в том, что Джонни прав: ни в одной из этих новостей я не вижу причин для надежды.

\* \* \*

Я пеку кекс из фасолевой муки, воспользовавшись рецептом из приходского журнала. Нужно высушить стручки фасоли в духовке, измельчить их в мясорубке, просеять и снова пропустить через мясорубку, пока они не превратятся в муку. Похоже, что даже для небольшого количества муки понадобится очень много фасоли. Потом муку надо смешать с жиром, добавить молоко, немного меда и изюма, а затем запечь в форме. Кажется, на этот процесс уходит вечность.

До войны девочки любили время, когда я доставала большую желтую миску и делала кексы или бисквиты. Они помогали мне замешивать тесто и обожали выскребать остатки сырого теста из миски, чтобы съесть, будто это самое роскошное угощение. Потом мы делали глазурь, розоватую от кошенили, и Милли каждый раз вздрагивала, слушая, что этот

краситель делают из толченых паучков. Но кекс из фасолевой муки их не заинтересовал.

Мы подали его к чаю, после овощей из огорода: вареной картошки, горошка и капусты. Кекс оказался пресным и довольно комковатым.

— По вкусу похоже на опилки, — говорит Милли.

— Ты даже не знаешь, какой вкус у опилок, — отвечает Бланш.

— А вот и знаю. Знаю. У них вот такой вкус.

Бланш пожимает плечами.

— Не слушай ее, мам. На самом деле он не так уж и плох... Ну, во всяком случае, когда голодаешь. Иногда я чувствую себя такой голодной, что могла бы съесть свои волосы, — говорит она.

Я понимаю, что Милли имеет в виду. Кекс напоминает промокашку, как будто он впитывает всю влагу во рту. Наверное, мне не хватило терпения, и я недостаточно долго измельчала бобы в мясорубке. Жуешь, жуешь, но нужно много времени, чтобы его проглотить. По крайней мере кекс наполняет желудок.

Бланш отодвигает тарелку и тихонько вздыхает.

— Иногда мне снится еда. Мне снился рулет с джемом, такой, который ты делала раньше, с клубничным джемом. Во сне я даже чувствовала вкус джема. И щербет... иногда мне снится щербет. — Ее голос полон острой тоски по прошлому. — И ириски, и лакричные конфетки, и мятные леденцы...

— Мне снился пудинг из патоки, — говорит Милли, стараясь перещеголять сестру. — С большой-пребольшой порцией заварного крема.

— А ты, Эвелин? — спрашиваю я. — Тебе снится еда?

— Не знаю точно, Вивьен, — отвечает она. — Хотя мне очень нравится хорошее жаркое. Когда у нас снова будет хорошее жаркое на ужин, Вивьен?

— Это сложно, — говорю я. — Но я посмотрю, что смогу сделать.

— А что снится тебе, мам? — спрашивает Бланш. — Какая самая лучшая еда?

Я думаю о той первой плитке шоколада, которую принес Гюнтер, о бархатной мягкости на языке, о волне сладости.

— Мне тоже нравится рулет с джемом, — отвечаю я.

После чая у нас осталось четыре кусочка кекса, и я убираю его в шкафчик. Он находится в самом холодном месте в дальнем конце кладовки и закрывается плетеной дверцей, чтобы обеспечить доступ воздуха и не пропускать мух. Я храню там еду, чтобы не заветрилась, масло и молоко. Мы доедим кекс завтра.

Следующим вечером я готовлю овощное рагу, а Бланш гладит белье. Я расстелила покрывало для глажки на кухонном столе. Слышно тихое шипение ткани, и комнату наполняет уютный запах горячего чистого белья.

Бланш гладит одну из своих блузок в складочку, потом встряхивает ткань и очень аккуратно складывает. Она очень педантична. Я знаю, что из нее выйдет намного лучшая хозяйка, чем я. Эту блузку она наденет после вечернего чая, чтобы пойти к Селесте.

Пока рагу медленно кипит, я иду в кладовку за оставшимися кусочками кекса из фасолевой муки.

— О, нет.

Тарелка пуста.

— Что такое, мам? — встревоженно спрашивает Бланш.

На какое-то мгновение меня охватывает страх, что я теряю разум: путаюсь, как Эвелин,

и забываю, что делала.

— Мне казалось, что у нас оставалось немногого кекса. Я знаю, что оставалось, — отвечаю я.

В моем голосе слышится злость. Внезапно я ощущаю прилив жалости к себе, а глаза наполняются горячими слезами. Я так стараюсь, так много работаю. И вот такое. Я понимаю, что этот резкий бессильный гнев из-за вечного недоедания и усталости, и стараюсь избавиться от него.

Бланш настороженно смотрит на меня, она боится, что я стану винить ее.

— Мам, ты же знаешь, что это не я, да? Ты знаешь, я никогда бы так не сделала.

— Я тебя не виню.

— Я знаю, что мы должны быть бережливы из-за войны и прочего, — говорит она. — Я знаю, что мы не можем просто есть все, что захотим.

— Бланш, я правда верю, что это не ты. Просто странно, вот и все. Я не понимаю.

Услышав наши напряженные голоса, в комнату проскальзывает Милли.

— В чем дело, мамочка?

Ее глазки широко раскрыты от любопытства.

— Фасолевый кекс. Он пропал, — говорю я.

— Но он же никому не понравился, — отвечает она. — Почему ты так расстроена?

— Я просто не понимаю, что случилось.

У меня мелькает мысль, уж не Милли ли это? Но ей действительно не понравился кекс. Потом мне в голову приходит, что в дом мог кто-то забраться. Тот, кто забрался сюда в тот далекий день, когда мы чуть не уплыли, — Берни Дори или кто-то еще — вернулся и обчистил нашу кладовку. Но я понимаю, что это безумное предположение. В наш дом никто не забирался. Потому что ничего больше не пропало.

## Глава 52

Иду по дороге к Ле Рут. Стоит томный августовский денек. Солнечные луга, залиты солнцем, воздух наполнен смесью ароматов, и во всех садах, мимо которых я прохожу, карнавал разноцветья. На короткий миг я забываю о войне.

Мы с Энжи расположились на складных стульях на улице, недалеко от двери в кухню. Тёплый бриз ласкает нашу кожу и ерошит листья бузины, ветви которой потяжелели от ягод, черных и манящих, как лакричные конфеты. Интересно, будет ли Энжи собирать их для вина, как она делала раньше, когда был жив Фрэнк. Но, возможно, у нее не осталось сил, и она оставит их, пока сами не опадут.

Энжи держит в руках корзинку с вязанием.

— Вивьен, поможешь мне сматывать эту шерсть в клубки? — спрашивает она.

Я протягиваю руки вперед, а она надевает на них моток пряжи и начинает умело и ровно сматывать клубок. В кронах шепчушихся вязов вокруг фермы лесные голуби лениво поют свои песни.

Во взгляде Энжи появляется новое выражение, скрытное и отчужденное.

— Ты выглядишь какой-то притихшей, Энжи, — нерешительно начинаю я.

Она улыбается, коротко и печально.

— А ты многое замечаешь, Вивьен. Ты права... я думаю кое о чём. О том, что мне рассказал Джек.

Меня охватывает дурное предчувствие.

— Он все еще работает на Олдерни? — спрашиваю я.

Она слышит неловкость в моем голосе, но неправильно ее истолковывает, думая, что я не одобряю Джека.

— За это хорошо платят, Вивьен, вот в чем дело. Ты не должна его винить.

— Конечно, я понимаю. Я не виню его, Энжи.

— Некоторые говорят, что ему не следует этого делать. Из-за этого у него много проблем с людьми, которые считают, что могут указывать другим, как себя вести.

— Люди любят искать виноватых, — отвечаю я.

На секунду она перестает мотать шерсть и держит клубок в руке так, словно это что-то хрупкое, нуждающееся в защите. Я опускаю руки, потому что они начинают болеть. Когда она снова говорит, ее голос хриплый и приглушенный, мне приходится немного наклониться к ней, чтобы расслышать. Легкое движение воздуха заставляет листья бузины задрожать.

— Они отправили Джека нырять в гавани, — рассказывает она. — У них там, в гавани Олдерни, заграждение против подводных лодок. Джек сказал, что оно похоже на большую сеть. Она запуталась, и Джеку нужно было с этим разобраться. Он мастер на все руки. Он хорошо ныряет, наш Джек...

Ее лицо очень близко к моему, теплое дыхание касается моей кожи.

— Он сказал, что в воде полно костей. Костей и гниющих трупов. Он сказал, что теперь не может спать.

Меня пронизывает ледяная дрожь. Я молчу.

— Этих несчастных убивают. Их бьют, или, может, они умирают от работы — ужасной работы, которую их заставляют делать, — и сбрасывают в гавань. Там кругом смерть, говорит Джек, смерть и кости. Сплошные скелеты и трупы, которые обвешают крабы и

омары. По ночам он не в состоянии сомкнуть глаза, чтобы не видеть эти кости.

Оставшуюся шерсть мы сматываем в тишине.

# Глава 53

Джонни приходит навестить меня, приносит мешок картошки и немного клеверного меда от Гвен, а я показываю ему свой сад. Он задерживается около загона для кур и критически оглядывает птиц.

Он указывает на одну из кур, которая притаилась в углу, выглядит вялой и ничего не ест.

— Да, я заметила.

— Похоже, остальные ее заклевали, — говорит он. — Они ее забыют, тетя. Куры могут быть очень жестокими. Вам нужно поторопиться. Если хотите, я сам это сделаю.

— Спасибо, Джонни. Я знаю, что сделаешь. Но я собиралась сама. Помнишь, ты однажды сказал мне? Мы делаем то, что должны.

Он морщит нос, когда улыбается.

— О, тетя, я впечатлен. Не знал, что вы такая.

Я счастлива от его слов: мне нравится впечатлять Джонни.

Я вручаю ему банку с консервированными сливами для Гвен, и он уезжает, опасно вихляя, так что стеклянная банка громыхает в одной из корзин, подвешенных к багажнику его велосипеда.

Я выбираю время, когда Милли гуляет: не хочу, чтобы она видела. Поймать курицу оказывается непросто. Мне не нравится, как ощущается ее прикосновение к коже, мягкое, как перышко, и одновременно колючее. Каждый раз, когда я уверена, что поймала ее, она улетает из моих рук, словно предчувствует грозящую ей участь.

Остальные курицы кудахчут и создают какофонию звуков. Наконец я загоняю ее в угол. Держу курицу левой рукой, а правой сжимаю ее голову. Я закрываю глаза, и слышу хруст костей. Она продолжает бить крыльями даже после того, как ее шея сломана. Я ощущаю легкий приступ тошноты и сглатываю. В конце концов курица затихает и безвольно повисает в моих руках.

Позже я ошипываю и потрошу ее, как меня учила Энжи, и чувствую молчаливое удовлетворение от того, что научилась это делать.

Я зажариваю курицу с картошкой, которую принес Джонни.

— М-м-м, — говорит Бланш, когда приходит с работы. — Какой запах. Очень вкусно пахнет.

— Сегодня вечером у нас настоящий ужин, — отвечаю я.

Она понимающе усмехается:

— Рапунцель? Она выглядела довольно слабой.

— Боюсь, что так.

— Не беспокойся, я не скажу Милли. Я знаю, что она не любит есть то, что носит имя.

Я добавляю на сковороду немного оставшейся фасолевой муки, чтобы загустить соус и получить вкусную темную подливу. Накрываю стол по всем правилам: салфетки в серебряных кольцах и наши лучшие фарфоровые тарелки. Приношу курицу. Аромат сочного мяса висит в воздухе, как благословение, и наполняет наши рты слюной.

— Вот, Эвелин. Хорошее жаркое на ужин, как ты и хотела, — говорю я.

Но Эвелин сурово смотрит на меня. Ее губы неодобрительно поджаты.

— Почему ты забиваешь птицу, Вивьен? Это мужское дело.

— Когда нет мужчины, это становится женским делом.

Недовольство мелькает на ее лице и исчезает, мимолетное, как струйка дыма.

— Мам, нужно произнести молитву, — говорит Бланш.

Поэтому я прошу Эвелин прочитать молитву, и она откашливается, довольная, что ее попросили.

— Господи, благослови нас и эти дары... — Она запинается, ее лицо затуманивается. Девочки присоединяются и помогают ей закончить молитву. Пусть Господь сделает нас действительно благодарными.

У нас счастливый ужин, полный смеха и болтовни, как в Рождество, как на праздник. Такое прекрасное чувство насыщения: тот вид спокойствия, который приходит, только когда живот наполнен.

Эвелин удовлетворенно кладет свой нож на тарелку. Ее губы блестят от жира, она чинно промокает их салфеткой.

— Нам надо почаще делать курицу. Почему мы не делаем курицу чаще, Вивьен? — спрашивает она.

— Идет война, помнишь?

— Ох, — отвечает она. — Ох. Правда, Вивьен?

Когда Эвелин уходит к себе в комнату, я убираю со стола. Ставлю остатки курицы в шкафчик для продуктов. Из кусочков мяса я приготовлю хорошее сытное рагу, а кости прокипячу с луком и шалфеем и сделаю наваристый суп. Так хорошо знать, что мы будем есть в следующий раз.

Я сижу в гостиной с корзиной для штопки. Сегодня Бланш осталась дома, у нее в руках один из журналов Селесты. Она листает страницы с нарядами, разглядывая фотографии блестящих, высокомерных женщин, страстно желая такие же атласные перчатки с защипами и кокетливые шляпки с вуалью.

— Смотри, мам. Такое красивое...

Это вечернее платье от Скиапарелли, экстравагантное, с открытой спиной, ласково прилегающее к бедрам и расширяющееся к низу. Я рассказываю Бланш историю о Скиапарелли, которую когда-то слышала, — о том, как она сделала шляпу в виде птичьей клетки с канарейками внутри.

Бланш хихикает.

— Мам, ты меня разыгрываешь.

— Нет. Это правда, уверяю тебя.

На полу Милли, стоя на коленях, играет в кукольный домик. Золотистый вечерний свет льется в нашу комнату, наполненную запахом лаванды, к которому примешивается насыщенный, тягучий аромат роз, растущих под окном

Неожиданно во мне расцветает гордость, словно цветок в теплых лучах солнца, — гордость за то, чего я достигла: моя семья накормлена и в безопасности, мои девочки еще улыбаются. Я думаю: «Мы живы. Каким-то образом, несмотря ни на что, мы справляемся».

Милли деловито расставляет кукол по комнатам.

— Я снова видела призрака, — объявляет она ни с того ни с сего. Слова падают в тишине комнаты, как галька в пруд, порождая круги на его неподвижной поверхности. — Призраки очень-очень страшные.

Ее головка опущена, и волосы свободно падают вперед, затеняя лицо.

Бланш шумно выдыхает.

— Ради Бога. Только не это.

— Страшные, да, — говорит Милли.

Бланш поднимает брови. Милли понимает, что та не воспринимает ее слова всерьез.

— Страшные, — повторяет она.

Она возится с одной из кукол, пытаясь заставить ее стоять, но кукла все время падает. Милли недовольна. Она швыряет куклу на пол.

Я встаю на колени рядом с ней и беру ее голову в ладони, стараясь завладеть ее вниманием. Ее лицо очень близко к моему. Я вижу золотистые искорки в ее темных глазах.

— Милли, никаких призраков нет. Призраков не существует. Тебе нечего бояться.

— Но я не боюсь. Я ничего не боюсь. Мне уже шесть лет, и я не боюсь даже темноты. — Она ускользает у меня из рук, как вода. — Призраки очень-очень страшные, но я совсем не боюсь. А ты испугалась бы, — говорит она Бланш.

Бланш пожимает плечами. Она листает журнал, продолжая грезить о шелковых корсажах и мерцающих пастельных платьях.

— Призраки белые и жуткие, и они очень-очень грустные, — говорит Милли.

— С чего бы это им быть грустными? — устало спрашивает Бланш.

— Конечно, они грустные. Потому что они мертвые, — отвечает Милли.

— Конечно. Как же я не догадалась.

— Бланш, не провоцируй ее, — велю я.

— Они очень тихо ходят, — говорит Милли. — Они бесшумно крадутся, и их прихода совсем не слышно.

Она встает и на цыпочках идет по комнате, вытянув вперед руки и шевеля пальцами, изображая призрака. Бланш картино вздыхает и возвращается к своему журналу. Милли останавливается за спинкой стула Бланш и начинает зловещим шепотом:

— Они подходят все ближе и ближе, а потом...

— У-у-у-у! — кричит она прямо в ухо Бланш. Та подпрыгивает ироняет журнал, хотя она, должно быть, предвидела это.

— Милли, ради Бога. — Она злится на сестру за то, что та ее испугала. — Хватит с меня твоих дурацких призраков. Повзрослей, ясно?

Милли не обращает на нее внимания. Она с серьезным видом возвращается к кукольному домику — сама невинность.

— Мам, ты должна с ней поговорить. Она невыносима, — жалуется Бланш.

— Я же говорила, что ты испугаешься, — самодовольно говорит Милли.

\* \* \*

Когда следующим днем я заглядываю в шкаф для продуктов, куска курицы нет.

Меня охватывает бессильный гнев. Я думаю обо всех усилиях, которые предприняла, чтобы приготовить это блюдо: вырастила курицу, кормила ее, заставила себя свернуть ей шею, ощипать и выпотрошить ее — думаю обо всем, чему научилась, чтобы у меня получилась сытная еда. А теперь нет целой ножки. Мои глаза наполняются слезами, и я стараюсь их сморгнуть.

Говорю себе, что это кот. Должно же быть объяснение: я оставила открытой дверь продуктового шкафа, а Альфонс пробрался туда. Он сейчас почти дикий, питается птицами

и грызунами, потому что я мало что могу ему дать. Он ухватился бы за возможность достать немного доступного мяса. Но если это сделал Альфонс, то почему он стащил только ножку? И почему она была аккуратно отломана? Почему я не нашла разбросанных костей?

Милли с сияющими глазами вбегает в дом. К ее джемперу прицепились репы, а в волосах запутались травинки.

— Мы поймали колюшку. В ручье в Белом лесу. Она была очень большая, мамочка. Вот такая. — Она руками показывает, насколько большая. — Потом мы ее отпустили.

Она поднимает глаза, видит выражение моего лица и хмурит брови.

— Что такое? Ты мне не веришь? — спрашивает она.

— Из шкафа пропал кусок курицы, — говорю я. — Это ты его взяла, Милли?

Я почти жалею, что спросила. Мой вопрос стирает счастье с ее лица, и оно становится пустым, как закрытая дверь.

Она мотает головой.

— Я не ела курицу, — говорит она невыразительным, упрямым тоном.

Я встаю на колени перед ней и беру ее лицо в ладони. Ее кожа разогрелась от бега.

— Милли, посмотри на меня.

Она смотрит. Я чувствую ее дыхание на своем лице.

— Ты говоришь правду? Это на самом деле так?

Она смотрит мне в лицо, но ее глаза пусты и ничего не выдают.

— Да, это правда.

— Ты же знаешь, какая трудная жизнь сейчас, да? У нас не очень много еды.

— Да.

Но я чувствую, что не могу достучаться до нее.

— Мы должны делить ее поровну. Это очень важно, Милли.

— Я знаю, — говорит она. — Я знаю, что мы должны делить ее поровну. Поверь, мамочка. Я вовсе не ела ее.

Я пребываю в неуверенности. Может быть, она не брала курицу. Мне не верится, что она так нагло соврала мне. Но возможно, что я ошибаюсь. Возможно, я опять иду на уступки. Я чувствую себя разбитой. Неужели я неправильно вырастила дочерей?

В голове раздаются слова Эвелин, благочестивые, неодобрительные. Она частенько говорит: «Детям нужна дисциплина. Ты слишком мягка с девочками, Вивьен, так ты только накапливаешь проблемы... Поверь, ничего хорошего из этого не выйдет».

## Глава 54

Гюнтер приносит мне хлеб из своего пайка.

— Ты уверен, что можешь поделиться? — спрашиваю я.

— Я счастлив это сделать, — отвечает он.

Я очень ему признательна. Беру хлеб, проводя пальцами по жилам на его запястьях, и притягиваю Гюнтера к себе.

— Спасибо.

Мы съедим этот хлеб с куриным супом, который я приготовила.

На следующий день, когда Милли играет с Симоном, я иду в кладовку, произнеся короткую молитву о том, чтобы все было, как следует. Открываю дверь в кладовку и поднимаю крышку хлебницы. Нет. Половина буханки исчезла. Она не оторвана, а отрезана, но неумело, кем-то, кто еще не научился хорошо пользоваться ножом.

Когда Милли возвращается домой, я ищу сумку, с которой она ходит гулять. Она бросила ее в коридоре. Развязываю сумку, чувствуя, как в животе бабочкой бьется паника, будто уже все знаю, еще не заглянув внутрь. Сумка пахнет яблоками. Я переворачиваю сумку, и из нее вываливаются все сокровища, которые Милли собрала: веточки, маленькие голубые камешки, голубиное перо. Хлебные крошки.

Мне не по себе: в голове крутятся неприятные вопросы. Где я ошиблась? Почему моя дочь не говорит правду? Я что-то сделала не так? Или все дело в сказках, которые мы читали? Какая бы причина ни была, я провалила самую важную задачу родителя: позволила ей жить в мире фантазий, и она не умеет различать, что правильно, а что нет.

Из гостиной доносится ее мелодичный смех. Иду туда. Она играет с детской коляской, которой я пользовалась, когда девочки были маленькими. Милли пытается засунуть внутрь, под простыню, Альфонса.

— Милли, у нас пропал хлеб. Это ты его взяла?

Ее смех обрывается.

— Нет, мамочка, — отвечает она высоким голосом, словно пытаясь проверить, как будут звучать ее слова.

Кот выползает из коляски. Она хватает его, Альфонс пытается вырваться.

— Милли, отпусти кота. Ты должна меня выслушать.

Она позволяет Альфонсу ускользнуть. Он оставляет на ее запястье красные, словно нити шелка, царапины. Но Милли их не замечает. Девочка немного напугана. Я не часто разговариваю с ней так резко.

— Ты не должна красть еду, — объясняю я. — Это очень, очень нехорошо. Это нечестно по отношению к остальным.

— Да, нечестно, — отвечает Милли бесцветным голосом.

— Ты же знаешь, как ее мало. Еду нужно делить поровну, — говорю я строгим, жестким и высоким голосом. — Я всегда даю тебе яблоко, когда ты уходишь играть с Симоном. Это все, что у нас есть.

Но у нее непроницаемое выражение лица. Почему-то я не могу до нее дотронуться.

— Я этого не делала, — говорит Милли. — Я не ела хлеб.

Сейчас ее голос звучитзывающее, словно она репетировала, что скажет.

— Милли, я нашла крошки в твоей сумке.

— Нет, мама, не находила, — говорит она.  
Я приношу сумку и показываю хлебные крошки.

— Я этого не делала, — настаивает Милли.  
Я в ужасе от того, что она вот так запросто мне лжет.  
— Милли, ты же знаешь, что нужно говорить только правду.

Я понимаю, что должна злиться, должна накричать на нее, ударить. Но у нее такое несчастное лицико, что я не могу этого сделать.

— Обманывать нельзя, — говорю я.  
— Почему? — интересуется она.

Пытаюсь прокрутить ответ в голове. Потому что честность очень важна. Потому что мы должны доверять друг другу... Но моя жизнь... все мое счастье... основано на тайнах и лжи.

— Некоторые вещи просто недопустимы, — объясняю я. Но мой голос какой-то пустой, как чрево пещеры. Мой дар убеждения бесследно исчез. — Ты должна пообещать мне, что никогда так больше не сделаешь.

— Но я и не делала, — снова говорит она. — Я не ела хлеб.

# Глава 55

— Вивьен, тебя что-то беспокоит.

— Да.

— Расскажешь?

Его голова покоится на подушке, я приподнимаюсь на локте и заглядываю ему в лицо. Даже в слабом свете свечей заметно, насколько он изменился за время нашего знакомства. Стал старше: волосы побелели и поредели, на лбу появились морщины. Я смотрю и гадаю, как же я выгляжу в его глазах, насколько я изменилась с того момента, как он впервые увидел меня в переулке, где гуляли порывы душистого ветра. Я знаю: за месяцы и годы, что идет война, я не стала краше.

Откашиваюсь

— Милли. Она крала еду. Но что бы я ей ни говорила, она пропускает мимо ушей. Полагаю, она просто не понимает, насколько это серьезно, особенно сейчас, когда еды так мало.

— Молодому организму очень трудно справляться с голодом, — говорит он.

— Но это еще не все. Она придумывает всякие разные истории. Продолжает настаивать, что там, где они играют, водится призрак. В амбаре. Какие-то странные выдумки. Но, похоже, она сама в это верит.

— Что за амбар? — спрашивает Гюнтер.

— Земля Питера Махи перед Белым лесом. Они с Симоном там играют. Это ее друг Выдумывают всякое и играют.

— Так ведь многие дети так играются, — успокаивая меня, говорит он.

— Но эта фантазия захватила ее настолько, что уже кажется реальностью, перешедшей в наш повседневный мир. Я хочу сказать, что это ненормально. И из-за войны ситуация ухудшается. Но я-то пытаюсь сделать так, чтобы их жизнь текла как обычно.

— Да, я знаю, что пытаешься.

— Может, это моя вина? Может, я читала ей слишком много сказок?

Он улыбается... той улыбкой, что мне так нравится, что заставляет его глаза лучиться.

— Невозможно читать слишком много сказок, — говорит Гюнтер. — С детьми такое просто невозможно.

— А еще меня беспокоит, что она лжет. Она взяла немного того хлеба, что ты принес, и заявила, что не ела его. Но я нашла крошки в ее сумке.

— Думаю, тебе не стоит переживать. Милли еще очень маленькая. Многие дети живут в двух мирах: нашем и своем собственном.

— Думаешь? Другие дети... думаешь, они верят, что их фантазии настоящие?

Он выдыхает сигаретный дым. Из-за голубых завитков его лицо становится расплывчатым.

— Когда я был маленьким, — говорит Гюнтер, — у меня был воображаемый друг.

— О.

Я очарована.

— Я тогда был примерно того же возраста, что Милли сейчас. До того, как мама снова вышла замуж, — говорит он, и его лицо мрачнеет.

— Да. — Я вспоминаю, что он рассказывал мне про своего отчима. Тянусь и провожу

рукой по его лицу и голове, с любовью ощущая обнаженную кожу и коротко стриженые волосы. — Расскажи мне про своего воображаемого друга.

Он немного заливается румянцем, стесняется.

— Во время обеда мама ставила тарелку и для него.

Я околдована.

— Как его звали? Твоего друга? — спрашиваю я.

Он улыбается легкой, самоироничной улыбкой.

— Его звали Уильям.

— Уильям?

— Как вашего писателя Уильяма Шекспира. Это единственное английское имя, которое я знал. Я считал его очень утонченным, — говорит Гюнтер.

Это заставляет меня улыбнуться и не оставляет равнодушной. Мне нравится представлять его маленьким мальчиком. Хотелось бы дотянуться до него через годы и обнять.

Задеваю свечи. Моя голова лежит на груди Гюнтера, меня окружает запах его кожи, слышу сонный стук его сердца. Я проваливаюсь в глубокий сон.

Просыпаюсь, когда он уходит холодным утром с первыми грачами и серым предрассветным лучом. Его нет, и меня охватывает смутное беспокойство... словно темный мотылек порхает в глубине сознания... я не понимаю, откуда это ощущение.

# Глава 56

Приходит осень, наступает учебный год, и Милли снова ходит школу. Я чувствую облегчение. При таком количестве ежедневной школьной работы (расписание занятий, чтение книг, заучивание правил написания слов) у нее не останется много времени на выдуманный мир, который они придумали с Симоном. Я подстригаю ее и отпарываю подшитый подол: Милли очень выросла за время каникул.

В воскресенье Бланш будет читать в церкви отрывок из Библии.

— Мама, я бы хотела, чтобы ты пришла. Хочу, чтобы ты послушала меня, — говорит она, требовательно глядя на меня синими, как лето, глазами.

— Я бы с удовольствием, милая, — отвечаю я. — Но я боюсь оставлять бабушку одну.

— Но не только поэтому, да? — спрашивает она. — Я знаю, что на самом деле ты больше не веришь Библии, с этой войной и прочим. Но мне бы хотелось, чтобы ты верила. Для всего в мире есть Божий замысел, мам. Должно быть, это — часть его замысла.

— Не знаю, милая, — говорю я и перевожу разговор на более простые вещи. — Но мне действительно не хочется оставлять бабушку одну. Кроме случаев, когда мне просто приходится это делать.

— Тебе придется в воскресенье. Бабушка спокойно останется на пару часов. Пожалуйста, мам.

Так что мы с Милли надеваем свои лучшие платья и вместе с Бланш отправляемся на утреннюю службу.

И хотя я не уверена в своем отношении к Богу, я все же получаю удовольствие от службы, находя некоторое утешение в знакомых словах молитв. «Поспеши, Боже, избавить меня. Поспеши, Господи, на помощь мне...»

Мне нравится мерцание свечей на алтаре и золотистый солнечный свет, льющийся в окно и ложащийся на ступени алтаря отблесками самоцветов. Большая часть службы проходит так же, как и до оккупации, но нам не разрешается молиться за нашу страну, хотя мы все еще можем молиться за короля.

Мы читаем молитву общего покаяния, бормотание прихожан едва поспевает за пастором, эхо тихих голосов рокочет в нефе. «Всемогущий и милосердный Отче, мы согрешили и уклонились от путей Твоих, подобно потерянной овце. Мы неукротимо следовали стремлениям и желаниям своего сердца...»

Повторяя эти слова, я ощущаю себя отделенной от остальной паствы, размыщляя о том, как они отнеслись бы к моим действиям, насколько греховной посчитали бы мою любовь к Гюнтеру.

Бланш идет к кафедре, чтобы начать чтение. Поначалу она стесняется и слегка заикается, такое иногда бывает, но затем ее голос звучит громче и увереннее. Глядя на нее со стороны, я понимаю, как она меняется, становится женщиной: ее тело становится мягкче, черты лица — более определенными.

Я знаю, она до сих пор жалеет о том, что мы не уехали в Лондон. Она верит, что ее надежды на счастье лежат далеко от этих мест: в далеком будущем или на том берегу пролива — где угодно, только не здесь. Мои глаза наполняются слезами, когда я смотрю на нее и чувствую ее тоску по всем вещам, которыми она не может обладать, потому что растет в военное время. Меня беспокоит, найдет ли она когда-нибудь то, чего ищет.

Бланш возвращается на нашу скамью, ее щеки окрашены ярким румянцем от удовольствия и неловкости одновременно. Мы слушаем проповедь, сегодня она про рай и ад.

Пастор говорит, что это не реальные места, по крайней мере, не в том смысле, в котором мы понимаем Сент-Питер-Порт. Ад и рай — состояния бытия. В раю мы навеки вместе с Богом, а самой страшной мукой ада, страшнее, чем мириады прочих мучений, является отсутствие Бога.

После службы я болтаю с Сьюзан Гальен, которая хвалит чтение Бланш. Сьюзан, как всегда, элегантна. На ней льняное платье кораллового цвета. Но что-то в ее улыбке, сладкой, словно глазурь, заставляет меня стиснуть зубы. Пока мы разговариваем, девочки идут впереди.

Я прощаюсь, когда это позволяют рамки приличия, и догоняю Милли и Бланш. Они увлечены разговором, их головы склонены друг другу, отливая золотом в переменчивом свете переулка, закрытого сверху кружевом ветвей. Девочки обсуждают проповедь. Я удивлена, что они были настолько внимательны.

— А я знаю, что такое ад, — говорит Милли. — Оттуда пришел мой призрак.

Очень прозаично.

— И с чего это ты решила? — спрашивает Бланш.

— Потому что он сам сказал, глупая. Он там живет. Он живет в аду, — отвечает Милли.

Бланш поворачивается к ней лицом. Мне кажется, она хочет сказать сестре, чтобы та не называла ее глупой. Но она внезапно становится серьезной — осознает свою роль во всем происходящем и обеспокоена словами Милли.

— Милли, не стоит выдумывать разного рода истории про ад.

— А я ничего и не выдумываю, — настойчиво и решительно говорит Милли.

— Я серьезно, Милли. Об этом не стоит шутить. Люди попадают в ад, если в течение жизни совершили плохие поступки и не верили в Иисуса.

Бланш торжественна и серьезна, она беспокоится за душу сестры.

— Мой призрак хороший, — говорит Милли.

— Нет. Если он живет в аду, значит, он плохой, — настаивает Бланш. — В своей мирской жизни он был плохим.

— Он не плохой.

Бланш поджимает губы. На лице появляется раздражение, которое возникает всякий раз, когда сестра ведет себя подобным образом.

— В любом случае, ад — это не то место, куда ты можешь нырнуть и вынырнуть, — говорит Бланш. — Люди никогда не возвращаются из ада. Если ты попадаешь в ад, тебе оттуда уже не выбраться. Так написано в Библии. Это ты должна знать.

— Но они возвращаются. Возвращаются. Иногда, — не сдается Милли, но в ее голос вползает неуверенность. Я вижу, как у нее дрожат губки.

Догоняю их и тянусь за рукой Милли... но она дергается от моего прикосновения. Милли выламывает палку из живой изгороди. Отвернувшись от меня и сестры, она сбивает ею растения, мимо которых мы проходим. Ее глаза блестят от слез, но ей не хочется, чтобы мы их видели.

# Глава 57

Гюнтер на две недели собирается в отпуск.

За ночь до своего отъезда, он поднимается за мной в спальню. Я закрываю дверь и поворачиваюсь к нему, но он не спешит заключать меня объятия. Гюнтер тяжело опускается на кровать. У него серьезный вид. Гадаю, что будет дальше.

— Я должен кое-что тебе сказать, — говорит он. — Услышал недавно. Существует план по депортации тех людей, которые не являются коренным населением этого острова... которые родились не здесь.

— Такие, как я. Я здесь не родилась.

— Да, такие, как ты, — говорит Гюнтер.

Я пытаюсь осознать сказанное. Пронзительный, лихорадочный голос в моей голове пытается убедить меня, что все будет хорошо. Они ведь не сделают этого с людьми, которые не доставляют никаких неприятностей... особенно матери с маленькими детьми. Они не сделают этого... в этом нет никакого смысла. Это же просто неразумно, ведь детям нужны матери, это всем известно...

А если все-таки людей высылают, то, наверняка, во Францию: на месяц или два. Островитян там сажают в тюрьму. Говорят, все не так уж и ужасно, в большинстве своем они возвращаются домой.

— И куда увозят? — спрашиваю я.

— В Германию, в лагеря для интернированных, — отвечает Гюнтер. — До окончания войны.

Земля уходит у меня из-под ног.

— Нет. Нет. — Не могу поверить, что он так спокоен, так безмятежен, объявляя мне об этом. Меня охватывает страх. — Что будет с моими детьми?

В моем голосе слышатся слезы. Я вижу, как на меня неумолимо надвигается то, чего я боялась больше всего: у меня заберут детей.

— Вивьен.

Гюнтер кладет свою руку на мою. В его прикосновении я чувствую утешение. Мир возвращается в равновесие. Я тут же понимаю, почему он так спокоен.

— Ты можешь что-нибудь сделать? Ты можешь мне помочь? — спрашиваю я.

Он кивает.

— Сделаю все, что в моих силах. Возможно, кое-какие имена в списках не появятся.

— Ты сможешь это сделать? Сможешь?

— Думаю, да. Полагаю, могут быть некоторые исключения. Но ты не должна об этом никому говорить. Никому.

Это как раз самое простое. Я привыкла к скрытности.

Когда он уходит утром, а я провожаю его до двери, на меня накатывает вся пронзительность грядущего расставания. Я цепляюсь за него, не в силах отпустить.

Гюнтер отрывает мои пальцы от своей руки. Целует мои руки.

— Всего две недели, и я вернусь к тебе, — говорит он.

— Во время войны две недели — это очень долго. Всякое может случиться.

— Вивьен, я вернусь к тебе. Обещаю.

Наблюдаю, как он идет через мой двор в бледных лучах восходящего солнца. Небо

кажется таким далеким. Оно переливается, словно жемчужина.

Возвращаюсь в спальню, но без него кровать кажется пустой. Я уже по нему скучаю... словно оторвали часть меня.

# Глава 58

Вечером, после того как Гюнтер уехал, я решаю сходить в лес за ежевикой. Селеста встречается с Томасом, поэтому Бланш никуда не уходит. Я оставляю ее присматривать за домом, а сама иду на вершину утеса, где растут большие ежевичные кусты.

Оставляю велосипед в подворотне и дальше иду пешком. Ограды здесь низкие — за ними до самого обрыва раскинулись широкие поля. На море, которое этим вечером шелковистое, наполненное бледно-желтым свечением, открывается великолепный вид.

Надо мной летает спокойная и зоркая пустельга, кажущаяся закопченной на фоне ослепляющего неба. Ветер умер, земли кажутся необъятными и пустынными. У меня складывается ощущение, что я одна в этом мире. Мои плечи, словно шалью, накрывает умиротворение.

Ягоды очень много, она уже темная и спелая. Собираю. Кончики пальцев окрашиваются в яркий цвет индиго. Слизываю терпкий вкус со своей кожи.

Вокруг стоит такая тишина, что я слышу скрип своих туфель и шелест листьев под рукой, словно что-то рвется. Совсем скоро я набираю достаточно ягоды, чтобы хватило на пару пирогов. Ощущаю то краткое чувство триумфа, которое приходит ко мне тогда, когда я добываю еду для своей семьи.

Наконец я собираюсь домой, испытывая легкую грусть от того, что покидаю это место, поэтому задерживаюсь еще немного, чтобы бросить взгляд на море. Садится солнце, в лучах которого нежится густая вата плотных облаков.

Вся желтизна ушла с поверхности воды. Море тяжело поднимается и опускается, словно серебряный чешуйчатый зверь, что не знает покоя и движется даже во сне. Пустельга все еще парит надо мной, а потом вдруг складывает крылья и падает, будто брошенный камень.

Внезапный крик заставляет меня вздрогнуть — голос немецкого солдата: резкий, стальной, отдающий команду. Я замираю, сердце выпрыгивает из груди. Прекрасно понимаю, что это значит — отряд рабов-рабочих возвращается с работы. Передо мной возникает то, что я старательно отодвигала подальше на задворки своего сознания: страшная повседневная жестокость. У меня нет времени, чтобы спрятаться. Вжимаюсь в живую изгородь.

Из-за поворота в поле моего зрения появляется отряд рабочих. Они, наверное, строят на вершине утеса бетонное кольцо Гитлера. Их охраняют двое охранников из «Организации Тодта» с ружьями и повязками с изображением свастики.

Наблюдаю за рабочими. Земля уходит из-под ног.

Похоже, заключенные работали с цементом — они все покрытым им: сероватый порошок у них на волосах, на коже, на ресницах. От этого их лица совершенно белые, на них нет ни единой яркой краски.

Одеты рабочие в рванье, поэтому у многих вокруг талии обрезками проволоки или веревки закреплены мешки из-под цемента. Они совершенно босые, у некоторых мешки обмотаны вокруг ступней. От бессилия и истощения их головы повисли, а сквозь кожу пропадают острые кости.

В сумраке они выглядят совершенно безликими, как призраки. И поступь их совершенно бесшумна.

# Глава 59

Милли приснилось, что она проглотила рыбную косточку, и она просыпается с болью в горле. Я говорю, что ей придется остаться дома.

— Можно мне погулять с Симоном? — спрашивает она. — Когда он придет домой из школы?

— Нет. Конечно, нет, — поспешило отвечая я. — Тебе нельзя гулять, если ты не ходила в школу.

У Милли заложен нос. Я капаю несколько капель раствора для ингаляций в миску с горячей водой и велю ей дышать парами под полотенцем, крепко зажмурив глаза.

После процедуры ей дышится намного легче. Приношу пуховое одеяло, устраиваю ее на диване и кладу на поднос пазл с Букингемским дворцом. Это единственный раз, когда я рада тому, что мой ребенок болеет: так мне будет проще.

Примерно за час до комендантского часа, когда Эвелин у себя в спальне, а Бланш еще у Селесты, я говорю Милли, что мне надо ненадолго уйти. На крыше Ле Коломбье заливается черный дрозд. Я пересекаю дорогу и иду через свой сад в поля.

По вечерней прохладе огибаю окраину Белого леса и подхожу к сараю Питера Махи. Сердце колотится в груди. Реагирую на каждый шорох и шепот листьев, на каждый звук окружающей меня местности, на возню каждого прячущегося в траве зверька. Словно я здесь чужая.

У подножия сарая лежит более густая тень, будто разлилась черная река. Приблизившись, я замечаю, что дверь открыта. Тихонько подхожу и заглядываю в нее.

Поначалу я ничего не могу разглядеть, только темноту внутри. Возможно, я ошиблась, поспешила с неверными выводами. Меня охватывает облегчение. Я уже готова повернуться и уйти, когда понимаю, что более густая темнота в углу на самом деле человек.

Он сидит ко мне боком и не видит меня. Думаю, его восприятие притупилось от истощения, от голода, от того, что ему пришлось повидать. Он сидит наклонившись вперед, его сгорбленная тень падает на пол. Как и те люди, которых я видела на обрыве, он одет в мешок, подвязанный проволокой, с дырками для рук.

Обувь тоже сделана из мешковины. Я не могу понять, какого цвета его волосы или сколько ему лет. Все, что делает его личностью, стерто пылью, грязью и голодом.

Мир вокруг меня замирает, становится пустым. Я слышу только звук его зубов, впивающихся в хлеб, и приглушенный стук своего колотящегося сердца.

В голове звучит тонкий голосок, тихий, озабоченный, убеждающий: «Не смотри. Так безопаснее. Уходи. Возвращайся в Ле Коломбье и сделай вид, что этого не было. Притворись, что ты не видела его...»

И что-то во мне отчаянно желает подчиниться этому тихому голосу. Не только из-за опасности. Позволить себе посмотреть — значит поставить себя на его место. На место голодного, несчастного, замученного человека. А я не могу этого вынести.

Но моя дочь приходила и смотрела на него. Милли, которой шесть лет и которая не боится темноты. Милли приходила и смотрела — и не отвернулась.

Когда я возвращаюсь домой, Милли все еще сидит на диване, завернутая в одеяло, и собирает пазл. Стойкий аромат ментола и эвкалипта висит в комнате и щиплет глаза.

Я встаю на колени рядом с ней.

— Милли, я видела твоего призрака. В сарае мистера Махи.

Она замирает, лицо превращается в маску, а рука зависает над пазлом, в маленьких пальчиках зажат кусочек неба.

— Я знаю, что ты брала еду, — говорю я.

Она кладет кусочек пазла обратно на поднос, аккуратно, с тихим щелчком, как будто сломали тонкую косточку.

— Он был голоден, — с вызовом отвечает она. — У нас была еда, а у него не было. Это нечестно.

— Да, нечестно.

У нее небольшая лихорадка, к потному покрасневшему лицу прилипла прядь волос. Она смахивает волосы, словно злится на них.

— Ты не должна сердиться на меня, мамочка.

— Я не сержусь, милая. Не сержусь.

— Он хотел есть, и мы его кормили, — продолжает Милли. Ее руки сжаты в кулаки. Она так сосредоточена на том, чтобы объяснить мне.

— Да. Я понимаю, почему вы это делали.

— Он пришел из ада. Он там живет. Он живет в аду. Он нам сказал.

— Милли...

— И все не так, как говорил пастор. Пастор ошибается, когда говорит, что ад — это не место. Мой призрак говорит, что ад существует. Я знаю, что ты мне не веришь...

— Я верю тебе.

Ее глаза удивленно распахиваются.

Я обнимаю ее. Она напряжена и сдержанна от неуверенности в том, что на меня нашло и о чем я думаю.

— Но я не хочу, чтобы ты продолжала это делать, милая, — говорю я. — Это слишком опасно.

— Нет, ты ошибаешься, — возражает Милли. — Ты так говоришь, потому что не знаешь его. Призрак добрый. Он не причинит нам вреда.

— Я уверена в этом.

— Я просто хотела напугать Бланш. Когда сказала, что он страшный. Я соврала, потому что она зануда. Я хотела ее напугать.

— Я не об этом. Я знаю, что он не причинит тебе вреда. Но если немцы узнают, они очень разозлятся.

— Они посадят нас в тюрьму?

— Да. В тюрьму или... — Я вспоминаю, что рассказывала Вера около школьных ворот. О женщине с Джерси, которая прятала рабочего в своем доме. О том, что ее застрелили. Гоню мысль прочь. — Дело в том, что они не должны узнать. Никогда.

— Но кто-то должен его кормить, — говорит Милли. — Если не мы с Симоном, то кто станет это делать? Он умрет от голода.

— Милли, такими вещами должны заниматься взрослые. Для детей это слишком опасно. Я хочу, чтобы ты сказала Симону, что вам больше нельзя ходить в сарай. Сделаешь?

Она хмурится и молчит.

— Он не умрет от голода, Милли. Обещаю.

Она с сомнением смотрит на меня.

— Мне нужно, чтобы ты пообещала, — прошу я.

— Хорошо, — неохотно говорит она.

— И еще кое-что, милая. Это должно оставаться тайной. Мы никому не скажем. Даже бабушке и Бланш.

Милли довольна, это видно по ее быстрой улыбке.

— Да, это наша тайна, — говорит она. — Очень большая тайна, да?

Секнувшим сердцем я думаю: «Да, это очень большая тайна».

Ночью я внезапно просыпаюсь. Странно оказаться одной в постели: я так привыкла спать в объятиях Гюнтера. Без него кровать кажется слишком большой и пустой. Дом погружен в абсолютную тишину, но мое сердце колотится, словно потревоженное каким-то неожиданным звуком. Не знаю, что могло меня разбудить.

Я встаю, подхожу к окну и смотрю на темный двор, упираясь лбом в прохладное стекло. Робко светит луна, порывистый ветер гонит мимо нее обрывки облаков.

Мальва в саду Ле Винерс кажется призрачной, нереальной, лунный свет делает ее белой и светящейся, словно лед. И тут же в голове оформляется мысль, как будто именно она пришла ко мне во сне и разбудила меня. Я же обо всем рассказала Гюнтеру. Сказала ему о призраке, которого видела Милли…

Стараюсь припомнить, как он отреагировал на мой рассказ. Кажется, успокаивал меня, говорил о собственном детстве. Но, может быть, он просто подыграл мне? Может, он догадался, кем на самом деле был призрак? Может, все это время он знал? Эта мысль приводит меня в смятение. Она не меняет моей решительности, но наполняет меня ужасом. Что будет с Милли, с нами?

Весь остаток ночи я так и не смыкаю глаз.

# Глава 60

Я готовлю густой суп с картофелем, что принес Джонни в тот день, когда я забила курицу. Добавляю туда много молока и пробую ложку. Суп получился нежный и согревающий. Надеюсь, он легко переварится.

Все так, как и должно быть: Бланш в гостях у Селесты, а Эвелин в своей комнате. Милли сидит на диване, на подносе у нее картонные куклы. Ей нравится одевать их в вырезанные наряды, которые крепятся маленькими полосочками. Когда я говорю ей, что собираюсь уйти, она понимающе улыбается.

Стоит прекрасный вечер с низкими, словно размытыми облаками. Землю заливает золотистый свет. С колотящимся сердцем я быстро иду через поля.

Он здесь, как и вчера. Сидит, скрючившись, на полу сарай и слегка раскачивается из стороны в сторону. Я проскальзываю в открытую дверь. Думала, что он заметит мою тень, протянувшуюся по полу прямо перед ним, но он не поворачивается, не видит меня.

Некоторое время стою там. Сердце бьется так сильно, что колышется ткань моей блузки. Я говорю себе, что все еще могу повернуться и уйти. Перед глазами мелькают яркие, отчетливые, ослепительные образы непоправимого. Немцы нас заметят. Меня убьют. И что самое худшее — мои дети останутся без матери. Я всегда обещала, что с ними такого никогда не случится.

Мое горло сжимается до размеров игольного ушка.

— Извините, — говорю я.

Мой голос звучит странно, словно он вовсе не мой. Я думаю: «Что за глупости я говорю. Ведь он меня не поймет».

Он медленно поворачивается. Не думаю, что он слышал, как я вошла. Возможно, его напугал мой голос. Я уже готова сказать: «Не бойтесь», — но вижу, что он не боится. Наверное, в нем уже не осталось места страха. У него черные, как дикая слива, глаза, обрамленные белыми ресницами. Его лишенный всякого любопытства взгляд останавливается на моем лице.

— Я мама Милли. Милли, маленькая девочка...

Я показываю рукой, насколько она маленькая, и протягиваю ладонь, как будто беру ребенка за руку.

Я ощущаю себя ужасно неуклюжей, словно части моего тела как-то неправильно соединены между собой. И поверх чувств опасности и риска я испытываю стыд, потому что не знаю, как общаться с человеком, который не разговаривает на моем языке.

Он смотрит на меня. Глаза слишком темные для меловой бледности его лица. Мне кажется, что я вижу в них отблеск понимания.

— У меня есть еда, — говорю я.

Он наблюдает за мной, но не двигается.

Рукой я очерчиваю в воздухе миску и показываю, что подношу ложку ко рту.

— Идемте со мной, — говорю я.

Делаю знак идти со мной.

— Дети хорошие. Дети — мои друзья, — произносит он на прекрасном английском с небольшим акцентом.

Резко втягиваю воздух.

— Вы говорите по-английски?

— Да, я говорю по-английски. Мы с детьми можем разговаривать, — отвечает он.

Его голос слишком высокий для мужчины. Я вспоминаю, как Энжи рассказывала о людях, которые голодают: о том, что их голоса похожи на птичьи.

— Где вы научились? — спрашиваю я.

— Меня научил английскому один человек, который жил в моей деревне, — говорит он. — И еще польскому. Он работал на ферме в моей деревне, но до этого он преподавал в университете. Он многому меня научил.

— О, — только и говорю я.

Даже не представляю, откуда он или почему в его стране такой учитель мог бы работать на ферме. Я совсем ничего не знаю и ощущаю внезапное изумление от того, что этот мужчина, несчастный и оборванный, образованнее меня. Все совсем не так, как я думала.

— Меня зовут Вивьен.

— А я Кирилл.

Он указывает себе на грудь, но пользуется не указательным, а средним пальцем. Я замечаю, что у него просто нет части указательного пальца, и он заканчивается уродливым, почерневшим обрубком.

— Мы пойдем ко мне домой, Кирилл, — говорю я ему.

— Да. Спасибо.

Веду его через поля, стараясь держаться ближе к изгороди. Он медленно, шаркая, словно ему тяжело переставлять ноги, бредет за мной. От него пахнет затхостью. Запах какой-то нечеловеческий, как от чего-то старого и заброшенного. Мне совершенно не страшно. Просто возникает ощущение нереальности происходящего, будто я наблюдаю за собой откуда-то сверху.

Доходим до переулка. Я осторожно оглядываюсь, но все тихо. Идем к задней калитке, маленьким воротцам в живой изгороди, которые ведут в мой сад, потом к двери в задней части дома, которую я редко использую, и которую не видно из Ле Винерс. Мы на кухне.

Его глаза широко распахнуты. Я вижу, что для него удивительно находиться здесь, в этой комнате: моя простая кухня для него волшебный замок, недосягаемый, окруженный терновником.

Выдвигаю стул и ставлю его у стола. Кирилл крупный мужчина... или был крупным, до того как сильно похудел. Он двигается очень осторожно, как двигался бы большой человек в небольшом замкнутом пространстве, боясь что-нибудь разбить.

Комната наполнена ароматом супа, бурлящего на плите. Наливаю немного в тарелку и ставлю перед мужчиной.

— Это вам, — говорю я.

Он берет ложку и низко склоняется над тарелкой. Вижу, как у него трясутся руки. Он стремительно налегает на еду.

Позволяю ему поесть. Молчу.

Пока он ест, на меня накатывает ощущение, какого я даже не ожидала. Меня наполняет теплота душевного подъема: он терпит большую нужду, а я могу дать ему то, что нужно... я могу накормить его. Это то же самое, когда бывает, что ребенок болеет, а ты ему очень нужен. Эта совершенная, но простая в тебе нужда. Все сомнения улетучиваются, твоя цель ясна, как чистый лист.

Нас услышала Милли. Она проскальзывает на кухню, довольно улыбаясь.

Кирилл отрывается взгляд от супа.

— Милли, — говорит он, и свет озаряет его лицо.

Она садится рядом с ним, педантично положив руки прямо перед собой. Перед ним она являет свое лучшее поведение.

Наполняю его тарелку заново. Он съедает и ее. Вздохнув, откидывается на стуле.

— Спасибо. Спасибо, — говорит он.

Нахожу для него чистое полотенце.

— Можете умыться, если хотите.

Он открывает кран, позволяя воде стекать по рукам. Капли блестят, в них содержится вечерний позолоченный комнатный свет. Он некоторое время разглядывает пухленькие сияющие капли, словно на руках у него раскрывается чудо. Потом наклоняется, подставляя голову под кран.

Когда вода смывает грязь с его лица, он снова становится самим собой, выбравшись из кокона сажи. Мы видим, какой он на самом деле. Он молод, ненамного старше Бланш. Так молод, что мог бы быть моим сыном.

От его юности замирает сердце. Волосы, борода и брови у него темные, а кожа смуглая, обветренная. Видно все его порезы и шрамы, которые прежде скрывала цементная пыль.

Умывшись, он возвращается за стол. Вытаскиваю две сигареты, прикуриваю их, одну отдаю ему. Он глубоко, с благодарностью, затягивается. Мерцающий кончик сигареты отражается в темноте его глаз. От иллюзорного блеска он сам кажется более живым, настоящим.

— Кирилл, как вы выбираетесь из лагеря? — спрашиваю я.

— В проволоке есть дыра, — отвечает он. — Некоторые охранники не обращают внимания, если нас ночью нет в лагере. Они смотрят в другом направлении. Если мы возвращаемся до утренней поверки, они закрывают на наши отлучки глаза. В лагере мало еды. Они дают нам лишь воду и немного репы.

— На этом невозможно прожить.

— Думаю, они позволяют нам уходить, потому что не могут прокормить, — говорит он. — Приходится воровать. Другого пути нет. До того как я познакомился с детьми, мне, чтобы выжить, приходилось красть.

— Да, конечно, — соглашаюсь я.

— Ну, и мы знаем, где мусорные свалки. Там тоже едим.

— Какой ужас, — говорю я.

— Нет, это хорошо, — уверяют меня он. — Должен сказать, мусорные свалки — это наше спасение. Вот лагерь, да. Это ужас. Тяжелая работа, избиения. Много людей там умерло. Остальных на этом свете держит лишь ненависть.

Он смотрит на меня своими умными темными глазами.

— Эту неделю вы можете есть здесь, — говорю я. — Но нам нужно вести себя осторожно. В соседнем доме живут немецкие офицеры. Завтра вам нужно будет дождаться меня в сарае, я приду за вами туда.

Совсем скоро комендантский час. Понимаю, что должна отвести его обратно.

— Милли, Кириллу пора уходить. Ты должна попрощаться.

Она радостно машет ему рукой.

Провожаю его через заднюю дверь.

— Спасибо, Вивьен. Вы очень добры.

Вдоль живой изгороди тени лежат, словно моченые грецкие орехи. Кирилл пересекает мой сад и исчезает в мраке переулка, молчаливого, как морской бриз.

\* \* \*

— Ему же понравился суп? — спрашивает Милли, когда я возвращаюсь.

— Да.

Она сияет.

— Ему он очень, очень понравился, — говорит она. — А он может приходить к нам постоянно?

— Он сможет приходить несколько дней, — объясняю я. — А потом я не знаю, милая. Мне придется что-нибудь придумать.

— Да, мамочка. Тебе придется.

Я замечаю, что она больше не говорит о нем как о призраке, что ее не удивляет его будничное присутствие в нашей кухне. Наверное, Гюнтер был прав, она живет в двух мирах одновременно: нашем и своем выдуманном. И с легкостью переключается между ними.

— Милли, мы должны держать все в тайне. Никто не должен знать. Никто. У тебя получится... хранить это в секрете?

— Да, конечно, — отвечает она.

Мою тарелку, из которой он ел. Под столом легкий налет цементной пыли, а в раковине грязь, оставшаяся после мытья рук и волос. Вычищаю раковину и методично вытираю цементную пыль.

— Вивьен.

Я подпрыгиваю. Мусор из совка разлетается по всему полу, словно серая мука. Она повсюду.

В дверном проеме стоит Эвелин.

«Слава тебе, Господи», — думаю я. Слава Господу, что она не пришла чуть раньше.

— Вивьен, мне нужна моя Библия. Хочу почитать мою Библию. Вивьен, я не могу найти свою Библию.

Полотенце Кирилла лежит на доске для сушки. Ему не удалось смыть всю грязь, поэтому на ткани видны грязные пятна. Они словно размытые линии лица на негативах пленки. Быстро комкаю полотенце.

— Твоя Библия лежит на прикроватной тумбочке, — говорю я.

— Правда, Вивьен?

— Да. Я видела ее там.

Но у нее недоуменный взгляд, как будто она все еще считает, что у нее что-то пропало или это у нее забрали.

Взгляд Эвелин падает на Милли.

— А вам, юная леди, давно пора быть в кровати. — В этом она, по крайней мере, уверена точно. — Время позднее.

Милли стреляет в меня взглядом соучастника. Я предупреждающе хмурюсь. К моему облегчению, она не пытается оправдаться.

— Я уже иду спать, бабуля, — послушно говорит она.

— Возвращайся наверх, — обращаюсь я к Эвелин.

Но она продолжает стоять неподвижно.

— Вивьен, у тебя грязные руки.

— Да, я делала уборку.

Она не удовлетворена. Между глаз в форме лилии собираются едва заметные морщинки недоумения.

— Вивьен, здесь кто-то был. Пахнет по-другому. Я чувствую.

— Не беспокойся, Эвелин. Это ничего не значит.

— Кто-то здесь был. Посторонний. Не из нашего дома.

— Нет, Эвелин. Посторонних здесь не было.

— Это один из твоих друзей, Вивьен?

— Да, один из моих друзей. Не беспокойся.

— Ты и твои друзья. Приходят, уходят. — Эвелин неодобрительно качает головой. —

Неужели нельзя немного пожить в тишине?

— Сейчас настали не совсем тихие времена, — туманно отвечаю я.

Отвожу ее обратно в комнату и подаю Библию. Но она слишком устала, чтобы читать. Эвелин ложится в кровать, а я, словно ребенку, подтыкаю ей одеяло. На подушке ее голова кажется такой маленькой. Кожа под пушком седых волос розовая и беззащитная. В глазах блестит отражение ночника. Она глядит мне за спину, а я гадаю, что же она там видит.

Задумываюсь над тем, каково это — быть такой старой, как Эвелин. оглядываться назад, гадать, правильно ли сделан выбор. Вспоминаю слова Покаяния. «Мы оставили недоделанным то, что должны были, И сотворили то, чего не должны...»

Мне интересно, о чем в конце жизни сожалеешь больше: о том, что не сделал... или о том, что сделал что-то, чего не должен был делать.

Выключаю ночник и выхожу из ее комнаты.

# Глава 61

— Вивьен. — Рут Дюкемин тепло мне улыбается. — Рада вас видеть.

Но мне кажется, что она встревожена, гадая, что меня привело. Ее мягкие глаза, полные вопросов, зеленые, словно папоротник-листовик, покоятся на мне. Она пробегает рукой по растрепанным волосам.

Рут ведет меня на кухню, стены которой увешаны насыщенными, задорными детскими рисунками. «Харрикейны» и «спитфайры».<sup>[5]</sup> Все совсем по-другому, когда у тебя мальчишки. Милли рисует котят и принцесс с ленточками.

На краткий миг, как бывает порой, меня посещает мысль, что я хотела бы иметь сына. В комнате стоит запах хозяйственного мыла. На плите стоит кастрюля, в которой кипятятся полотенца; пузырчатая пена стекает по ее бокам. Рут шевелит содержимое деревянной ложкой.

— Мне нечего вам предложить. Разве что воды, — говорит она. — Простите.

— Воды достаточно, — отвечаю я.

Сажусь за отлично выскобленный стол. Она наполняет два бокала водой из-под крана. Не знаю, с чего начать.

— Я насчет Симона... вернее Милли и Симона.

— Я так и думала. — Она печально улыбается. — С Симоном всегда так, никогда нельзя быть уверенной, что он выкинет в следующий момент. Знаете, я очень люблю своих мальчиков, но с девочками таких проблем нет. Иногда я очень завидую тем матерям, у которых девочки.

— Я совсем не имею в виду ничего плохого, — быстро говорю я, желая ее успокоить. — Просто я кое-что узнала... — Потом добавляю, когда вижу, с каким нетерпением она на меня смотрит: — Симон для Милли очень хороший друг. Они такие милые, когда вместе.

— Симон любит Милли, — говорит Рут.

Ее голос робкий, неуверенный. Она стоит в струящемся свете, падающем на нее сзади из окна. Рут словно растрепанный, встревоженный ангел с золотистым ореолом волос.

— Он говорил вам, чем они занимаются? — спрашиваю я.

— Он никогда мне ничего не рассказывает, — улыбается Рут. — Только то, что собирается жениться на Милли.

— Он говорил вам о призраке?

Она стоит совершенно неподвижно. Улыбка испаряется с ее лица.

— Нет, не говорил.

— Милли все твердила о призраке в сарае мистера Махи, — объясняю я. — Там они встретили призрака.

Глаза Рут широко распахиваются. Она сразу все понимает и резко садится за стол.

— И вы ходили посмотреть на этого призрака, коим он не оказался? Это был один из тех бедолаг? — говорит она.

Я киваю.

Вижу, как по ее лицу пролетает любопытство и страх, и даже некоторое удивление.

— Они подружились с ним. Таскали ему еду, — говорю я.

— О Господи. Я и понятия не имела... О Господи. Мне пришлось отругать Симона, потому что замечала, что пропадает хлеб. Но я думала, он сам его съедает. — Она выглядит

виноватой. — Мне не следовало его ругать... если бы я только знала. Я чувствую себя такой ужасной. Он пытался сделать что-то хорошее, а в ответ получал лишь шлепки...

— Я сказала Милли, чтобы они так больше не делали. Попросила, чтобы она сказала об этом и Симону. Я сама сейчас кормлю этого человека. Для детей это небезопасно.

На ее лицо набегает тень.

— Но и для вас тоже, — говорит Рут. Она перегибается через стол и касается моей руки теплым пальцем. — Будь осторожна, Вивьен. Я хочу сказать, разве в соседнем доме не обитают немцы? Симон мне рассказывал.

— Да.

— Будь осторожна. Ради Бога...

До меня доходит, что она предупреждает меня так же, как я когда-то Джонни. От этой мысли по коже пробегает легкий озноб.

— Сделаю все возможное, — непринужденно отвечаю я.

— Спасибо, что пришли, — говорит Рут. — Я поговорю с ним. Если честно, я очень расстроилась, увидев вас здесь. Подумала, вы скажете, что не хотите, чтобы дети больше играли вместе. — Она рассеянно пробегает рукой по ореолу золотистых волос. — Сердце Симона было бы разбито.

— Что ж, все хорошо...

— Я никогда не знаю, что он выкинет, — говорит она. — Он одно время дружил с Дженни ле Пейдж. Она всегда выглядела красиво, а однажды умудрилась упасть в кучу сажи и измазать свое воскресное платье. — На лицо Рут пробирается легкая насмешка. — Он пытался отстирать ее платьице водой из-под крана. Конечно, ничего у него не получилось. Ее мама больше не разрешила им играть вместе.

— Мне нравится, что они играют вместе, — говорю я.

— Знаете, — задумчиво говорит она, — я немного горжусь ими, а вы? Что пытались хоть так, но помочь. Сердца у них там, где надо. Мы старались, чтобы Симон вырос добрым. Это лучшее, что мы можем, разве нет? В мире и так много ужасных вещей. Все, что ты можешь, быть добрым... Вивьен будь осторожна.

## Глава 62

Он ждет меня и встает, когда замечает.

— Вивьен, вы пришли.

— Да. — Кладу свою руку на его. — Конечно.

Мы молча идем по полям в Ле Коломбьер. Сегодня какой-то оперный закат: небо окрашено в пурпур и позолоту, но в лесу и возле изгороди собирается тьма.

Кирилл умывается, моет руки в раковине и ест суп, который я подготовила. Мы с Милли сидим рядом.

Когда он почти доедает вторую порцию, то запрокидывает голову назад и выпивает все до последней капли. Потом, глубоко вздохнув, отставляет тарелку.

— Спасибо. Спасибо, Вивьен.

Зажигаю две сигареты, одну отдаю ему. На разговоры остается мало времени, он скоро уйдет.

— Откуда вы родом, Кирилл? Где ваш дом? — спрашиваю я его.

— Далеко, — отвечает он. — Моя страна называется Беларусь. Она граничит с Россией. Возможно, вы о ней слышали?

Я не слышала, но было бы невежливо в этом признаться. Киваю.

— Я жил в деревне. Она мне постоянно снится.

Некоторое время мы сидим молча, на нас падает отблеск заката. На краю тишины слышны звуки: насекомое с прозрачными крыльшками у окна, настойчивое тиканье часов.

— Расскажите нам о вашей стране, — прошу я.

— В лесу очень много берез. — Он говорит медленно, подыскивая слова. У него все тот же странно высокий голос. — Березы и маленькие речушки. Там очень тихо. Наши дома сделаны из дерева, а на крышах домов гнездятся аисты. — Его глаза смотрят куда-то вдаль, словно он видит то, о чем рассказывает. — Там мое сердце.

— Звучит так, словно это дивное место.

Он кивает.

— Но я бы не сказал, что жизнь там идеальна. Когда я был ребенком, мы часто голодали. — Кирилл, вспоминая, выдувает сигаретный дым. — Тяжелым месяцем был февраль. Иногда нам целую неделю приходилось есть старую картошку. Первым признаком весны был щавель. Мама посыпала нас с братом собирать его для супа. Вторым признаком был молодой картофель. Только тогда ты снова начинал жить...

Некоторое время от молчит.

— Словно тьма навалилась, когда я уехал оттуда, — говорит он.

— Понимаю, — соглашаюсь я.

— Иногда мои воспоминания не такие ясные. Но, разговаривая с вами, я вижу все очень четко.

Внезапно до меня доходит, что он говорит лишь про детство. Как говорили мы с Гюнтером, когда он впервые оказался в моей кровати. И, наверное, это происходит по той же самой причине: прошлое, независимо от того, насколько оно было сурово, гораздо безопаснее сегодняшнего дня.

— Расскажите нам про маму и брата, — прошу я. — О семье.

— Все в моей семье были музыкантами. В той жизни я создавал скрипки. Днем я мог

работать в поле, а ночью мастерил скрипки. И мой отец делал то же самое. Он меня и научил.

Это меня удивляет. Не ожидала, что у него такая богатая жизнь, такое умение. Возможно, я считала, что его лохмотья и вечный голод дают представление о нем... что его бедственное положение показывает, что он за человек. Но я ошиблась: его бедственное положение ни о чем не говорит.

— Когда я был ребенком, партия поощряла занятия музыкой, — говорит он. — Музыка на свадьбы и праздники, костюмы и танцы. Все то хорошее, что и так всегда у нас было... Последние годы, под руководством Сталина, эти вещи больше не поощрялись. Но я продолжил мастерить свои скрипки в небольшой мастерской в задней части дома.

Пытаюсь осознать сказанное. Что значит партия? Беларусью правит Stalin, она под руководством России? До нападения немцев она была частью республики большевиков? Я думаю о том, что очень мало знаю об остальном мире. И мне любопытно узнать, какую музыку он играл. Интересно, есть ли в ней та же необузданность, что в народном творчестве Восточной Европы... вместо любимой мной меланхолии мазурок Шопена.

Смотрю на Милли. Она внимательно слушает, почти не моргает. У нее такой же взгляд, какой бывает, когда я читаю ей сказки.

— Я любил свои скрипки, — говорит Кирилл. В голосе на краткий миг появляется гордость. — Возможно, слишком сильно. Моя жена поговаривала, что я женат на своих скрипках... Жена часто на это жаловалась. Другие женщины могли пожаловаться, что их мужья много пьют, а моя, что я слишком много времени провожу за работой.

— Вы женаты? — Я удивлена. Мне кажется, он слишком молод для женитьбы.

Секундное молчание. Его лицо темнеет.

— Ее звали Даня, — говорит он.

Слышу прошедшее время. Меня охватывает легкий страх. Я боюсь спрашивать о ней дальше. Может, потом. Не сегодня.

— У меня здесь, на Гернси, был друг. Он тоже играл на скрипке, — говорю я. — Мы играли дуэтом. Он уплыл в Англию. Мне всегда нравилась скрипка...

Его лицо светлеет, когда я говорю об этом.

— Создавать скрипки просто потрясающе, — говорит он нам.

— Да, должно быть, так и есть.

— В нее вкладываешь всю свою заботу. Она такая меленькая, такая хрупкая, ее легко сломать. Но она так чисто поет, — говорит Кирилл.

Я вспоминаю о Наташе Исааксе и той музыке, что мы играли... «Весенняя соната» Бетховена. Высокие чистые ноты, словно человеческий голос, только правдивее.

— Это, должно быть, замечательно... владеть таким мастерством, — говорю я.

Под его глазами залегают черные тени.

— Даже если я вернусь домой, я никогда больше не буду мастерить скрипки. Та жизнь для меня кончена.

Он вытягивает свои израненные, трясущиеся руки. Я снова вижу, что у него отсутствует часть указательного пальца, вижу изуродованную плоть. Меня охватывает ощущение потери. Я больше ничего не говорю.

# Глава 63

Готовлю суп с луком-пореем и горохом. Отвариваю окорок на косточке. Когда суп будет почти готов, я добавлю в него немного мяса, нарезав его тонкими пластинками, чтобы было удобно есть.

Пока суп варится, достаю из шкафа для посуды старый глобус. Я купила его для Бланш, чтобы помочь ей с уроками географии. Она всегда ненавидела географию. Вглядываюсь в крошечные, трудно произносимые, названия, которые сейчас, похоже, являются частью России.

Таша тряпичную куклу за волосы, заходит Милли.

— Мамочка, ты ищешь страну Кирилла? — интересуется она.

— Да. Нашла. Вот, смотри...

Она больше, чем я предполагала. По крайней мере не меньше Британских островов. Это удивляет меня. У нее нет выхода к морю и выглядит она пустынно: на карте почти нет городов.

Милли разглядывает глобус.

— А где Сент-Питер-Порт? — спрашивает она.

Показываю.

— Вот здесь Англия, здесь Гернси, но они очень маленькие, плохо видно...

Кладу палец на нужное место.

Милли хмурится.

— Ты ошибаешься, мамочка. Не может быть. Гернси очень большой, — уверенно заявляет она.

Вспоминаю свое детство... те моменты, когда начинаешь понимать масштабы мира, когда появляется мимолетное ощущение его огромности. Как от этого размаха захватывает дух.

— Если ты приглядишься, то сможешь его увидеть, — говорю я. — Вот это крошечное розовое пятнышко.

Милли позволяет тряпичной кукле упасть. Большим пальчиком она дотрагивается до Гернси, захватывая еще и половину Франции. Не отрывая руки, Милли мизинчиком дотягивается до Беларуси.

— Страна Кирилла не так уж и далеко, — говорит она.

— Далеко, Милли. Очень далеко. Ему дом кажется дальше, чем луна и звезды.

— А он когда-нибудь туда вернется?

— Не знаю, милая.

Милли обхватывает глобус ладошками и закручивает его. Все цвета сливаются воедино. Весь мир — головокружительный вихрь цветов, яркий калейдоскоп зеленого, коричневого и розового. Глобус крутится так быстро, что кажется, будто страны могут слететь с него. Могут подняться в воздух, а когда глобус замедлится, упадут обратно. Но все они перемешаются и будут уже на других местах. Неправильных.

Распахивается дверь. От миссис Сибир вернулась Бланш. Она решительно заходит в дом. Стягивает воздушный платок и пробегает рукой по своим светлым, цвета карамели, волосам.

— М-м-м.

Она с наслаждением приносит и идет к плите, чтобы заглянуть в кастрюлю.

— Хороший суп, — говорит Бланш. — Давно такой ждала.

Я вижу, как она слегка сглатывает, когда рот наполняется слюной. Меня охватывает чувство вины.

— Бланш, мне очень жаль, но этот суп не для нас, — говорю я.

— Мама, но я очень хочу есть. — Ее голос напряжен, в нем слышится протест.

— Я знаю, прости, милая. К чаю у нас макарони.

— Ты же знаешь, я не люблю макарони... И кто же этот особенный некто, для кого предназначен этот великолепный суп?

— Гость.

— И почему он важнее нас с Милли? — оскорблена интересуется она.

— Он не важнее вас, просто ему это нужнее, чем вам... Слушай, если что-нибудь останется, ты доешь, когда вернешься от Селесты.

— Но к чему вся эта таинственность? — спрашивает Бланш.

— Ты все равно его не знаешь, — отвечаю я.

Некоторое время она изучающе на меня смотрит, пытаясь прочесть что-нибудь на лице.

Между нами возникает неловкое молчание. Ее прищуренные глаза застыают. Ощущаю, что рот, словно бумагой наполнили. Интересно, она считает, что этот человек мой любовник? Подозревает она меня и Гюнтера? И этот суп укрепил ее подозрения.

Я всегда пыталась оградить ее от того, что мы с ее отцом несчастливы. Оградить от его интрижки, от Моники Чарлз. Думаю, насколько же она меня ненавидит, если в чем-то подозревает. Однако для нее же безопаснее считать, что у меня есть любовник, нежели знать правду... что я подкармливаю Кирилла.

Она отворачивается, слегка пожав плечами. Выдыхаю. Момент упущен, я гадаю, ошиблась ли в своих предположениях.

— Вот честно, мам, ты начинаешь говорить, как Милли. Ты постоянно закрываешься в своей раковине. Вы обе так делаете.

Бланш кладет свою сумочку на стол, ее взгляд падает на глобус.

— Ради всех святых, что он здесь делает? Милли еще рановато забивать голову такими вещами, — говорит она. В ее голосе слышится возмущение. — Мисс Делейни не будет ее учить географии. Не может же она быть настолько жестокой.

— Мы искали страну, — торжественно и важно сообщает Милли.

— Как же это ужасно, быть ребенком, — говорит Бланш. — Вот ты только ловил колюшку, а следующий миг уже учишь что-то про ураганы и всякое такое.

— Это секрет. Это не для школы. — Милли крепко сжимает губы.

— Вечно ты со своими секретами, — говорит Бланш.

Она поворачивается ко мне, приподняв бровь, словно говоря: «Вот, она опять за свое».

Милли засовывает глобус подальше в шкаф и закрывает дверцы с легким, но многозначительным треском, похожим на раскололшийся лед.

## Глава 64

Кирилл сидит за моим столом и выпивает суп из миски до последней капли.

— Спасибо, Вивьен. Спасибо.

Прикуриваю сигареты. Он со вздохом откидывается на спинку стула.

У меня есть вопрос, который я боюсь задавать, несмотря на то, что часть меня знает: он хочет рассказать свою историю.

— Кирилл, как вы здесь оказались? Расскажите нам, что произошло.

Некоторое время он молчит. В открытое окно вливается тягучее пение птиц и томный аромат моих роз, чей запах такой сладкий, что им невозможно насытиться.

Кирилл откашливается.

— Как я вам уже говорил, я жил в деревне в лесу, — медленно начинает он своим высоким, измученным голосом.

— Да.

Милли подтаскивает стул ближе к моему и прижимается ко мне, как делает это всякий раз, когда я ей читаю. Для нее это начало одной из сказок.

Взгляд Кирилла направлен на нас, но я не уверена, что он видит именно меня и Милли. Его глаза горят, словно от лихорадки.

— Однажды ранним утром, было еще темно, в дверь вломились немцы. Было четыре часа утра. Они растормошили нас с Даней и выволокли на улицу, на дорогу, которая вела в соседнюю деревню. Нас туго связали друг с другом. Вот так.

Он вытягивает руку и прижимает ее к моей крепко-крепко. У Кирилла такая холодная кожа, что от его прикосновения я вздрагиваю.

— Рука к руке? — уточняю я.

Он кивает.

— Они связали нас вместе и заставили выстроиться по всей ширине дороги. Нам было сказано передвигаться мелкими шагами... Моя жена оказалась в самом конце.

В его голосе мне слышится жесткость. Меня охватывает страх. Я понимаю: то, что его жена в конце линии, что-то значит.

Смотрю на Милли. Ее глаза сосредоточены на его лице. Думаю, смогу ли заставить ее уйти, должна ли я уберечь ее от того, что она услышит. Но меня что-то останавливает, некое ощущение того, что они друзья... я чувствую, что у Милли есть право узнать его историю.

— Мы шли, а немцы следовали за нами на некотором отдалении, — говорит он.

Могу себе это представить, но не понимаю, почему у него на лице такой ужас.

— С немцами воевали партизаны Красной Армии, — продолжает Кирилл. — Они жили в лесах, окружавших наши деревни. И эти партизаны повсюду расставляли мины.

Милли хмурится.

— Я не знаю, что такое мины, — шепчет она мне.

Ей отвечает Кирилл.

— Мина — это секретное оружие, спрятанное под землей. Если наступить на мину... — Он вскидывает руки в воздух, имитируя взрыв. — Если наступишь, тебе конец.

Глаза Милли распахиваются.

— Немцы использовали нас для поисков мин, — говорит Кирилл. — Что бы мы ни сделали, мы бы погибли. Если бы мы наступили на мину, мы бы взорвались. Если бы мы

пропустили мину, а на ней взорвался бы потом немец, они бы нас расстреляли, потому что мы ее пропустили. Так что мы шли безо всякой надежды на что-либо, потому что впереди нас ждала лишь смерть.

Мы делали все, что было в наших силах. Шли по следам лошадей. Пытались избегать тех мест, где была потревожена земля, потому что смерть от взрыва казалась ужаснее смерти от пули. От страха у меня во рту пересохло. Я плакал, все мы плакали. Наши слезы почти ослепили нас. Что было, то было...

Он замолкает. Мое сердце бешено бьется. Милли сидит совершенно неподвижно, она побледнела, глаза широко открыты.

— Помню, как неожиданно тряхнуло, помню шум. Никогда прежде такого не слышал. Нас отбросило на землю. А потом — тишина. На какое-то время нас оглушило. Мы вообще ничего не слышали. Вокруг нас повсюду была кровь и земля. Даже еще не обернувшись, я знал, что Данечка мертва. Она лежала неподвижно, все тело было разворочено. Немцы разрезали веревку на ее руках, что связывала ее с другим человеком. Они просто оставили ее лежать там. Остальных, кто остался в живых, отправили дальше по дороге...

Его голос замирает.

Я смотрю на него, но лица не вижу. Пока мы разговаривали, на комнату опустились сумерки. Фигура Кирилла на фоне окна почернела. Позади него голубое небо, а в Белом лесу заливается соловей. Я не могу понять, как эти вещи могут сосуществовать в одной вселенной: соловей, нежно-голубые сумерки... и боль, что изливается в голосе Кирилла.

— Мне так жаль, — говорю я, но мои слова звучат как-то неправильно, слишком громко для этой тихой маленькой комнатки. — Мне очень жаль Даню.

Он слегка кивает.

— Той ночью, — говорит Кирилл, — они заперли нас в деревенском амбаре. Я плакал по своей жене. Думал, что это я должен был быть в конце линии, что это я должен был умереть, а не Даня. Это моя вина. Если бы я пропустил ее вперед себя, она не погибла бы. До сих пор меня одолевают такие мысли...

Открываю было рот, чтобы сказать ему, что он не виноват, что он ничего не мог изменить... Но я знаю, что это его не успокоит. Его невозможно успокоить.

— Перед тем как она погибла, вечером мы с ней поссорились. Она сказала, что я постоянно работаю, а на нее внимания не обращаю, — говорит Кирилл приглушенным голосом... мне приходится наклоняться ближе к нему, чтобы лучше слышать. — Я не всегда был ей хорошим мужем. Я не был хорошим человеком. Мои последние слова, сказанные ей, были злыми словами.

По тому отчаянию, что сквозит в его голосе, могу сказать, что это мучает его больше всего.

— Я должен был умереть, но спасти ее, — говорит он. — Но у меня не было такого шанса.

Я уже слышала, как люди винят себя, когда вокруг них гибнут другие, а они сами остаются живы. Вину эту они ощущают всю свою жизнь. Я вижу, что это написано на его лице.

— Вы ничего не могли сделать, — говорю я. — Ничего.

Мои слова пусты.

Он долго сидит молча, перед лицом горит огонек сигареты.

Милли притягивает мою голову к себе и шепчет:

— Я хочу знать, что случилось дальше.

Словно после того, что услышала, она теперь боится Кирилла, боится разговаривать с ним напрямую.

Он слышит ее и начинает шевелиться.

— Я все вам сейчас расскажу, — говорит Кирилл. — На следующий день нас повезли в Минск на грузовике. Это наша столица. Из Минска нас отправили в Германию. Мы оказались в большом центре, в Вуппертале, где было много пленных. Старых и слабых отделили и увеличили, больше мы их никогда не видели.

Милли поднимает на меня глаза. В них плавает вопрос.

— А что с ними случилось? Со всеми этими старыми людьми? Что случилось?

— Ш-ш-ш. — Обнимаю ее. — Ш-ш-ш.

— Потом нас перевезли к морю. Оттуда на корабле переправили сюда. До этого я никогда не видел моря.

Милли пораженно бормочет мне:

— Но море же есть везде.

Я еще крепче прижимаю ее к себе.

— Корабль плыл не очень долго, — продолжает Кирилл. — У нас не было еды. Многие умерли. Немцы выливали воду прямо в трюм с заключенными. Мы же ловили эти капли...

Он показывает: открывает рот, закидывает голову назад, складывает руки так, словно ловит воду.

— А потом мы приплыли сюда, — говорит он мне. — Вот так я здесь и оказался.

Кирилл тушит сигарету в пепельнице. Он опирается на стол и опускает голову на руки. Он вымотан. Рассказ лишил его последних сил.

Долгое время мы просто сидим молча. Тикают часы, вокруг нас сгущаются тени. У меня нет слов.

— Вам пора возвращаться, — наконец говорю я.

— Да, — соглашается он.

Я провожаю его к задней двери и далее через сад к переулку.

— Приходите завтра в амбар, — говорю я.

— Да, Вивьен. Спасибо.

Он исчезает в сумерках.

Когда я возвращаюсь в дом, Милли все еще сидит в полумраке кухни.

— Пора идти спать, милая, — говорю я.

Она ничего не говорит.

Зажигаю свет.

Она смотрит на меня, моргая от внезапно вспыхнувшего света. Она плачет. На бледном лице блестят дорожки слез.

Обнимаю ее. Прижимаю так крепко, что чувствую стук ее сердца.

Я жду, когда у нее возникнут вопросы. Почему это все с ним произошло? Почему они были с ним такими жестокими? Почему его жене пришлось умереть? Так много вопросов, на которые нет ответов.

Но она прижимается ко мне и ничего не говорит.

# Глава 65

Сегодня последний день перед тем, как Гюнтер должен вернуться из отпуска. Собирается гроза: небо темное, словно синяк. Когда я иду по полям, внезапный порыв ветра задувает мне волосы в рот и закручивает маленькие вихри из пыли и сухих листьев.

Сегодня у Кирилла есть кое-что для меня — немного цветов с живой изгороди: герани и льнянки. Все это связано в букет проволокой.

Он передает мне букет с легким, обходительным поклоном.

— Это вам, — говорит он. — У меня нет другого способа отблагодарить вас.

— Они очень милые.

Я прижимаю цветы к лицу. У них древесный запах. Я очень тронута... несмотря на свою нищету, он нашел способ сделать мне подарок. Я знаю, для него это важно... он гордый человек. Его нужда ненавистна ему.

Увожу его к себе домой, где на кухне к нам присоединяется Милли. Кормлю его супом. Пока он ест, ставлю цветы в стеклянную вазу на подоконнике. Они очень красивы, но уже начали увядать: их розовые и фиолетовые лепестки побурели по краям. Сорванные с живой изгороди цветы живут недолго.

Когда он поел, я сажусь рядом с ним за стол. Милли приставляет свой стул к моему, обнимая ее одной рукой.

Сегодня вечером он рассказывает нам о родине... березовый лес, тихие реки; мастерская, где он делал свои скрипки. Представляю его чуть моложе, его лицо еще не отмечено страданием, голова склонена над работой. Размышляю над сложностью и изысканностью этой работы. В моих мыслях его руки здоровы.

— Когда-нибудь я вернусь туда, — говорит Кирилл.

— Да, — отвечаю я. — Да, конечно, вернетесь.

Потом мы сидим в тишине... по-товарищески, словно давно друг друга знаем.

Когда мы собираемся уходить, он бросает взгляд на картинку, которая висит на стене кухни, — распечатанная картина Маргарет Террант. Младенец Христос в своей колыбели, окруженный ангелами. У них огромные, замысловатые крылья мягкого цвета колокольчиков.

— Вы верите во все это? — спрашивает он меня, показывая на картинку.

— В некотором смысле, — отвечаю я. — В кое-что верю.

— Моя мама верит до сих пор... тайком хранит иконы на чердаке, — говорит Кирилл уставшим голосом. — Но я больше не верю. Никто в нашем лагере не верит. Никто. Никто из тех, кто прошел через все это. Невозможно страдать так, как мы страдали, и все равно верить.

На это мне нечего ответить.

— Я не верю в Бога, но злюсь на него, — говорит Кирилл. Он слегка улыбается. — В этом нет никакого смысла, да, Вивьен?

Веду его через сад. Падает несколько пожелтевших листьев. Деревья шумят так же, как море, как шелест гальки. Эти звуки, как говорила мне Энжи, предвещают дождь.

В тени живой изгороди я беру Кирилла за руку.

— Кирилл, я должна вам кое-что сказать. Не хотела говорить это при Милли. Но с завтрашнего дня вам будет небезопасно приходить сюда. — Меня это ранит. Ранит то, что я должна говорить ему это... понимая, что это для него значит, приходить к нам домой. —

Один из немцев, живущих по соседству, возвращается из отпуска. Он иногда заходит к нам.

Мне интересно, ужаснет ли это Кирилла. То, что немец приходит в мой дом. Спросит ли он меня о чем-нибудь. Сомневается ли он во мне. Он просто кивает.

— Мне очень жаль, — добавляю я. — Но я принесу вам еду в амбар, как делали Милли с Симоном. Если вас там не будет, я оставлю ее под трактором.

— Спасибо, Вивьен, — говорит он.

— Берегите себя.

— И вы, Вивьен. — Он немного наклоняется. — Я вам очень благодарен.

Он отворачивается и уходит от меня в темнеющий сад. Синюшные тучи опускаются на землю. Скоро начнется дождь.

# Глава 66

Суббота. Я просыпаюсь счастливая. Солнечное, радостное чувство охватывает меня еще до того, как я осознаю, почему так счастлива. Потом я вспоминаю: сегодня Гюнтер возвращается из отпуска. Но вместе с пониманием приходит опасение, приглушая мое яркое настроение, как дыхание туманит поверхность зеркала.

Что он сделает, если узнает, что я подкармливаю Кирилла? Выдаст ли он нас: Кирилла и Милли, и меня? Как он поступит? Я говорю себе: «Конечно, он нас не выдаст. Он хороший человек. Я знаю, какой он добрый...» Но в моей голове звучит голос Бланш: «Как вообще можно узнать кого-то по-настоящему? Как можно быть уверенным?»

Выходя во двор, я бросаю взгляд на большой эркер Ле Винерс в надежде хоть мельком увидеть Гюнтера. Время от времени я поднимаюсь к себе в спальню и оглядываю их палисадник. Яркий и сверкающий мир, умытый ночным штормом, наполнен сиянием и надеждой. Но мне не удается его увидеть.

Задолго до комендантского часа я отношу еду в сарай Питера Махи. В моей корзине хлеб, окорок, яблоки, завернутые в кухонное полотенце. Кирилл уже ждет. Он забирает еду.

— Спасибо вам, Вивьен. Большое спасибо.

Я не жду, пока он поест: слишком рискованно оставаться здесь. Что, если кто-нибудь меня увидит и задумается о том, куда я иду... или даже последует за мной? Но оставляя Кирилла, я чувствую укол грусти.

Я слушаю, как Милли молится перед сном, и подтыкаю ее одеяло. Она поднимает руки и настойчиво тянет мою голову к себе. Прижимая губы к моему уху и щекоча дыханием мою кожу, она шепчет:

— Кирилл не пришел.

— Нет, милая. Но я его покормила. Отнесла еду ему в сарай. Теперь мне придется делать так.

Яркий, как ноготки, свет лампы заливает Милли. Когда я наклоняюсь к ней, моя тень закрывает ее лицо.

— Он больше не может приходить сюда?

— Да, думаю, не может. Теперь ему опасно здесь находиться. И я не хочу, чтобы ты ходила со мной в сарай, на случай, если кто-то увидит.

Я быстро отстраняюсь, испугавшись, что она спросит еще что-нибудь.

— Но мне очень хочется пойти с тобой. — Она сердится. — Он и мой друг тоже. Он стал моим другом раньше, мамочка.

— Знаю. Но мы должны быть осторожны, ты же понимаешь. Это может быть опасно, Милли. Ты должна делать, как я говорю.

Она хмурится. Раздумывает: стоит ли возражать, уступлю ли я.

— В любом случае твоя простуда прошла, — говорю я. — Ты снова сможешь играть с Симоном после школы.

В глубине ее глаз маленькой рыбкой мелькает сомнение. Чувствую, как моя кровь течет быстрее. Жду, что она спросит: «Но почему, мамочка? Почему Кирилл не может прийти сюда?»

— Мне бы хотелось, чтобы он мог приходить к нам на кухню, — говорит она.

— Знаю, милая. Мне тоже. Но мы же не хотим подвергать его опасности, — отвечаю я.

Она принимает это объяснение. Потом зевает широко, как кошка, показательно потягивается и устраивается на подушках, накрываясь одеялом до подбородка.

— Смотри, мамочка, заботься о нем хорошенко, — говорит она.

\* \* \*

В десять часов раздается тихий стук в дверь, заставляя мое сердце забиться сильнее.

Открываю дверь. В лунном свете выделяется темный силуэт Гюнтера.

Он принес бутылку бренди для нас. Иду на кухню за бокалами, он — следом за мной. Неожиданно, но в его присутствии я чувствую себя неловко. Как будто мы забыли, как быть вместе, как будто нам надо заново учить мелодию, которую мы когда-то знали.

— Как все прошло в Берлине? — спрашиваю я.

Это обычный вопрос, который задают, когда кто-то уезжал. Но для нас этот вопрос сложный, опасный. Собственное тело кажется мне неуклюжим, слишком большим для моей кухни.

— В Берлине все как обычно. Но Кельн и Любек подверглись ужасным бомбардировкам. Так много уничтожено. Не хочу об этом говорить, — отвечает он.

Не знаю, что и думать. Разве не этого я должна желать? Чтобы немецкие города были уничтожены. Но я вижу страдание на его лице и не чувствую ликования — только растерянность и тоску. Я молчу.

— Мы живем в ужасном мире, Вивьен, — говорит он.

— Да.

По крайней мере с этим я согласна.

Спрашиваю о его жене, Ильзе.

— Она такая же, как всегда, — отвечает он. — Всегда хорошо следит за домом. Хотя, конечно, жизнь стала труднее.

Размышляю о том, как странно — спрашивать такое. Пока он не уехал в отпуск, наша любовь казалась такой естественной. Как воздух, как неотъемлемая часть моей жизни. А теперь появился какой-то сдвиг, надлом.

— Ты виделся с Германом?

При имени сына лицо Гюнтера смягчается, но он качает головой:

— Нет. Он в Африке с Роммелем.

В его голосе слышится страх. Он отворачивается от меня, пряча свои чувства, и его взгляд падает на цветы, которые мне подарил Кирилл. Они уже почти завяли, лепестки сморщились, как обрывки оберточной бумаги, но это такой драгоценный дар, что я никак не могу заставить себя их выбросить.

— Кто-то подарил тебе цветы? — спрашивает Гюнтер несколько напряженным голосом.

Я понимаю, что он думает, будто у меня появился другой поклонник.

— Ах, это. Всего лишь Милли, — говорю я с непринужденным смешком.

Но получается плохо: смешок звучит натянуто. Меня охватывает дрожь, по коже бежит мороз. В короткий миг паники я пугаюсь, что он прочтет мой секрет по лицу.

Но затем его губы накрывают мои, а руки обнимают меня, и я чувствую, что раскрываюсь ему навстречу, как всегда. Я изголодалась по нему.

Веду его наверх, в спальню. У Гюнтера целая сумка подарков для меня. Он показывает, что принес: шелковые чулки, французские сигареты, и «L'Heure Bleue» от Guerlain — во флаконе из шлифованного стекла, который ослепительно сияет, отражая свет. Я открываю духи и вдыхаю прекрасный аромат, насыщенный, отдающий миндалем и меланхолией.

Осторожно прикасаюсь к чулкам, ощущая, какие они тонкие, как паутинка. Я боюсь, что мозоли на моих руках насажают зацепок. Мне придется пользоваться перчатками, чтобы их надеть. Думаю, что эти подарки чересчур роскошны для меня: я слишком огрубела для подобной красоты.

Но в объятиях Гюнтера я не думаю ни о чем, кроме него. Так правильно и сладко, что он находится здесь, в моей постели, где и должен быть. Но после меня одолевают вопросы, они настойчиво бьются крыльями в темные окна моего разума.

И конечно, Гюнтер чувствует.

— Ты чем-то озабочена, дорогая, — говорит он. — Что-то важное?

— Ничего, не беспокойся, — отвечаю я.

Он пальцем очерчивает контур моего лица.

— Я знаю, что что-то есть.

— Да все как обычно. Знаешь, повседневные дела. Нехватка продовольствия. У Эвелин не все в порядке с головой...

Мои мысли вертятся вокруг истории Кирилла: связанные жители деревни в лесу. Мне хочется спросить Гюнтера, как подобное может случаться, как можно относиться к людям, словно они ничто, использовать и выкинуть за ненадобностью. Хочется узнать, слышал ли он когда-нибудь о подобной бесчеловечности. Но я не могу спросить. Потому что, если я спрошу, он сразу же поинтересуется, где я услышала эту историю.

— А что насчет малышки Милли? Ты все еще волнуешься за нее?

Лучше бы он не спрашивал. Слишком близко к тому, что давит на меня. Я слегка отворачиваюсь от него, чтобы он не видел моего лица.

— Нет, кажется, она в порядке. Все успокоилось.

— Больше никаких призраков?

— Нет, она больше не говорит ничего такого.

— Это был просто этап. Все дети проходят такие этапы.

— Да, думаю, так и есть.

Он глубоко вздыхает, потягивается и снова обнимает меня. Я кладу голову ему на грудь. Слушаю, как бьется его сердце.

— Как же хорошо быть дома, — говорит он мне.

Не могу поверить, что он так думает, что считает мою спальню домом. Говорю себе, что он обмолвился. Но я все равно счастлива от того, что он это сказал.

# Глава 67

Всю неделю, каждый вечер, я приношу еду в сарай. Кирилл ждет. Мы немного беседуем, но уже без того чувства защищенности, как в то время, когда он сидел за моим кухонным столом. Это меня печалит: я понимаю, что мы несколько отдалились друг от друга. Поэтому я рада, что у нас было то время в безопасности моего дома.

Я больше не боюсь, хотя всегда настороже. Это становится привычкой. Отнести еду в сарай, поговорить с Кириллом, а потом вернуться домой и ждать Гюнтера. Я перемещаюсь из одного мира в другой.

В пятницу вечером прихожу, как обычно, но Кирилла нет. Я сижу в дверном проеме, чувствуя глухое биение сердца. Наконец мне кажется, что я слышу тихие шаги, и меня охватывает облегчение. Я быстро оборачиваюсь, но позади меня ничего нет, только шелестящие травы и листья да тени от листвы. Я жду. Мне не по душе надолго оставлять Эвелин и Милли, но я не могу уйти, пока не увижу Кирилла.

Солнце начинает садиться, зажигая небо розовым, янтарным и золотым. Я сижу так неподвижно, что прямо передо мной бегают кролики, абсолютно бесшумно передвигаясь в растрепанной бледной траве. На темнеющем небе появляется белый как мел полумесяц, похожий на отстриженный ноготь. Перед самым комендантским часом я возвращаюсь домой.

Говорю себе, что всякое могло случиться. Может быть, заключенных заставили заделать дыру в ограждении. Или сегодня дежурит другой охранник, который не закрывает глаза на нарушения. Убеждаю себя, что завтра Кирилл придет. Но меня охватывает нехорошее предчувствие.

— Ты хмуришься, — говорит Гюнтер. Он проводит пальцем между моих бровей, словно желая стереть морщинку между ними. — Дело в Милли?

— Нет, это не Милли. Ничего особенного. Правда.

Я понимаю, что он мне не поверил, но он больше ничего не говорит, и это меня беспокоит. То, что он не задает вопросов. Как будто он знает, что я не скажу ему правду. Неужели он меня подозревает?

Когда я прихожу в сарай на следующий день, все, что я оставила, так и лежит под трактором. Корзина и полотенце валяются на земле, еда разбросана и погрызена. Похоже, здесь побывали крысы.

По спине пробегает холодок. Я вспоминаю ужасы, которые видела на поле Гарри Тостевина много месяцев назад: мужчину, забитого до смерти. Я не в состоянии даже представить, что могло случиться в том аду, в котором находится Кирилл.

Каждый вечер я возвращаюсь с надеждой, но Кирилл так и не появляется, а еда остается нетронутой или ее портят звери. Я знаю, что должна буду прекратить. Я не могу тратить продукты, если их никто не ест. Так что я начинаю приходить через день, а потом и вовсе перестаю.

Не знаю, что сказать Милли, и решаю не говорить ничего. Она существует в детстве, где есть только настоящее. Она постоянно гуляет с Симоном, они играют в каштаны, бродят по Белому лесу, ловят колюшку в ручьях. Может, она едва вспоминает Кирилла.

Как-то днем я готовлю угощение к чаю: шарлотку с яблоками из нашего сада — «Брамли», они хороши для готовки. Подслащаю их медом от Гвен и делаю хрустящую

посыпку из драгоценных крошек черствого хлеба. Милли наблюдает. Она любит смотреть, как я готовлю яблоки, как срезаю кожуру одной длинной блестящей спиралью.

Когда я вынимаю пирог из духовки, она возвращается на кухню. Воздух наполняют восхитительные ароматы карамели, яблока и поджаренного хлеба.

— М-м-м. Пахнет очень вкусно. Кириллу понравится, — говорит она.

Я молчу, стоя к ней спиной, и ощущаю ее вопросительный взгляд.

— В чем дело, мамочка? Кирилл в порядке? — спрашивает она.

Я знаю, что должна сказать ей, должна быть честной. Это мой долг. Он был ее другом дольше, как она сказала.

— Я не знаю, милая. Я беспокоюсь за него. Его не было в сарае. Я не видела его уже некоторое время.

Ее маленькое личико темнеет. Несколько секунд она молчит. По оконному стеклу скачет комар-долгоножка, нескладный и серый, как дождь. Снаружи бушует ветер, поднимая кучи разноцветных листьев. Еще больше листьев падает мимо нашего окна. Осень заканчивается, все вокруг рассыпается.

— Что с ним случилось? — спрашивает меня Милли.

— Наверное, он не смог выбраться из лагеря вечером. Или, может, его перевели куда-то еще. Он даже может быть уже в другой стране.

Но я не знаю, могло ли такое случиться: переводят ли невольников из одной страны в другую, или раз уж они оказались здесь, на Гернси, то здесь они и остаются.

— Он умер? — спрашивает Милли.

Я потрясена, услышав это слово из ее уст.

Меня охватывает желание успокоить ее, как всегда, когда ребенку снится кошмар: утешить, сказать, что в мире все хорошо. Но мне кажется неправильным, поступать так.

— Не знаю, Милли... Милая, ты не забудешь, что это должно оставаться тайной, да? Что Кирилл наш друг. Что мы его кормили. — Я беру ее лицо в ладони, смотрю ей в глаза, вижу в них золотые искорки. — Мы не должны никому рассказывать, никогда. Даже если больше не увидим его.

Она смотрит на меня блестящими темно-карими глазами.

— Я знаю, мамочка. Ты мне говорила. — Она немного сердится, оттого что я это повторяю. — Я же обещала. Это наш секрет, да?

«Да», — думаю я, и сердце мое пропускает удар.

# **Часть V**

## **Декабрь 1942 — Ноябрь 1943**

# Глава 68

Приходит зима, третья с начала оккупации. Кругом все закрыто. Мой сад заполнен голыми белыми ветками, словно маленькими костями. Холодно. На Гернси редко бывают морозы, но дует такой ветер, что пронизывает насквозь. С дороги, проходящей мимо полей Гарри Тостевина, видно море: бледное и свирепое. Оно бьется и колотится о землю, вокруг разлетается шлейф белых брызг.

Я стараюсьrationально использовать оставшиеся дрова. Когда в гостиной зажжен камин, ругаю девочек, если они забывают закрыть дверь и тепло уходит. Если война продлится еще год, я не знаю, где брать поленья для растопки. Возможно, придется рубить деревья в саду... всякий раз, когда я думаю об этом, грусть дергает меня за рукав.

Гвен рассказывает, что больше сотни человек вывезли в Германию. Как и говорил Гюнтер, их отправили в лагеря для интернированных. Гвен злится.

— Говорят, правительство Гернси даже не протестовало. Я знаю, у них связаны руки. Но они не могут быть уж совсем такими служивыми.

Она не спрашивает, почему моего имени нет в этом списке.

Я очень благодарна Гюнтеру, ведь за мной никто не пришел, и я все еще здесь, со своими детьми.

Как-то вечером ко мне в спальню приходит Бланш. На ее щеках виден румянец смущения. У меня нехорошее предчувствие.

— Мама, — тихо и стыдливо говорит она. — Я хотела кое о чем у тебя спросить... Дело в том... Это проклятье какое-то. Они не начались.

— Бланш. Нет.

Я в ужасе. У нас голод, дефицит, а теперь кормить еще один голодный рот.

Она вздрагивает.

— Мама, не сердись. Пожалуйста.

— Почему, черт возьми, я не должна сердиться? Сколько месяцев уже задержка?

— Только один. Мам, ты неправильно поняла. У меня не было... — Она не может это даже произнести. — Я хочу сказать, честно, дело не в этом. Ты же знаешь, мам, у меня даже парня нет. Дело в том, что я не хочу гулять с местными парнями. Они такие скучные... А даже если бы и гуляла... я, конечно же, не стала бы... ну, ты понимаешь... Мама, я следую заветам Библии. Почему ты мне не веришь?

Смотрю в ее глаза цвета лета. От моего взгляда она не вздрагивает.

— Ты говоришь правду?

— Да, правду.

Мой гнев испаряется.

— Милая, прости меня. Я просто беспокоилась...

Она молчит. Я понимаю, что она не сможет вот так просто простить меня за то, что я сомневалась в ней.

— Я думаю, это потому, что ты голодаешь. Когда очень сильно худеешь, в организме происходят такого рода изменения. Я где-то читала.

— Ох. Ты точно в этом уверена?

— Да. Это не значит, что с тобой что-то не так.

Я думаю о том, что от недоедания мой собственный цикл тоже сбился. Чувствую себя

неуято от того, что рассердилась на Бланш.

— А когда я выйду замуж, я смогу иметь детей? — спрашивает она.

— Да, конечно, — отвечаю я. — Все вернется в норму, как только мы начнем нормально питаться.

Обнимаю ее. Она сопротивляется, все еще сердится, что я проявила к ней недоверие.

\* \* \*

Наша одежда очень поизносилась. Для Милли ничего страшного нет — она может донашивать вещи Бланш. Так что у нее вещей много: шотландка-килт, свитер, связанный в стиле Fair Isle, платье из белой органзы с вишнево-красным поясом. В любом случае, ей всего шесть... ей пока все равно, что носить. Но Бланш в отчаянии. Она рассматривает фотографии в своих журналах и грезит о модных нарядах.

Однажды я, используя свою швейную машинку, шиваю дырявые простыни. Бланш задумчиво за мной наблюдает.

— Мама, а можно мне что-нибудь сшить? Что-нибудь новенькое? В последнее время я выгляжу так старомодно.

— Ничего подобного, милая. Ты всегда прекрасно выглядишь.

— Ты так говоришь, потому что ты моя мама, — отвечает Бланш. — Правда. Я серьезно.

— Я загляну в магазин, когда буду в Сент-Питер-Порте. Но вряд ли там будет хоть какая-нибудь ткань. Только остатки, которые никому не нужны.

— Селеста сшила юбку из старых штор. Она очень модно в ней смотрится. Ей очень идет... Дома наверняка есть какая-нибудь ткань, которую я могла бы использовать.

Я, в полной решимости найти для Бланш хоть что-нибудь, иду на чердак в задней части дома.

Чердак кажется таким уединенным, отделенным от остального дома. Единственный звук — шорох и воркование голубей на крыше. Здесь, на чердаке, оно громче, как будто дышит сам воздух. Через мансардные окна видно высокое зимнее небо, серое и блестящее, словно олово.

Открываю большой старый сундук, запах камфоры щекочет нос. Нахожу наволочки и скатерти, которые привезла с собой, когда вышла замуж. Лен слишком хорош для ежедневного использования, и каким-то образом они так и остались здесь. Я совсем забыла о них. На дне сундука нахожу зеленую бархатную портьеру, которая когда-то висела перед входной дверью для защиты от сквозняков.

Встряхиваю и расправлю ее. Насыщенный нефритовый цвет, напоминающий воду на глубине в жаркий летний день, как в Пети-Бо, где море плещется у подножия утесов. Этот цвет прекрасно подойдет Бланш. Уверена, она сумеет что-нибудь сшить. Сама я в шитье абсолютно безнадежна: любой кусок материи в моих руках становится непослушным, словно живет собственной жизнью. Но Бланш прирожденная портниха.

Отношу портьеру вниз и прикладываю к лицу Бланш.

— Этот цвет тебе очень идет, — говорю я.

— Я могу ее взять? Правда-правда?

— Конечно. Я повешу ее, чтобы выветрился запах нафталина.

— Но что же мне сшить?

Мы роемся в моих швейных принадлежностях из комода. Копаемся в спутанных, разноцветных мотках ниток и лоскутов яркой шерсти. Находим простую выкройку элегантного приталенного жакета, которую я привезла, но никогда так и не использовала. На девушке-модели наряд смотрится роскошно, она выглядит, как состоятельная молодая женщина. Так молоденькие девушки выглядели до войны.

Бархатная шляпка цвета чернослива игриво надвинута на один глаз. На ногах у модели красовались тонкие и изящные туфельки. Эту девушку можно было представить в каком-нибудь роскошном отеле у барной стойки с сигаретой в длинном мундштуке и бокалом «сайдкара»<sup>[6]</sup> в руке.

Бланш заглядывает мне через плечо.

— Вот именно так я и хочу выглядеть, — говорит она.

\* \* \*

Бланш усердно шьет каждый вечер. Спустя пять дней жакет готов. Она надевает его и идет в гости к Селесте. Цвет жакета оттеняет ее карамельные волосы и идеально ей подходит. Так неожиданно, но она выглядит повзрослевшей... она больше не девочка. Ее красота ослепляет меня.

— Выглядит потрясающе, — говорю я.

— Да, — соглашается Бланш.

Когда она уже собирается уходить, мы слышим велосипедный звонок, доносящийся из переулка. Иду открыть дверь. Это Джонни с подарком от Гвен: мешком белокочанной капусты и капусты листовой. Сегодня он как никогда суэтлив. Джонни почти натыкается на Бланш, когда входит в дом.

— Ой, — произносит он.

Я замечаю, как он смотрит на нее: широко открытыми глазами, ошарашенно, словно он никогда раньше и не видел ее толком. Бланш тоже замечает его взгляд. Она смущена, ей даже несколько неловко в присутствии этого мальчика, с которым она когда-то вместе играла. Яркий румянец заливает ее лицо и шею. Оба молчат и не улыбаются.

Позже, когда она возвращается домой перед самым началом комендантского часа, я вспоминаю этот небольшой инцидент.

— Как жаль, что вы с Джонни больше не видитесь, — говорю я ей, особенно не задумываясь. — Помнишь, как вы играли вместе, когда были детьми? Вы часами носились по лесам. И я никогда не забуду тот день, когда вы устроили на веранде гонки улиток... Вы были, как Милли с Симоном...

Бланш пристально смотрит на меня, она не улыбается. Я понимаю, что выбрала неверный тон.

— Это было сто лет назад, мам, — равнодушно говорит она.

Жакет все еще на ней. Бланш подходит к зеркалу в гостиной и любуется на себя. Она поднимает волосы, раздумывая, как они будут выглядеть заколотыми наверху, открывая ее изящную белую шейку. Несколько светлых прядей свисают по бокам. Она похожа на желтый цветок на тонком стебельке, который поворачивается к солнцу. Приняв очередную позу, она улыбается своему отражению и гладит лацкан жакета.

— Неделю назад это была всего лишь старая портьера.

Я любуюсь ею, восхищаюсь тем, что она сделала из давно забытой вещи такую прелесть.

\* \* \*

Волосы Гюнтера совсем побелели. Когда я это замечаю, — как всегда, когда понимаю, насколько отразились на нем прошедшие годы, — то думаю, что же он видит, когда смотрит на меня? Мои волосы по-прежнему темные, без признаков седины, но когда я случайно ловлю свое неулыбчивое отражение в зеркале, то вижу в своем лице какую-то новую суровость: крепко сжатые губы, нахмуренный лоб, как будто меня окружают трудности и я все время вынуждена защищаться.

Так что я стараюсь не смотреть в зеркала. Наша любовь теперь стала спокойнее, нежнее. Иногда мы просто засыпаем в объятиях друг друга, как давноженатая пара. Я благодарю судьбу за него, за его присутствие в моей жизни, в моей постели. Так легче переносить все происходящее.

Мы продолжаем получать новости о войне посредством радиоприемника, который мама Селесты прячет в одном из гробов мистера Озана. Бланш рассказывает нам про битву за Сталинград. Немецкая армия находится в городе, она окружена, но не сдается.

Я расспрашиваю Гюнтера.

— Что происходит в Сталинграде?

Вижу, как застывает его лицо, напрягаются мышцы вокруг рта.

— Это настоящий ад на земле, — говорит он. Я слышу отголоски страха, который всегда появляется в его голосе, когда он говорит о России. — Даже собаки и крысы покинули город, остались только люди. Говорят, что горит даже река. Там нет ничего, кроме огня и смерти...

Он запинается, как будто ни в моем, ни в его языке нет таких слов, которые могли бы выразить весь ужас.

— Это место называют братской могилой Вермахта, — продолжает он.

Мы радуемся приходу весны: трепещущим сережкам на деревьях, цветению на обочинах дорог, надежде, которая приходит с мягким воздухом и длинными днями. Бледно-желтыми утрами, когда ветерок приносит ароматы бутонов, а ночная влага еще лежит на траве, можно на некоторое время поверить, что жизнь не обязательно должна быть такой, что совсем не нужно бороться каждую минуту. Поверить в то, что всему приходит конец, и мы можем жить по-другому.

Весна уступает место лету. Прилетают ласточки. Мне нравится наблюдать за тем, как они летают над полями, как снуют вверх-вниз, словно плетут какую-то невидимую материю в широкой синеве неба.

В моем саду цветут розы, Белый лес наполнен пением птиц и тайнами, скрытыми под великолепным зеленым пологом. Мир вокруг раскрывает всю свою прелест независимо от того, что происходит с нами, независимо от наших страданий и выбора, который мы делаем.

# Глава 69

Это случается в разгар лета.

Однажды вечером, когда девочки уже в кроватях, за час до прихода Гюнтера, я сижу в гостиной с кучей вещей для штопки. Вдруг слышу тихий глухой удар в заднюю дверь. Я вскакиваю с мыслью о том, что какое-то большое животное врезалось в дверь — может быть, лошадь или корова вломились ко мне в сад. С бьющимся сердцем подхожу к двери и осторожно открываю ее.

У меня получается лишь чуть-чуть приоткрыть дверь: что-то давит на нее с другой стороны. Выглядываю в образовавшуюся щель. Я настолько сбита с толку, что в первую секунду не могу ничего разобрать и думаю, что мне на крыльце подбросили кучу грязного серого тряпья. Присматриваюсь повнимательнее. О Боже! Куча тряпья оказывается человеком. Он лежит лицом вниз. Я продолжаю смотреть, и он поднимает голову.

— Боже, Кирилл.

Моргнув, он открывает глаза.

«Господи, пожалуйста, — думаю я, — только бы никто не увидел...»

— Вивьен. Я вернулся.

Голос Кирилла не более, чем скрипучий шепот.

Произошедшие с ним изменения приводят меня в ужас. Он и раньше выглядел жалким, оборванным и голодным, но теперь он почти прозрачный от слабости. Черты лица запали, под кожей видно кости — так он будет выглядеть, когда умрет. Вокруг рта и глаз залегли глубокие тени, похожие на синяки. Он кашляет, и этот кашель, словно хищный зверь, раздирает его изнутри, почти убивая.

Он едва двигается, только чтобы я смогла открыть дверь. Выскользываю наружу.

— Можешь подняться?

Я протягиваю руку. Кирилл хватается за нее и, шатаясь, встает на ноги. Завожу его в дом.

Кормлю его тем, что осталось: холодной картошкой и супом. Кирилл ест медленно, ему приходится прикладывать усилие, чтобы проглотить еду, на это уходит вся его энергия. Вспоминаю, как нетерпеливо и жадно он ел когда-то. Я рада, что Милли спит и ей не придется увидеть своего друга таким.

— Ты перестал приходить в сарай, — говорю я.

— В лагере были другие охранники.

Но, возможно, это ненастоящая причина. Возможно, он перестал приходить, потому что я сказала, что у меня бывает немец.

Прикуриваю сигареты и передаю ему одну. Кирилл сидит за столом, поддерживаю голову рукой. Я смотрю на него, на сизые, словно пепел, тени на его лице. Вспоминаю, как выглядела моя мама во время болезни, как заметно было приближение смерти. Я знаю, ему осталось всего несколько дней. И все же он пришел сюда, чтобы найти меня. Что-то в нем продолжает цепляться за жизнь, что-то не сдается — еще не сдается. Он пришел.

И тогда я понимаю, что именно я должна сделать. Понимаю, что это абсолютно необходимо. Внезапно меня накрывает важность момента, обдает, словно дождь. Но я пытаюсь уклониться. Все происходит слишком быстро: я не готова. Обычно я не действую так импульсивно, под влиянием момента. Я все тщательно обдумываю, взвешиваю. Но

сейчас нет времени на это.

Я с трудом сглатываю. Горло пересохло от страха. После этого мне будет некуда отступать.

— Кирилл. — Мой голос звучит почти нормально, разве что немного выше, чем обычно. — Если бы существовала возможность выбраться, если бы я могла найти кого-то, кто поможет тебе сбежать, ты бы хотел этого?

Его глаза на секунду загораются.

— Да, — отвечает он. — Да, Вивьен.

Теперь, когда я произнесла это, меня охватывает панический страх: за него и за себя тоже.

— Подумай, — говорю я. — Тебе нужно все хорошенько обдумать. Если ты попытаешься сбежать и тебя найдут, то тебя застрелят на месте. Ты это знаешь.

Он начинает отвечать, но слова тонут в приступе кашля. Кашель подавляет его, вцепившись в него когтями. Кирилл пытается заговорить, как будто у него мало времени и ему необходимо это сказать, но ему не хватает воздуха.

Наконец кашель стихает.

— Вивьен, если я останусь в лагере, мне не жить.

— Сейчас я не могу оставить тебя здесь. Я должна выяснить, как все организовать. Мне нужно кое с кем поговорить.

Кирилл кивает.

— Приходи завтра в сарай, — говорю я. — Встретимся там. Я посмотрю, что смогу сделать.

Провожаю его через дорогу. Еда — или мое обещание — придала ему немного силы: теперь он может идти. Он дрожит, но все же от его тела исходит тепло. Его рука на моей кажется такой легкой, как прикосновение упавшего перышка.

# Глава 70

Дверь на кухню Гвен открыта. Сама Гвен стоит около раковины и чистит картошку. Она оборачивается, видит мое лицо, и ее собственное тут же мрачнеет. Она откладывает нож и вытирает руки фартуком.

— Вив, что такое? Что-то случилось?

— Гвен, мне нужно увидеть Джонни.

Ее лоб прорезает складка.

— Он пытается починить трактор, — говорит она. — Там, за лугом. Вив, я могу чем-нибудь помочь?

— Мне просто нужно сказать ему пару слов.

Гвен торопливо кладет влажную ладонь мне на руку.

— Не впутывай его ни во что, Вивьен.

Она слишком хорошо меня знает, возможно, смогла понять мои намерения по выражению лица. В ее голосе отчетливо слышна мольба.

— Я должна попросить его кое о чем.

Гвен не пытается меня остановить. Она прислоняется к раковине и, крепко обняв себя руками, смотрит, как я ухожу.

Я обхожу дом сзади, иду мимо теплиц, от которых тепло пахнет томатами, мимо поля, на котором растет трава для сена. Она шелестит и движется от ветра, как будто ее гладит невидимая рука.

На дороге, возле обочины, я вижу трактор. Джонни почти засунул голову в двигатель. Он поднимает взгляд и удивляется, заметив меня.

— Тетя Вив?

Он выпрямляется. Его пальцы покрыты черными потеками масла. Он отвлекается, чтобы вытереть ладони тряпкой, но на его лице написан вопрос.

— Я хотела кое-что спросить... — Мой голос тихий и скрипучий. — У меня проблема, Джонни.

Я говорю очень тихо, хотя рядом нет никого, кто может услышать. Ветер нашептывает в неровной кромке луга. Джонни подходит ближе и ждет, когда я продолжу.

— Есть один человек. Он из рабочего лагеря. Кирилл... Его зовут Кирилл. — Я думаю, что не знаю его фамилии и мне не пришло в голову спросить. — Он из Беларуси. Мы дружим. В прошлом году он некоторое время приходил ко мне домой и я его кормила.

Глаза Джонни расширяются, но он молчит.

— Потом я долго не видела его. Я беспокоилась о том, что могло произойти. В смысле, ты же знаешь, на что похожи эти места... — Мой голос срывается от паники, слова вырываются, наскакивая друг на друга. — Вчера вечером он снова пришел. Он болен, ужасно болен. Я очень боюсь за него. Если он останется в лагере, то умрет. Я знаю. Это видно... Джонни, я не могу позволить ему умереть...

Я понимаю, что мое лицо мокро от слез.

Джонни смущен.

— Не плачьте, тетя Вив, — беспомощно говорит он.

Он вытаскивает из кармана носовой платок и протягивает мне. Я вытираю лицо, но слезы все равно текут.

— Джонни, ты можешь нам помочь?

Некоторое время он молчит. Между нами и вокруг нас стоит абсолютная тишина. Все замерло: поля, дороги, леса — все притихло. Сышен успокаивающий шелест ветра в высокой полевой траве.

Джонни меняется в лице.

— Наверное, могу, — с подозрением отвечает он.

Я надеялась услышать что-то определенное, ясное и понятное.

— Ты говорил, что у вас были планы помогать заключенным бежать. — Мой голос дрожит, но звучит обвиняюще. — Ты говорил про безопасные дома.

— Мы работаем над этим. Но пока еще не до конца организовали. На Джерси есть целая сеть...

— Так ты можешь помочь? — снова спрашиваю я. Все еще желая получить другой ответ.

— Возможно.

— Дело в том, что Кирилл очень хорошо говорит по-английски. Его научил человек, живший в его деревне. Он когда-то преподавал в университете...

При этих словах на лице Джонни появляется какое-то новое выражение, как будто это все меняет.

— Достаточно хорошо, чтобы сойти за местного жителя?

— Да.

— Тогда другое дело, — говорит он, и его лицо светлеет. — Если он сможет жить как один из нас...

— Сможет. Я уверена, что сможет. Конечно, местные поймут. Они услышат акцент... у него небольшой акцент. Но, думаю, немцы не смогут понять.

— Именно так делают на Джерси. Там живет группа человек, которым удалось сбежать. Их не прячут, они живут на виду, как работники на фермах... Это единственный способ.

Носком ботинка Джонни чертит в грязи беспорядочные полукруги, планируя, раздумывая, решая.

— Будет лучше пока спрятать его, — говорит он мне. — Конечно, ему понадобится удостоверение личности, а изготовление займет некоторое время. В городе есть человек, который их делает. А в Сент-Сампсоне есть кое-кто, кто, думаю, возьмет его к себе. Хотя на самом деле будет лучше, если вы не будете знать детали...

— Сегодня ночью он будет у меня дома. Ты можешь прийти и забрать его.

Но Джонни качает головой, отчего земля уходит у меня из-под ног.

— Нет, не сегодня, тетя Вив. Мы должны забрать его в дневное время.

— Почему? Почему в дневное время?

Мое сердце несется вскачь.

— Для начала, мы не можем рисковать и выходить после наступления комендантского часа. И понадобится время, чтобы отвезти его туда, куда нужно.

— Ох.

— В любом случае, как я и сказал, такие вещи лучше делать на виду. В середине рабочего дня. Вечером джерри скорее остановят вас, посчитав, что вы что-то задумали.

Я крепко сжимаю ладони, чтобы Джонни не заметил, как я дрожу.

— Тетя Вив, вы сможете оставить его у себя всего на одну ночь?

О Боже.

— В соседнем доме живут немцы.

Я едва могу говорить, все заглушают глухие удары моего сердца.

— Это не проблема. Они же не собираются приходить прямо к вам в дом...

Я молчу.

— Забавно, но это даже поможет. Пойдет нам на пользу. Никто не подумает, что вы станете рисковать. Вас никогда не заподозрят в том, что вы кого-то прячете. В такой близости от немцев.

Я не могу сказать ему, насколько близко они на самом деле. Не могу рассказать ему о Гюнтере и о том, как опасна эта затея. Знаю, это нечестно по отношению к Джонни: если он будет мне помогать, то должен полностью понимать риски. Но я не могу.

— У вас есть, где его спрятать? — спрашивает Джонни. — Какой-нибудь укромный уголок в доме?

Я думаю о чердаке, где иногда играют Милли с Симоном.

— У нас есть небольшой чердак в задней части дома. Там отдельная лестница. Он не спрятан, но заметен не сразу. — Пытаюсь вспомнить, играл ли он там с вместе с Бланш, но то время кажется слишком давним, как изображение сквозь призму: крохотное, радужное, далекое. — Не знаю, бывал ли ты там когда-нибудь...

— А одежда, которую он мог бы носить, есть?

Теперь глаза Джонни блестят. Он взволнован: пазл собрался, все кусочки встали на свои места. С нехорошим предчувствием я понимаю, что для него это все еще игра.

— Он может надеть что-нибудь из старых вещей Юджина. Они будут ему слишком свободны, но они примерно одного роста, — говорю я.

Джонни кивает:

— Никто не должен знать. Ни Бланш, ни Милли — никто. Так будет безопаснее для всех.

— Да, конечно.

Его горящий взгляд останавливается на мне.

— Так вы сможете это устроить, тетя Вив?

Я думаю об опасностях, которые подстерегают нас — мою семью, Джонни — и расходятся, словно круги на воде в том месте, где в пруд бросили камень. Но потом я вспоминаю Кирилла: он пришел, чтобы найти меня.

— Да, смогу.

— Спрячьте его на ночь, а первым делом утром я уже буду у вас. Мне нужно взять лошадь и повозку: этот трактор на последнем издыхании. Я найду что-нибудь, чтобы накрыть его. Я буду у вас, как только смогу. Обещаю.

И вдруг все это становится реальным. Весь ужас, который я отгоняла, сжимает мою грудь так, что невозможно вздохнуть.

— Я сейчас же отправлюсь встретиться со своим связным. — Неожиданно лицо Джонни расплывается в усмешке. — А вы, оказывается, темная лошадка, тетя Вив. Никогда бы не подумал про вас такое. Что ж, это хорошо.

По пути домой мне постоянно хочется оглянуться. Как в те летние деньки, еще до оккупации, когда мы с девочками шли по перешейку с острова Лиху и нас преследовал страх, что вода нас догонит.

# Глава 71

В спальне достаю из гардероба вещи Юджина: брюки, пару льняных рубашек, ботинки из толстой кожи. Взяв одежду в охапку, иду к лестнице рядом с комнатой Бланш. Она ведет на чердак.

Слышу, как за спиной открывается дверь. Из своей комнаты выходит Эвелин. У меня внутри все обрывается. Не хочу придумывать объяснения для нее.

Эвелин пристально смотрит на одежду и обувь в моих руках.

— Что ты делаешь, Вивьен?

— Ничего... не беспокойся.

— Вивьен, зачем тебе его одежда? Он возвращается?

— Нет, не сегодня. Я просто разбираю вещи. Навожу порядок в гардеробе. Освобождаю место.

Кажется, она меня не слушает.

— Он возвращается домой, да, Вивьен?

Неожиданно ее лицо оживает в отчаянной надежде. Меня охватывает печаль. В последнее время это часто происходит: Эвелин постоянно заново сталкивается с жестокостью жизни и ужасным осознанием отсутствия сына.

— Нет. Юджин пока не возвращается. Он все еще далеко, Эвелин.

— Ты говоришь правду?

— Да, конечно. — Говоря это, я чувствую вину за столько вещей. — Мне очень жаль, Эвелин.

\* \* \*

С колотящимся сердцем жду внутри сарая. Кирилл опаздывает, и я начинаю думать, что, возможно, он уже умер. От этой мысли маленькая постыдная часть меня, забывшаяся, словно мышь, в дальнем уголке разума, испытывает облегчение. Потому что, если бы он не пришел, мне не нужно было всего этого делать.

Слышу шарканье за спиной и обворачиваюсь. Кирилл здесь. Он так слаб, что едва может идти. Беру его за руку, чтобы помочь. Стоит прекрасный летний вечер, и солнце еще немного пригревает, но Кирилл дрожит. Мы идем по полям, переходим дорогу, стараясь держаться в тени. Кирилл двигается так медленно, что мне кажется, мы идем целую вечность. Я позволяю себе выдохнуть, только когда закрываю за ним заднюю дверь дома.

На кухне сажаю Кирилла за стол. Его взгляд кажется затуманенным и отстраненным. Насколько все это: моя комната, наши планы — реально для него? Может, настоящее ускользает от него, а мир становится иллюзией, исчезающим местом, наполненным туманом и воспоминаниями? Или, может, все происходящее кажется ему сном?

— Кирилл, ты не изменил своего мнения? Ты еще хочешь бежать? Ты готов рискнуть? Я должна быть уверена.

Он пытается заговорить, но его сотрясает кашель, лишая сил.

— Да, — произносит он, кашляя, выдавливая слова, как будто не смея упустить момент. — Да.

Кашель прекратился. Кирилл кладет голову поверх сложенных на столе рук, словно она слишком тяжелая и он не может держать ее прямо.

— Тогда вот, что мы сделаем. Сегодня ночью ты можешь остаться здесь. Будешь спать на чердаке, — говорю я.

— Спасибо, Вивьен.

— Утром за тобой придут и заберут тебя в безопасное место. До тех пор, пока тебе не сделают документы. После этого ты станешь жить здесь, как местный. Мы найдем тебе жилье.

Кирилл сжимает мою ладонь.

— Спасибо, — говорит он. — Спасибо.

Когда он сыт и вымыт, отвожу его на чердак. Сердце колотится у меня в горле, но в доме тихо: девочки в своих комнатах, Эвелин крепко спит.

На чердаке уже все готово. Я поставила старую раскладушку и застелила ее теплыми одеялами, принесла одежду Юджина, свечу и воду, чтобы можно было попить ночью.

Увидев это, Кирилл тихо вздыхает, как будто наконец-то может дышать свободно.

— Спасибо за вашу доброту, — говорит он.

Закрываю за собой дверь на чердак. Меня охватывает чувство триумфа: мы столько сделали. Сегодня я смогу присмотреть за ним, и ему не придется возвращаться в этот адский лагерь. Я знаю: то, что Кирилл здесь, в моем доме, — правильно. Это ощущение окатывает меня теплом, как лихорадка.

Я спускаюсь в спальню и готовлюсь к приходу Гюнтера: расчесываю волосы, наношу на кожу немного духов, которые он подарил мне. Слышиу знакомые скрипты и шорохи дома, когда он затихает и словно готовится ко сну. Но в следующую секунду робкое чувство триумфа покидает меня. Ладони внезапно намокают от пота, и щетка для волос выскользывает из руки. Даже находясь внизу, в своей спальне, я слышу кашель Кирилла.

\* \* \*

В десять часов Гюнтер стучит в дверь.

— Вивьен.

Он всегда произносит мое имя так, словно отвечает на вопрос.

Веду его в свою комнату.

Гюнтер целует меня, но отстраняется, слегка нахмутившись и вглядываясь в мое лицо.

— Что такое? — спрашивает он.

— Ничего.

Он не убежден.

— Ты кажешься взволнованной, дорогая. Расскажи мне, в чем дело.

— Ни в чем. Правда. Все как обычно. — Я хватаюсь за первое объяснение, которое могу придумать. — Просто надо накормить всех. Нам не хватает продуктов...

— Я посмотрю, что смогу сделать.

Он снова целует меня.

Я пытаюсь расслабиться, но это невозможно. Такое чувство, что я балансирую на опасной грани — на узком высоком уступе, а вокруг меня опасно свистит ветер.

— Тебе было хорошо? — обеспокоенно спрашивает меня Гюнтер после.

— Да, очень хорошо. С тобой всегда хорошо.

Я лежу, устроив голову у Гюнтера на плече, и слышу, как Кирилл начинает кашлять. Мысленно приказываю ему перестать, но кашель продолжается бесконечно. Очень сложно не вздрогнуть, когда я его слышу. Для этого требуются все силы.

Гюнтер хмурится, прислушиваясь.

— У твоей свекрови ужасный кашель, — говорит он.

— Да, ей очень плохо.

Ненавижу лгать ему.

— Я вижу, как это тебя беспокоит. Ты очень напрягаешься, когда она кашляет.

— Да, она такая слабая...

— Не хочешь, чтобы Макс зашел осмотреть ее?

— Лучше не надо.

Вокруг меня завывает ледяной ветер. Только не смотреть вниз.

— Макс будет не против.

— Да, я знаю. Он был так добр к Милли, когда она поранилась... Просто... Не думаю, что Эвелин примет его помощь. Она слишком правильная. Она считает это слишком вольным и не одобрит.

— Что ж, если ты уверена. Но предложение остается в силе. Я знаю, что он был бы рад помочь ей.

Несколько секунд мы оба прислушиваемся к кашлю. Гюнтер издает недовольный горловой звук.

— Звучит очень плохо, — говорит он. — Ее нельзя оставлять в таком состоянии. Нужно ей помочь.

— Да, я найду помощь.

Впервые за время нашей связи я жду не дождусь, когда же он уйдет.

На улице все еще темно, когда он, вздрогнув, просыпается. Провожаю его вниз по лестнице и стою на пороге, глядя, как он уходит. Двор залит серебристым светом луны, но у края дороги залегли густые тени. На фоне гравийной дорожки силуэт Гюнтера кажется черным, так что он и его тень составляют единое целое.

Я смотрю, как он идет через мой черно-серебристый двор, двигаясь сквозь свет и тень прочь от меня. Мне вспоминается сказка, которую я читала Милли, сказка из книжки, которую дала мне Энжи: о волшебных завоевателях, которые пришли из далеких стран и женились на женщинах острова.

Но несмотря на брак, они были связаны кровным договором, поэтому их жены не знали, когда возлюбленные покинут их и уплывут, держа курс на тонкую синюю линию на границе мира, в своих лодках, которые могут стать малосенькими, как галька или тонкая птичья косточка.

\* \* \*

Когда Гюнтер уходит, я поднимаюсь на чердак.

Кирилл уже спит. Сквозь незанавешенные окна на него падает лунный свет, и его кожа кажется прозрачной, почти светящейся. Даже во сне его руки цепляются за одеяло, словно это дорогая вещь и ее могут отнять.

Я слышу опасные, пронзительные звуки в его дыхании. Но на его спящем лице покой, даже умиротворенность. Снится ли ему родина, место, где осталось его сердце, земля тихих рек и березовых лесов?

Я долго стою, глядя, как он спит. И ощущаю неожиданное, хрупкое счастье. Я знаю, что поступаю правильно.

Этой ночью я сплю крепко, а мои сны спокойны и безмятежны. Мне снится полет. Я лечу над морем навстречу утру. Высоко надо мной темное небо, внизу — темное море, а впереди золотой ореол и сияющее великолепие восходящего солнца.

## Глава 72

— Мам, в честь чего овсянка? — спрашивает Бланш.

— У меня осталось немного овсяной крупы. Я подумала, что мы можем ее доесть, — неопределенно говорю я.

— М-м-м, я люблю овсянку. Помнишь, до оккупации мы ели кашу каждый день?

Но вспоминать, как было до оккупации, становится все труднее.

Когда Бланш уходит на работу, Милли играет в саду, а Эвелин вяжет в гостиной, я достаю поднос и ставлю на него еду для Кирилла. В молочнике жирное молоко, чтобы полить кашу. И еще я собираюсь дать ему кукурузный сироп, который бережно хранила.

Я берегла сироп для Милли, на случай если ей придется пить какое-нибудь горькое лекарство. Его осталось на самом донышке банки. Выскребаю остатки ложкой и смотрю, как густой золотистый сироп капает в миску. И все это время прислушиваюсь: жду лошадь и повозку, жду Джонни.

Раздается стук в дверь, а затем кто-то входит в дом, не дожидаясь ответа. Какое облегчение. Это, должно быть, Джонни. Удивительно, как это я не услышала повозку. Наверное, он подумал, что будет безопаснее оставить ее на дороге, не доезжая.

Ставлю поднос обратно на стол и выхожу из кухни в коридор.

Там стоит Гюнтер. В руках у него буханка хлеба. Он что-то замечает во мне и тут же выглядит неуверенным.

— Я не стал ждать, пока ты подойдешь к двери, — тихо говорит он, изучая мое лицо. Волнуется, не сделал ли он чего-то, что могло меня разстроить. — Там на дороге какая-то женщина гуляла с собакой.

«Наверное, Клемми Ренуф», — думаю я. Когда-то давно, в другой жизни, я бы встревожилась.

— Я знаю, тебе не хотелось бы, чтобы она видела меня у твоей двери, — говорит он.

— Да. Спасибо.

— Вивьен, я знаю, тебе не нравится, когда я прихожу днем. Но я беспокоился за тебя... Мне хочется, чтобы он перестал так извиняться.

— Тебе не нужно беспокоиться о нас. Но это очень любезно с твоей стороны, — говорю я.

Собственный голос кажется мне незнакомым, как будто чужим.

Гюнтер проходит в кухню и кладет хлеб на стол.

— Ты сказала, что вам не хватает продуктов, и я подумал, что это поможет.

В его голосе слышится сомнение. Я вижу, как его взгляд останавливается на подносе с едой.

— Это очень любезно, — повторяю я.

Фраза получается неправильной: официальной и сдержанной. Как будто мы едва знакомы. Как будто наша любовь мне только приснилась.

— Ты уверена, что все в порядке, Вивьен?

— Да, все хорошо.

У меня трясутся руки. Я прячу их в карманы фартука.

— Как твоя свекровь?

— Все так же. Спасибо, что спросил.

Гюнтер все еще озадаченно смотрит на поднос. Я знаю, что должна объясниться.

— Я как раз собиралась отнести ей завтрак наверх.

— Надеюсь, что скоро ей станет лучше. Я и правда считаю, что тебе надо попросить врача осмотреть ее.

— Да, я так и сделаю.

— Дорогая, — очень тихо говорит он. — Есть еще кое-что. Боюсь, что не смогу прийти сегодня ночью. У меня назначена поздняя встреча.

Я киваю. Надеюсь, что он не сможет прочесть по моему лицу охватившее меня облегчение.

— Большое спасибо за хлеб, — говорю я.

— Не за что.

Провожаю его до двери. Он быстро выходит, и я закрываю дверь.

Поворачиваюсь и чувствую, как мое тело сотрясает барабанная дробь надвигающейся беды. Я продолжаю стоять в коридоре, не в силах сдвинуться с места. Отчаянно стараюсь вспомнить, где именно стоял Гюнтер, когда вошел в дом. Мог ли он видеть, что у меня за спиной? Видел ли он гостиную? Видел ли, что там сидит и вяжет Эвелин, и выглядит при этом вполне здоровой?

# Глава 73

Когда я вхожу, Кирилл вздрагивает. Он в замешательстве осматривается вокруг.

— Кирилл, это Вивьен, — мягко говорю я. — Ты теперь живешь у меня, помнишь? Ты больше не в лагере.

Я сажусь на сундук и жду, пока он окончательно проснется. В ярком утреннем свете вижу берлогу, которую соорудили Милли с Симоном из побитой молью занавески, накинув ее на бельевую сушилку. Старая сломанная кукла уложена спать в коробку. Похоже, это дело рук Милли. Думаю, иногда Милли приходит сюда поиграть. Мне придется поговорить с ней.

Кирилл неуверенно садится. Я подкладываю подушки ему под спину.

— Вы так добры, Вивьен.

Вокруг его глаз и рта залегли сиреневые следы болезни.

— Я принесла тебе завтрак.

Добавляю в кашу ложку патоки, наливаю молоко.

Кирилл наблюдает, как молоко перемешивается с кашей, смотрит на обилие сиропа.

— Он уже здесь, Вивьен?

— Нет. Еще нет. Но он придет, — говорю я. — Я ему верю. Я знаю его много лет.

— Мне показалось, что кто-то пришел. Когда я спал. Я думал, это пришел ваш друг.

— Это был другой человек. Но не беспокойся. Здесь ты в безопасности.

— Я не хочу подвергать вас опасности. Ведь вы так добры ко мне.

— Просто отдыхай и набирайся сил. Не волнуйся за нас.

\* \* \*

Милли в саду прыгает через скакалку и с приподыханием напевает:

Крошка Тим был совсем мал.

В ванне он никогда не бывал.

В воду его Люси опустила —

Умеет ли плавать знать захотела.

Лужайку перед домом пора стричь; длинная трава блестит от росы, как и цветущие сорняки, которые разрослись здесь: тысячелистник, одуванчики, белый клевер. Все вокруг искрится.

— Милли.

Я нарушила ее сосредоточенность. Она пугается и задевает скакалку.

— Мама, из-за тебя я споткнулась, — обвиняющее, на выдохе говорит она.

Ее лицо разрумянилось, а темные волосы блестят на ярком солнце, как шкура тюленя.

— Извини, милая. Но мне надо сказать тебе кое-что важное.

Держа скакалку в руке, Милли ждет, все еще досадуя на то, что я нарушила ее ритм. На ней летние сандалии, ремешки которых потемнели от влаги. Вокруг нее видно узоры из следов в тех местах, где она своими прыжками примяла траву.

Я наклоняюсь к ней и очень тихо говорю:

— Милли, я хочу, чтобы сегодня ты не играла на чердаке.

Она озадачена.

— Я и не собиралась, мамочка.

— Хорошо. Но все равно пообещай мне.

— Обещаю.

За ее спиной, по стене дома вьются плетистые настурции, оранжевые, словно языки пламени, как будто там разгорелись маленькие костры.

— И это секрет, — говорю я. — Просто сделай, как я говорю. Не рассказывай ни Бланш ни Эвелин — никому.

На ее губах играет легкая улыбка.

— Один из тех секретов, мамочка? Только наш с тобой?

— Да.

Но мне кажется, что я рассудила неправильно. Я знаю, она подозревает, что это имеет отношение к Кириллу. Возможно, следовало промолчать и надеяться на лучшее или быть честной и все рассказать. Не знаю, какой путь верный. Я больше не знаю, как уберечь ее.

# Глава 74

Все утро прислушиваюсь, не раздастся ли стук копыт и звук повозки. Мой слух стал острым, он не упускает ничего, но Джонни не появляется. Утро тянется целую вечность. А сердце колотится, колотится. Не могу сидеть без дела. Занимаю себя тем, что готовлю ланч, но от запаха овощей, кипящих на плите, меня тошнит.

Около полудня слышу быстрые шаги, скрипящие по гравию. Наконец-то. Я уверена, что это Джонни, и бегу открывать дверь.

— Ох.

Это Пирс Фалья. Я уставилась на него: на его искривленное тело, на глаза, которые смотрят прямо вам в душу. Понимаю, что он очень торопился: его черные волосы прилипли ко лбу, а лицо блестит от пота.

— Пирс, что вы здесь делаете?

Но я уже знаю. Понимаю по его лицу, которое одновременно жесткое и охваченное горем.

— Джонни. Эти сволочи его забрали. Он арестован, — говорит Пирс.

Мое сердце подскакивает прямо к горлу.

— О Боже.

Первая мысль о том, что это моя вина, потому что я попросила его о помощи. В этой беде виновата только я.

— Они пришли вчера вечером. — В голосе Пирса слышится горечь. Он немногос отворачивается от меня, желая скрыть свои чувства. Я вижу его профиль, острый нос и очертания бровей, которые напоминают хищную птицу. — Они нашли дробовик Брайана.

Я продолжаю смотреть на него. Это не то, что я думала. Сначала я даже не понимаю, о чем он.

— Оружие, которое принадлежало его брату, — объясняет Пирс. — Немцы запретили беспроводные радиоприемники. Наверное, какая-то двуличная крыса их выдала. Должно быть, кто-то рассказал, что на ферме Вязов есть радио. Так что эти ублюдки пришли к Джонни домой и обыскали его комнату.

— Я думала, что он закопал дробовик. Гвен говорила. Она сказала, что проследит за тем, чтобы Джонни его закопал.

Пирс безнадежно качает головой:

— Он спрятал его под своей кроватью. Он хранит все вещи Брайана. Иногда Джонни бывает таким идиотом.

Даже его голос исполосован шрамами. Я понимаю, как сильно он любит Джонни.

— Что произошло? — спрашиваю я. — Они его били?

Я думаю не о побоях, а о худшем. Сердце до боли колотится в груди.

— Он в тюрьме в Сент-Питер-Порт, е — говорит Пирс.

Это большое облегчение — знать, что он, по крайней мере, жив.

— Но... что с ним сделают? — Горло сжимается. Я едва могу выговорить слова. — Пирс, его расстреляют?

— Не обязательно, — коротко отвечает он.

— От чего это зависит?

Он слегка дергает плечом, что можно было бы принять за пожатие, если бы за этим

жестом не крылось столько боли.

— А Гвен? С ней все в порядке?

Он холодно смотрит на меня. Я понимаю, что он презирает меня за эти глупые вопросы.

— А вы как думаете? — спрашивает он.

Я очень хочу ее увидеть, но не могу уйти, не могу оставить дом.

Протягиваю вперед руку в отчаянном жесте, словно утопающий.

— Пирс, — шепчу я. — Кирилл здесь. Кирилл из лагеря. Он у меня на чердаке.

— Поэтому я и пришел. Вам придется подержать его у себя.

В его голосе звучит сталь. Я слышу, как за его спиной насекомые роятся вокруг плодов на моей груше, они жужжат и потрескивают, словно пережаренный сахар на сковородке. Сейчас все звуки кажутся мне опасными.

— Джонни говорил, что это на одну ночь. — Понимаю, что мой голос дрожит. — Он говорил, что вы перевезете Кирилла в безопасное место в Сент-Сампсоне.

Пирс коротко качает головой.

— Сейчас мы не можем его перевезти. Не тогда, когда за нами следят.

Сквозь дрожащую между нами тишину слышу Милли в саду позади дома:

Медсестра пришла, доктор пришел,

И милая леди с большим кошельком...

Ее голосок устремляется вверх, как яркий воздушный шарик.

Несмотря на щедрое тепло солнца, меня пробирает озноб.

— Пирс... у меня дети.

— Вы хотели помочь Кириллу.

Его губы сжимаются в тонкую безжалостную линию.

— Конечно, я хотела. И хочу.

— Тогда помогайте.

Этот юноша — все, что у меня есть. Он один может помочь мне. Этот резкий мальчик с лицом пустельги, который едва меня знает, но подозревает правду обо мне. Этот мальчик, который нарисовал бы свастику на стене моего дома.

— Но я не могу. Я не герой.

Кажется, что мой голос эхом отдается в пустых комнатах моей памяти. Я думаю о том, как однажды Гюнтер сказал мне те же слова.

— Возможно, вам придется стать героем, — сухо произносит Пирс. — Просто прячьте его. Кто-нибудь придет.

— Когда? Когда кто-нибудь придет?

— Это может занять неделю.

— Я боюсь, — говорю я и тотчас же жалею о своих словах. Каким бы ни был этот мальчик, он не слабый. Не думаю, что он понимает, что такое быть слабым.

— Переживете, миссис де ла Маре. — Его резкий голос царапает мою кожу, словно наждачная бумага. — По всему миру люди истекают кровью и умирают. Вы можете смириться с тем, чтобы немножко побояться.

Я молчу.

— Вы знаете, что делать, — говорит он мне.

А потом, как будто устыдившись своей резкости, он кладет ладонь на мою руку. Я чувствую его тепло сквозь тонкий рукав блузки.

— Вы сильнее, чем думаете. Просто подержите его у себя. Кто-нибудь придет.

Пирс разворачивается и уходит.

\* \* \*

Кирилл лежит в постели. Он наполовину спит, подтянув одеяло к лицу.  
Я опускаюсь на колени рядом с раскладушкой.

— Кирилл.

Он открывает глаза и видит меня.

— Ты должен кое-что знать. Планы изменились. Тот мальчик, который собирался прийти, — мальчик, которого я знала, — он сегодня не придет.

Замечаю, что говорю в прошедшем времени: «...мальчик, которого я знала...».

— Что-то пошло не так, Вивьен? — спрашивает Кирилл.

— Ничего страшного. Просто им придется послать кого-нибудь другого.

— Когда, Вивьен? Когда это будет?

— Мы точно не знаем. Это может занять несколько дней. Здесь ты будешь в безопасности.

Замечаю в его лице нечто удивительное: не страх, которого я ожидала, а готовность отпустить, безграничное облегчение. Я сразу понимаю, почему он это чувствует: он знает, что ему не придется вставать с кровати, что он может просто оставаться здесь и дремать в косых лучах солнца.

Он спокоен впервые с того момента, как немцы ворвались в его дом, давным-давно, в другом мире, в темноте раннего белорусского утра. Ему не приходится каждую секунду бороться за то, чтобы просто выжить. Он может лежать здесь и слушать воркование голубей на крыше и мечтать о своих лесах, реках, о деревянных избах, на которых устраивают гнезда аисты.

— Спасибо, Вивьен.

Он вздыхает, откидывается на подушки и тут же засыпает, словно захлопнулась дверь.

# Глава 75

Воскресенье. Готовлю завтрак для Эвелин и девочек, отношу Кириллу поесть.

После завтрака Бланш, в элегантном жакете, который сама сшила, отправляется на утреннюю службу в Сент-Питер-Порт. Эвелин читает Библию, Милли играет картонными куклами с вырезанными одеждами. Я открываю окно на кухне. Стоит прекрасное летнее утро, в вышине висит легкая серебристая дымка, словно синеву неба накрыли кисеей. Через открытое окно в кухню струится зеленый от пыльцы воздух и песня дрозда, сидящего на грушевом дереве. Некоторое время я просто слушаю.

Раздается еще один звук — мотор. Должно быть, это человек, которого послал Пирс. Даже быстрее, чем обещал. Джонни говорил, что прибудет лошадь с повозкой, но, судя по звуку, это трактор. «Слава Богу, — думаю я. — Спасибо, Господи».

Шум двигателя приближается. Слишком быстро для трактора. Звук обрывается скрипом тормозов по дороге прямо у моих ворот. Слышу, как скрипят шаги по гравию. Они направляются к моему дому. Много шагов.

Громкий стук в дверь эхом разносится в тишине дома. Сердце замирает в груди. Иду открывать.

Мужчина, который стоит за дверью, одет в коричневую форму «Организации Тодта». Он невысокий, упитанный, серьезный. На нем очки в тонкой металлической оправе, за стеклами которых холодные светлые глаза. Позади него еще трое мужчин из ОТ. У всех на рукавах красные повязки со свастикой.

— Миссис де ла Маре?

— Да.

Мне кажется, что все вокруг нереально, как будто я парю высоко над собственным телом. Как будто сейчас в моей груди бьется чужое сердце.

— Я собираюсь обыскать ваш дом, — говорит мужчина. У него сильный акцент, но я прекрасно понимаю. — Вы должны выйти из дома. Вы и все остальные, кто живет здесь.

Я бросаюсь в гостиную.

— Милли, выйди во двор.

Услышав мой голос, она слушается без разговоров. В ее руке по-прежнему зажата одна из картонных кукол.

Эвелин не двигается с места.

— Нам нужно немного посидеть во дворе, — говорю я.

Она озадаченно смотрит на меня.

— Не понимаю зачем, Вивьен. Мне и здесь вполне удобно.

— Мы должны. Нам приказано. Сейчас.

Эвелин хмурится:

— Что ж, кто бы это ни был, им придется подождать. Им следует знать, что я не люблю, когда меня подгоняют. Пусть проявят хоть немного уважения.

Я резко поднимаю ее на ноги. Эвелин идет со мной, но неохотно, тяжело опираясь на мою руку. Сажаю ее за стол в тени груши. Она сердито смотрит на солдат.

— Что делают эти люди, Вивьен?

— Они пришли просто осмотреть дом. Нам нечего бояться, — вру я.

Эвелин сидит на самом краешке стула, ее спина прямая и тонкая, как стебель цветка.

Когда я вытянула ее из кресла, ее блузка немного распахнулась, так что стало видно кружевную отделку комбинации. Мне неловко за нее, но, если я подойду и начну застегивать ее блузку, она почувствует себя униженной. Так что приходится оставить все, как есть.

Я стою за спиной Эвелин и беру Милли за руку. Я больше не боюсь. Я хладнокровна, спокойна и сдержанна, но моя рука слишком сильно сжимает ладошку Милли.

Милли шепчет на меня:

— Моя кукла. Ты ее помяла.

Она вырывает руку из моей ладони и пытается разгладить куклу.

— Она испорчена. А ты щипалась, мамочка.

Капитан наблюдает за нами. У него в руках пистолет. Он не направляет его на нас, но держит наготове. Остальные солдаты заходят в дом.

Все это время в моей голове звучит холодный и рассудительный, жуткий голос. Этот логичный и рациональный голос четко выговаривает каждое слово. Гюнтер слышал, как кто-то кашляет. Он видел меня с подносом еды, который я собиралась отнести кому-то. Он знал, что это не для Эвелин, потому что видел, что она сидела в кресле. Гюнтер знал, что у меня есть тайна...

Я слышу, как солдаты шарят по моему дому, распахивают шкафы, хлопают дверями. Я все еще ощущаю нереальность происходящего, словно наблюдаю за всем с высоты, но мое тело кажется очень хрупким, как картонная кукла Милли, как будто даже легкое дуновение ветерка может унести меня прочь.

Солдаты начинают с нижнего этажа. Я слышу, как они обыскивают кухню, затем идут в коридор; слышу, как меняются звуки, когда они переходят из комнаты в комнату; слышу, как их ботинки топают и стучат, поднимаясь по деревянной лестнице. Теперь это всего лишь вопрос времени.

Капитан все еще наблюдает за нами. Он стоит спиной к дому, так что я могу смотреть поверх его плеча. Я вижу стену своего дома, калитку, ведущую в огород, дорогу под сенью листвы. Вижу, как за спиной капитана из-за угла дома выскальзывает темный силуэт, проникается в калитку и выбирается на дорогу.

Кирилл. Кажется, мое сердце остановилось. Меня охватывает весь сдерживаемый до этого страх. Должно быть, Кирилл спустился с чердака по лестнице и вылез через окно в комнате Бланш на крышу сарая. Он тихо пересекает дорогу, доходит до противоположной обочины и ступает в тень фруктового сада, сам становясь тенью.

Во мне зарождается нежданная отчаянная надежда, горячая и будоражащая, как лихорадка. Возможно, нам удастся избежать катастрофы. Возможно, Кирилл сумеет уйти.

Я отвожу глаза, не желая, чтобы капитан прочитал что-то по моему лицу. Но он, наверное, что-то слышит: шаги или тихое хриплое дыхание.

Он оборачивается, ругается на немецком и выбегает на дорогу.

Я прижимаю Милли к себе, закрывая ее глаза ладонью.

— Перестань, мне больно, — говорит она.

Она пытается вырваться, но я крепко держу ладонь у ее лица.

Кирилл продолжает идти под яблонями, не оглядываясь.

Капитан поднимает пистолет. Выстрел. Меня сотрясает этот звук. Кирилл падает. Он не вздрагивает, не спотыкается — он просто падает, как плод с дерева. Скорость, с которой все случилось, отсутствие сопротивления доказывают весь цинизм происходящего. Я вижу, где лежит тело Кирилла, такое неподвижное среди высокой колышущейся травы, как будто там

бросили кучу одежды.

Капитан опускает пистолет и возвращается к нам. У него такой небрежный вид, словно для него это пустяк. Я вспоминаю, как однажды Гюнтер сказал: «Спустя какое-то время, убить очень легко». Вдруг слышу дрозда на груше: он, должно быть, пел все время. Но мне кажется, что все произошло в абсолютной тишине.

Рядом рыдает Эвелин, ее лицо залито слезами.

— О Боже, Боже, Боже...

Она пытается встать. Я кладу ладони ей на плечи.

— Эвелин, ты должна оставаться здесь.

— Но это Юджин. Они застрелили Юджина. — Она поднимает руку и вцепляется в мою ладонь. — Ты должна позволить мне пойти к нему, должна...

Я стараюсь заставить ее опуститься обратно на стул.

— Это не имеет отношения к Юджину, — говорю я. — Юджина здесь нет.

— Мой мальчик. Мой дорогой мальчик. — Слезы капают, оставляя на ее лице блестящие дорожки. Она слабо ударяет меня. — Ты должна отпустить меня к нему, Вивьен.

— Это не Юджин.

— Конечно, это Юджин. Я узнаю эту его рубашку где угодно.

Обнимаю ее одной рукой и молюсь, чтобы капитан не слышал.

Капитан убирает пистолет в кобуру, снимает очки и вытирает лицо рукавом: он плотный мужчина, и все усилия заставили его попотеть. Без очков его глаза кажутся слишком маленькими, как крохотные бледные камушки.

Слышу, как на кухне бьют часы. Время службы. В Сент-Питер-Порте опоздавшие торопливо рассаживаются на свои места. Бланш уже подготовилась, ее молитвенник открыт на покаянии: «Всемогущий и милосердный Отче, мы согрешили и уклонились от путей Твоих, подобно заблудшей овце...» Скоро пастор и певчие проследуют по нефу. Я думаю, цепляюсь за эти мысли.

Капитан надевает очки, достает сигарету, прикуривает. Его светлые глаза прикованы к моему лицу. У него странная манера курить: прикрывая сигарету согнутой ладонью. Он глубоко, задумчиво затягивается. Он никуда не торопится.

— Когда этот мерзавец пересек дорогу позади нас, — начинает капитан, — думаю, он вышел через заднюю дверь вашего дома, миссис де ла Маре.

— Он не мог, — говорю я. — Не мог. Зачем ему это?

— Возможно, вы мне расскажете.

— Я тут ни при чем. Я никогда его не видела.

Капитан подходит к двери дома и выкрикивает имя. Один из солдат выходит наружу. Капитан коротко говорит с ним на немецком. Солдат идет через дорогу в сад. Я продолжаю прижимать к себе Милли, стараясь не дать ей увидеть. Но она не хочет, чтобы ее держали, она колотит меня кулаками, отталкивая меня прочь.

Солдат берет Кирилла за ноги и тащит его по высокой траве, так легко, без усилий, как будто тело Кирилла ничего не весит. Мне невыносимо смотреть на это, но я заставляю себя. Я чувствую, что должна Кириллу хотя бы это, — смотреть. Думаю о том, что его тело намокнет от росы, и это меня беспокоит, словно влага может ему навредить.

Солдаты закидывают тело в кузов грузовика. Собираются ли они отвезти его на вершину утеса и сбросить в море, как тех несчастных, чьи тела гниют в гавани Олдерни?

И тут на меня наваливается осознание того, что совершил Кирилл. При мысли об этом

комок застывает в горле. Он поступил так, чтобы уберечь нас. Он знал, что умрет; знал, что каждый шаг приближает его к смерти, что его увидят, что ему не спастись.

Пока он оставался в доме, у него была надежда: его могли не найти, а найдя, могли забрать в лагерь. Крохотный проблеск надежды оставался: они непредсказуемы и могли поступить, как угодно.

Но он знал, что будет с нами, со мной и моими дочерьми, если его найдут у нас в доме. И он не мог позволить этому случиться. Он не смог умереть, чтобы спасти свою жену, но меня и моих детей он спас. Он отдал свою жизнь ради нас.

Я думаю о том, как он спускался по лестнице, переходил дорогу. Он уже знал. Он уже сделал выбор.

Из дома выходит еще один солдат ОТ. Он обращается к капитану, и, пока они разговаривают, капитан не сводит с меня глаз. Они тихо говорят на немецком, но я представляю, о чем.

— Миссис де ла Маре. — Капитан печально качает головой, словно сожалея о человеческой слабости. — Мы нашли скрытую комнату в задней части вашего дома, наверху.

— Да.

— В этой комнате находится кровать, остатки пищи, которую недавно ели. Можно подумать, что вы прятали там кого-то.

Его тон почти сочувствующий.

— У меня маленькая дочка, — говорю я и беру Милли за руку. — Она любит играть в домик в той комнате.

Он, наверное, увидит, как под моей блузкой колотится сердце, как от его ударов шевелится ткань.

— И, похоже, пожилая леди знала мерзавца.

— Моя свекровь тоскует по сыну. Он в армии. Иногда ей кажется, что она видит его там, где его нет, — отвечаю я.

Капитан обдумывает мои слова.

— На нем была новая одежда, — говорит капитан.

— Может, он ее украл. Откуда мне знать, где он ее взял?

Капитан молчит, прикрывая ладонью сигарету.

— Также я заметил, что вы были очень расстроены.

Он оценивающе смотрит на меня.

Я стараюсь стоять спокойно. Думаю о Бланш, о службе, заставляю себя думать о молитвах, снова и снова читаю их про себя. «Поспеши, Боже, избавить меня. Поспеши, Господи, на помощь мне...» Цепляюсь за слова, они, как куски дерева в штормовом море, не дают мне пойти ко дну.

— Вы были очень расстроены, когда мы застрелили подлеца, — повторяет капитан. — Я задаюсь вопросом: почему?

— Это от потрясения, — отвечаю я.

— Мы на войне, миссис де ла Маре, — говорит он скучающим тоном. — Такое случается.

— Он был беспомощен. — Мой голос тонкий, как звук свирели, унесенный ветром. — Он не мог защититься. Вы не должны были убивать его.

Капитан пожимает плечами.

— Мерзавец сбежал из лагеря. От него не было пользы. Все они недочеловеки. Не

такие, как вы или я. Вы не должны беспокоиться о них.

Это слишком похоже на то, что однажды сказал Гюнтер: «Ты не должна об этом думать. Постарайся не зацикливаться на этом».

Капитан продолжает курить, его глаза осматривают меня: он размышляет, что делать дальше. Словно чей-то кулак сжимает мое горло, когда я вижу, куда направлен его взгляд.

# Глава 76

— Итак, девочка, как тебя зовут?  
— Милли де ла Маре.  
— Подойди сюда, Милли де ла Маре.

Капитан произносит ее имя, тщательно выговаривая каждый слог.

Он показывает, чтобы Милли вышла вперед, откуда она не сможет видеть мое лицо. Прежде чем пойти, она вопросительно смотрит на меня. Я киваю. Милли делает шаг к капитану.

Я вижу, что капитан умеет общаться с детьми. Он садится на корточки, чтобы их лица оказались на одном уровне, и ему не приходилось смотреть сверху вниз. Я думаю, что у него, наверное, есть собственные дети, что он нежно качал их на руках. Он — тот же самый человек, который только что застрелил моего друга, как животное.

— Ты любишь шоколад, Милли?

Она не знает, какой ответ будет правильным, и поворачивается ко мне. Я слегка киваю.

— Ты не должна смотреть на маму, когда отвечаешь на мои вопросы, — говорит капитан. — А то я не пойму, кто из вас отвечает.

Его голос очень убедителен, но я слышу в нем угрозу.

— Итак, спрашиваю еще раз, ты любишь шоколад?

— Да, я люблю шоколад, — говорит Милли.

Капитан зажимает сигарету губами, достает из кармана шоколадку и разворачивает ее. В тишине шуршание серебристой обертки звучит слишком громко и нервирующее. Он отламывает кусочек и дает его Милли. Я вижу, как шоколад моментально размягчается в ее теплой ладошке.

— Я могу его съесть? — спрашивает она.

Она очень старается быть хорошей, но не знает правил.

— Да, конечно, — улыбается капитан. — Это тебе, Милли де ла Маре.

Она съедает угощение и слизывает с пальцев растаявшие остатки, так что ее рот пачкается шоколадом. Меня охватывает глупое желание сказать, чтобы она вытерла лицо.

Капитан все еще сидит на корточках, его лицо на одном уровне с лицом Милли.

— Я вижу, что ты хорошая девочка, — говорит он ей. — Что ты не обманываешь. Что ты всегда говоришь правду. Это так, верно?

— Да, — отвечает Милли.

— Говорить правду очень важно, да?

— Да.

— Я уверен, твоя мама говорила, что ты всегда должна говорить правду.

Милли кивает.

— У вас большой дом. В нем много мест, где можно спрятаться.

Милли молчит. Даже глядя на нее со спины, я вижу, как она напряжена, как настороженно она смотрит на капитана.

Страх хватает меня за горло. Я ужасно боюсь за нее, потому что она останется одна, когда меня заберут. Бланш почти взрослая женщина, она может позаботиться о себе. Но Милли еще такая маленькая, слишком маленькая, чтобы остаться без матери.

— В задней части вашего дома, наверху, есть комната, — продолжает капитан. —

Секретное место, куда надо подниматься по узкой лестнице.

— Да, — неуверенно говорит Милли, гадая, к чему все идет. — Мамочка называет его чердак.

Я не вижу ее лица, но ощущаю ее растерянность: она понимает, что происходит что-то важное, но не знает, что должна говорить.

— Чердак, — повторяет капитан, как будто это слово ему незнакомо. — Думаю, на чердаке хорошо играть.

По крайней мере, на это у нее есть ответ.

— Да, там очень здорово, — с готовностью говорит она, желая угодить.

Капитан глубоко затягивается сигаретой, не сводя глаз с Милли.

— Когда ты в последний раз играла на чердаке, Милли? — спрашивает он.

Она думает. Очень напряженно думает. Я знаю, каким будет ее хмурое лицо. От глубокой задумчивости у нее на лбу появятся складочки, словно нарисованные несмыываемым карандашом.

— Я люблю играть на чердаке, — осторожно произносит Милли.

— Ты играла на чердаке сегодня или вчера?

Задерживаю дыхание. Я знаю, что она скажет. Ведь я точно помню, что ей говорила. «Мамочка сказала, что я не должна тудаходить. А вчера мамочка запретила мне там играть. Она сказала, что это наш большой секрет...» Я уверена, что так и будет. Я почти слышу ее слова, которые, словно капли воды, невинны, они сверкают, но грозят пролиться большой бедой.

Капитан смотрит на меня. Разговаривая с Милли, он не сводит с меня пристального, изучающего взгляда. Я яростно сжимаю руки. Понимаю, что он может увидеть охватившую меня дрожь.

Милли все еще колеблется.

— Так ты играла? — спрашивает он. — Сегодня или вчера?

Его голос суров и настойчив.

— Я играю на чердаке каждый день, — говорит она ему.

— Хорошо, я думаю, ты же там не одна играешь. Кто играет с тобой на чердаке?

— Мой друг, — отвечает Милли.

У мужчины в глазах появляется жесткий отблеск.

— И кто же он, твой друг?

Она на секунду задумывается. Я чувствую, как от нее исходит тревожная дымка, словно еле уловимый запах серы, который можно ощутить в воздухе. Милли сцепляет руки и аккуратно ставит ноги вместе. Я вижу, Милли приняла решение. С холодной, болезненной уверенностью понимаю, что она собирается рассказать о том, что на чердаке был Кирилл.

— Моего друга зовут Симон. Ему почти девять, — говорит Милли размеренным, четким и немного высоким голосом.

Все это время мужчина наблюдает за мной. Мое лицо абсолютно неподвижно, но весь воздух, который я задержала, вылетает у меня изо рта. Молюсь, чтобы он этого не услышал.

Он еще некоторое время смотрит на Милли, потом, слегка пожав плечами, выпрямляется. Бросает недокуренную сигарету и раздавливает ее каблуком, как будто она его больше не интересует.

Капитан подходит к двери и выкрикивает приказ. Остальные мужчины выходят из дома, быстро направляясь к грузовику. Один забирается в кабину, другие — в кузов. Кто-то из них

что-то пинает. Я знаю, что это тело Кирилла... Он отпихивает тело Кирилла, чтобы освободить место для своих ног.

— Я буду следить за вами, миссис де ла Маре, — кричит капитан, уходя.

Мужчина забирается в кабину на место пассажира. Заводится двигатель. Они уезжают.

Шок от их внезапного отъезда отпускает меня. Мир вокруг меня начинает вращаться. Я облокачиваюсь на стол и жду, когда он остановится.

Эвелин все еще плачет.

— Они убили его, правда? — спрашивает она.

Опускаюсь на колени рядом с ней.

— Это был не Юджин.

— Какая трагическая смерть, Вивьен. Он умер в одиночестве, некому было его утешить. Мой бедный мальчик. Какая печальная, печальная смерть, — говорит Эвелин.

Увожу ее в дом. Она беззвучно и безутешно плачет, держась за мою руку. Помогаю ей подняться наверх и укладываю в кровать.

Милли ждет меня внизу. Ее глаза — бездонные дыры на бледном лице.

— Я правильно ответила на вопросы? — спрашивает она.

— Да, милая. Ты вела себя очень храбро.

Обнимаю ее напряженное тельце.

— А у Симона не будет неприятностей? — интересуется она.

— Нет, не будет. Ты все сказала правильно.

— Но что, если немцы посадят Симона в тюрьму?

— Не посадят, обещаю. Симон не сделал ничего плохого.

— Но Кирилл тоже не сделал ничего плохого, а они его застрелили.

Мое горло сжимается от подступивших слез, мне трудно говорить.

— Поверь мне, милая, с Симоном все будет хорошо. Немцам до Симона нет никакого дела.

Она тянет меня вниз, почти прижимаясь своим лицом к моему. От ее дыхания исходит приторный запах шоколада, которым ее угостили капитан. Милли говорит мне прямо в ухо, ее тихие слова касаются моей кожи.

— Я знаю, что Кирилл был на чердаке, — говорит она. — Я слышала, как он кашляет. Это был наш секрет, да? Секрет, о котором ты мне говорила? Когда просила меня там не играть?

— Да.

— Я не рассказала наш секрет. Я поступила правильно?

— Да, правильно.

— Я не знала, что сказать. Я понимала, что они разозлятся на нас, если найдут Кирилла там, но мне не хотелось, чтобы у Симона были неприятности. Было очень тяжело, — говорит Милли.

— Да, я знаю.

— Мамочка, Кирилл умер, да? Они его убили?

Я думаю обо всех тех вещах, которые мы говорим, чтобы успокоить детей. Все хорошо, не надо бояться. Все, что ты видел, оно не по-настоящему... это был всего лишь сон, кошмар. Монстров не существует, в темноте никого нет. Спи спокойно...

Мне нечего ей сказать.

Чуть позже мы идем за цветами.

У меня в саду их теперь не так много, потому что он засажен овощами. Поэтому мы собираем дикие цветы — веронику колосистую и красную валериану. Мы связываем цветы лентой. Вспоминаю о том букете, который подарил мне Кирилл.

Идем через дорогу в фруктовый сад. Нас окружает все то же лето: туманный, серебристый солнечный свет и пение птиц. Но теперь все изменилось. Я уже не могу жить как прежде. Я уже не тот человек, каким была раньше.

В том месте, где упало тело Кирилла примята трава. Там, где на землю вытекала кровь, — темное пятно, и забрызганный темными каплями ствол дерева, под которым я когда-то стояла с Гюнтером. Милли спокойна и уравновешена, но ее лицо белое, как мел.

Я думаю о том, что он больше никогда не увидит их — все те места, о которых рассказывал нам: березовый лес, тихие речушки. Он никогда не вернется туда, где мастерил свои скрипки. Мастерил с особой заботой. Они такие маленькие, такие хрупкие, их так легко сломать, но поют они так чисто, так ясно.

— Нужно ли нам помолиться? — спрашивает Милли.

Но я не готова молиться.

— Давай помолимся каждый про себя, — говорю я.

На земле, покрытой пятнами, мы оставляем букет из колосистой вероники.

# Глава 77

Ночью, когда девочки улеглись спать, я сажусь за кухонный стол. Снова и снова переживаю то, что случилось, вопросы режут меня, словно лезвия. Это Гюнтер нас предал? Мог ли он так поступить, несмотря на все то, что между нами было... вся эта любовь, нежность, все, что мы с ним делили? Способен ли он на такое предательство?

Когда я думаю об этом, начинаю задыхаться, словно тону.

В десять часов вечера слышу знакомый стук в дверь.

Он заходит, я закрываю за ним дверь. Стоим и смотрим друг на друга. Обычно мы целуемся, а потом идем в мою комнату. Но Гюнтер не двигается. Вероятно, он что-то прочел на моем лице. Что-то такое, что беспокоит его. Он не наклоняется, чтобы дотронуться до меня или поцеловать. Просто стоит и смотрит. Он выглядит иначе, я не могу ни охарактеризовать это, ни понять.

— Ты выглядишь уставшим, — говорю я.

— Да, я устал.

Он трет рукой лицо. Его движения порывисты, как будто он больше не владеет своим телом.

Потом откашливается, словно хочет что-то сказать.

— Вивьен...

Он сглатывает, как будто ему очень тяжело говорить.

Я знаю, что это я должна что-то сказать.

— Сегодня в моем саду кое-что произошло, — говорю ему я.

— Да, — соглашается Гюнтер.

Но его тон какой-то пренебрежительный. И от этого тона меня охватывает ледяное сомнение.

— Был убит человек, — говорю я. — Застрелен. Один из рабов-рабочих.

— Да, я слышал, — отвечает он. И на этом все.

Его неловкость, его неуклюжесть говорят обо всем, что мне нужно знать. Он знал насчет Кирилла, он все понял. Откуда он мог знать... слышал кашель, видел меня с завтраком на подносе, знал, что вру, говоря, что это Эвелин болеет?

Он все понял и просто сделал свою работу. Это был трудный выбор, но его долг перед своей страной важнее. «В военное время происходят плохие вещи». «Приходится быть осторожным, нельзя выделяться». «Убить очень легко... Может, не так легко сначала. Но спустя какое-то время, убить очень легко...»

И тогда я принимаю решение.

— Гюнтер, — говорю я срывающимся голосом, — я должна тебе кое-что сказать.

Он слегка кивает. Легкое движение головы. На его лице серьезное выражение, оно смиренно, словно он сдался. Словно что-то умерло в нем. Он как будто ждал чего-то подобного... это все предопределено, он знает и ждет этого. Он просто должен через это пройти.

— Гюнтер, мне кажется, я больше так не смогу. Мне очень жаль.

Он ничего не говорит. Его молчание просто ужасно.

— Слишком тяжело. Слишком запутанно, — говорю я. У меня болит в горле, словно все сказанное мной меня же и ранит.

Я хочу, чтобы он прочитал мои мысли, чтобы все стало так, как было. Хочу, чтобы он знал, почему я это говорю. Хочу объяснить, что с ним это никак не связано. То, что случилось с Кириллом, это не его вина... что это не он нас предал.

Но я не могу спросить напрямую. Потому что спросить, знал ли он и не он ли нас выдал, — значит, слишком раскрыться, признаться в том, что я укрывала Кирилла. Из-за этого я и мои дети можем оказаться в опасности. Кирилл отдал свою жизнь, чтобы это осталось тайной.

— Мне очень жаль, — беспомощно повторяю я.

Стоя близко к Гюнтеру, я одновременно ощущаю необходимость оттолкнуть его от себя и острую тоску по его прикосновениям, таким знакомым и таким нежным. Все это время он был моим убежищем от страха и ужаса, местом, где я могла спрятаться, местом, в которое не было хода войне. Но теперь война здесь, между нами. Между нами встала ужасная смерть Кирилла.

— Если ты так хочешь... — говорит он.

Его голос звучит четко, но так глухо, словно идет издалека. Так разносятся голоса над водой. Гюнтер слегка пожимает плечами. Его взгляд ничего не выражает, как будто он уже отказался от меня. Я не могу вынести холодность и отчужденность, застывшие на его лице.

Я уже готова сказать: «Нет, я этого не хочу. Так должно быть, но, конечно же, я этого не хочу». Но я молчу.

Протягиваю руку, желая дотронуться до него, смягчить жестокость происходящего, но Гюнтер отступает назад, словно моя близость для него невыносима.

Я хочу, чтобы он возражал. Мне хочется криков, хочется, чтобы наше расставание было тяжелым, полным нескрываемой боли, обвинений, звуков рвущихся вещей, а не сдержанности и отчуждения. Мне кажется неправильным, что все заканчивается таким образом, в тишине.

Гюнтер наклоняет голову со свойственной ему старомодной учтивостью и отворачивается от меня.

Но уходя, он задевает ногой дверной порог и спотыкается. Он вполголоса ругается: быстрый, приглушенный поток яростных ругательств на его родном языке. Его руки сжаты в кулаки, и я вижу, как на его запястьях вздулись узлы вен. Затем Гюнтер выходит и тихо закрывает за собой дверь.

Когда я слышу щелчок замка, меня насквозь пронзает чувство потери.

Сажусь за кухонный стол. Уговариваю себя, что со временем боль пройдет, что сейчас самый сложный момент, но однажды боль станет не такой сильной. Но я не представляю, как она может пройти.

## Глава 78

В понедельник вечером Бланш приходит домой с персиками — угощением от миссис Себир. Я вспоминаю, как она впервые принесла персики в самом начале оккупации, когда только начала работать в магазине. Тогда я была другим человеком.

Бланш кладет фрукты на кухонный стол.

— Откуда в саду цветы? — обвиняюще спрашивает она.

Я поворачиваюсь к ней. Конечно, рано или поздно она должна была их заметить, но я сглушила, не придумав ответ заранее.

— Мам, ты что, не видела? Кто-то положил под дерево цветы. Я только что заметила.

Она смотрит на меня непонимающим взглядом, голубым, как само лето.

— И весь ствол в черных пятнах, — продолжает она. — Давно это там?

Меня снова пронзают боль и потрясение от гибели Кирилла.

— Это я положила цветы.

Бланш ждет дальнейших объяснений.

— Зачем? — спрашивает она, когда я ничего не добавляю.

— Случилось кое-что печальное. Вчера, когда ты была в церкви. Там застрелили одного из пленных рабочих.

— Что? Но это же ужасно. Почему ты раньше мне не сказала?

— Я подумала, чем меньше ты будешь знать, тем лучше.

Светлый взгляд Бланш становится испытующим. Она ощущает печаль и трагедию, стоящую за моими словами.

— Мам, это как-то связано с призраком, которого видела Милли, да? С призраком, о котором она рассказывала прошлым летом?

— Бланш, я не хочу рассказывать тебе больше, чем надо. Поверь мне. Так будет безопаснее.

— Значит, да, — говорит она. — Хорошо, мам, не волнуйся. Но я и сама начала задумываться, не был ли призрак Милли одним из людей, которые живут в тех жутких лагерях.

— Бланш, это должно остаться между нами. Я серьезно.

Она слегка заговорщицки улыбается:

— Я забуду все, что ты говорила. Не скажу никому ни слова.

Она отворачивается от меня, расстегивает свой кардиган и бросает его на стул. Она слишком непринужденная и беспечная.

— Бланш, это важно.

— Все в порядке, мам. Я поняла.

Я все еще беспокоюсь, что объяснила недостаточно ясно, что она не понимает, насколько осторожными и скрытыми мы должны быть. Может быть, если я расскажу о том, что случилось с Джонни, она осознает.

— Есть еще кое-что, о чем тебе надо знать. Джонни арестован.

Бланш резко оборачивается ко мне.

— Джонни? — хрипит она. Ее лицо сморщилось. Меня испугала такая реакция: я не думала, что эта новость так сильно ее расстроит. Как неосмотрительно. Жаль, что я не нашла способа сообщить ей помягче.

Я обнимаю ее, чувствуя ее смятение. Все внутри нее закручивается, как волчок.

— Он в тюрьме в Сент-Питер-Порте, — говорю я. — Говорят, все будет хорошо. Скорее всего, его просто отправят в тюрьму во Франции.

— Это из-за его глупых-преглупых планов?

— В его комнате нашли дробовик Брайана.

— Джонни такой дурак. — В голосе Бланш пылает гнев. — Как можно быть таким глупым? Почему он не понимает, что нужен людям?

Я удивлена.

— Бланш... Я не знала, что вы встречаетесь...

— Ну, не встречаемся. Не совсем... Только иногда.

— Что значит «только иногда»?

— Мам, я ему нравлюсь. Ты же знаешь... По-настоящему нравлюсь.

Кажется, она поражена.

— Милая, я не знала.

— Почему они позволили им найти дробовик? Почему он не понял?

Позже я слышу, как она плачет в своей комнате. А плачет она нечасто. Стучу в дверь и захожу. Бланш распростерлась на кровати, как будто бросилась с высоты вниз. Ее лицо искалено плачем, в кулаке зажат скомканный носовой платок. Я сажусь рядом с ней и накрываю ладонью ее руку.

— Бланш, с ним все будет хорошо. Я правда так думаю. Такое случалось с другими жителями Гернси. Они вернулись домой невредимыми... И ты же знаешь, какой Джонни жизнерадостный, его ничто не сломит...

Она садится. Я обнимаю дочь, и секунду она цепляется за меня. Ее лицо мокро от слез, ресницы слиплись. Потом она отстраняется и вытирает лицо платком.

— Извини, я слишком эмоциональна, — говорит она.

— Милая, не нужно извиняться за то, что ты расстроена.

Бланш сморкается.

— Вот досада. Я наверняка вся красная.

Убираю прядь волос, упавшую на ее лицо. Она влажная от слез, как будто ее облили водой.

— Понимаешь, мам, — говорит Бланш. — Просто бывает, что человек уходит. И ты понимаешь, как сильно будешь по нему скучать. И даже не знаешь, как жить дальше, когда его нет рядом...

Она смотрит на меня широко раскрытыми, встревоженными глазами.

— Что такое, мама? Не надо. Пожалуйста, — просит она высоким голосом. — Ты моя мама. Ты не должна плакать. Я ненавижу, когда ты плачешь.

# Глава 79

Дни становятся короче. Земля налилась спелостью и наполнилась плодами, потяжелели от ягод растущие на обочинах кусты шиповника, ежевики и бузины. Прилетели из Сибири казарки и рассеялись по прибрежным полям. Ночью можно услышать их необычные скрипучие крики.

В моем саду созрели яблоки. Дало плоды фиговое дерево на веранде, и на шелковице появились ягоды, такого роскошного насыщенного красного цвета, что кажутся почти черными. Шелковичные ягоды легко раздавить, поэтому мы едим их прямо с дерева, отчего у Милли на губах постоянно пятна яркого, похожего на вино сока. Весь остров наполнен спелостью, ощущением завершенности.

Лето клонится к осени. Иногда я вижу Гюнтера: из окна спальни замечаю, как он идет по дорожке между клумбами Ле Винерс, или во время кормления кур вижу, как он беседует с Максом или Гансом в саду.

Пару раз я прохожу мимо него по дороге. Сердце колотится в груди. Я не знаю, что произойдет. Но все оказывается легко. Слишком легко. Он вежливо кивает, а потом отводит глаза, как будто мы почти незнакомцы, люди, которые знают друг друга только в лицо, которым случилось жить в соседних домах.

Как будто мы никогда и не любили друг друга. Однажды в сумерках я вижу его в окне. Гюнтер сидит за столом и пишет письмо при свете свечи, потому что теперь по вечерам у нас нет электричества. Рукава высоко закатаны. Он глубоко задумался.

О чем он думает? Я чувствую, что-то в нем изменилось, он будто не совсем здесь. Наверное, мысленно он удалился в Баварию, к спокойствию горного пейзажа, который так любит. Там он рисовал бы и провел бы весь день в тишине. Там он смог бы написать именно ту картину, какую хотел, и мазки ложились бы плавно, словно вода, постепенно рождая картину из-под кисти.

\* \* \*

Эвелин беспокоит меня больше, чем когда-либо. Теперь большую часть дня она спит или находится между сном и явью. Иногда я думаю: что же она видит в своих снах? Может быть, прошлое кажется ей более живым и реальным, чем настоящее, или она видит, что дом заполнен людьми и сценами из прошлого. Временами ночной сон не идет к ней, и я обнаруживаю, что она бродит по дому или саду в ночной рубашке, беру ее за руку и отвожу обратно в кровать.

В один из дней, когда я убираюсь в гостиной, Эвелин неожиданно поднимает на меня глаза. Ее лицо задумчиво и тревожно, будто она видит меня насеквоздь.

— Что ж, Вивьен, дорогая, — говорит она, словно ей только что пришло в голову. Как будто она продолжает какой-то наш разговор. — Так ты говоришь, что Юджин ушел на войну?

— Да.

— И ты все это времяправлялась сама?

В ее голосе слышится ласка, а глаза, нежные и голубые, как у ребенка, смотрят прямо на

меня.

Я киваю.

Вдруг я вспоминаю, какой она была раньше, до того, как возраст начал туманить и разрушать ее разум и лишил ее многих воспоминаний. Она была такой оживленной, иногда резкой, но ее прямота всегда смягчалась настоящей житейской добротой.

Опускаюсь на колени рядом с ее креслом.

— Должно быть, тебе одиноко, — говорит она. — Одиноко без него. Нелегко растить Бланш и малышку Милли и присматривать за мной... И еще эта война... И я знаю, дорогая, что я не самый легкий человек в мире.

Я пытаюсь заговорить, но горло сжалось от слез.

— Мне так жаль, дорогая, что тебе было так одиноко... И может быть, даже когда Юджин был здесь... Иногда я видела это, Вивьен. Что он не всегда был с тобой таким, каким мог бы.

Я поражена. Неожиданно мне становится любопытно, знала ли она о Монике Чарлз.

Эвелин кладет свою ладонь на мою, нежно, словно мать.

— Может быть, я не всегда понимала. Я сожалею, Вивьен... Очень сожалею, обо всем.

А потом к ней вновь вернулся этот затуманенный взгляд, ее ясные глаза словно заволокло облаками, как небо поздним летом, и она уплыла в иное место.

Я завернула ее в одеяло, глотая слезы, чтобы они не попали на нее.

\* \* \*

Как и предсказывал Пирс, Джонни отправили во французскую тюрьму на год.

Я часто навещаю Гвен. Теперь ее кухня еще чище, чем раньше: все начищено, натерто, отмыто. Гвен всегда чем-нибудь занята, она так энергична, как будто своими усилиями может заставить все закончиться благополучно.

— Ему повезло... Я знаю, ему повезло, — говорит она.

Гвен проводит ладонью по лицу. В ее волосах появилась бросающаяся в глаза седая прядь.

— Да, в каком-то смысле, — отвечаю я.

На столе между нами стоит ваза с хризантемами неопределенных цветов, отчего они всегда кажутся немного заброшенными. Гвен водит ладонями по столешнице, рисуя случайные узоры между опавшими лепестками. Эта ее неспособность оставаться неподвижной заставляет меня вспомнить Джонни. Как будто она переняла его неугомонность.

— Я правда так думаю, Вив. Нам всем повезло, — говорит она. — Людей убивали и за меньшее, я знаю. Но, Господи, как же я скучаю по нему. Как будто я потеряла часть себя. Лучшую часть...

Накрываю ладонью ее руку:

— Уже осталось меньше года. Я знаю, это кажется вечностью, но на самом деле это не так.

Она кивает.

— Именно это я и повторяю себе. Дело в том, что я ни с кем не могу поговорить так, как с Джонни. Эрни — моя опора. Он очень хороший человек. Но ты же знаешь, какими

могут быть мужчины. Он не разговаривает со мной. А Джонни поговорил бы, мы бы разговаривали часами... Я хочу, чтобы он вернулся.

\* \* \*

По вечерам уже темно, и Милли с Симоном больше не могут играть на улице. После школы они играют в комнате Милли. Милли упорно отказывается играть на чердаке. У нее навязчивая идея, что если они пойдут туда, то она подвергнет Симона опасности со стороны немцев, и никакие мои слова не могут ее переубедить.

Мы собираем яблоки в своем саду. Девочки помогают мне, осторожно, поскольку боятся ос. Мы тщательно сортируем яблоки, отбирая те, которые с бочками, потому что они не будут долго лежать. Я запеку их в духовке с клеверным медом, что дала Гвен. Раскладываю последние яблоки на картонные подносы в кладовке. Там прохладно, и они хорошо сохранятся. Сейчас каждое яблоко на вес золота.

Когда все фрукты собраны, Гарри Тостевин приходит пилить мои яблони. Нам понадобятся дрова, чтобы пережить зимние месяцы. Везде люди делают то же самое: рубят деревья, которые делали наш остров таким прекрасным.

Наблюдаю за тем, как Гарри валит первое дерево. Оно падает и с рвущимся звуком задевает ветвями за другие деревья. А потом раздается глухой удар, когда ствол ударяется о землю, и множество нежно-коричневых листочеков еще долго дрожат. Больше я не могу смотреть, как Гарри рубит дерево, под которым мы с Гюнтером впервые разговаривали, под которым погиб Кирилл и которое было забрызгано его кровью.

Но мне не удается избавиться от звуков. Я вспоминаю все сказки о призраках, которые читала Милли, и думаю, какие духи будут преследовать наш остров в следующие десятилетия. Будет ли Кирилл появляться в моем саду, неприкаянный и измученный, обреченный на вечные попытки отыскать путь обратно на родину, которую так любил?

После земля, на которой рос мой сад, кажется уродливой, покрытой шрамами-пнями там, где когда-то было так много цветов и плодов. Гарри рубит стволы на поленья, и мы складываем их в садовом сарае. По крайней мере, теперь у нас есть топливо на зиму.

Мы делаем то, что должны.

\* \* \*

Я не слышу стука спиц Эвелин. Поднимаю глаза и вижу, что она не спит. Она распускает свое вязание: вытягивает спицы из петель и тянет за нить. Она делает это аккуратно, тщательно, как будто что-то создает.

Подхожу к ней и кладу свою ладонь на ее. Она убирает свою руку и продолжает тянуть нить, распуская работу. Это до ужаса легко: пряжа все еще волнистая в тех местах, где были петли, но она быстро теряет форму, словно бы плавится.

— Не стоит, Эвелин. Ты же вложила столько труда.

— Но я должна, пойми, дорогая. Я должна.

Не могу видеть, как она это делает. Я бы хотела забрать у нее вязание, чтобы сохранить ее работу, но я не могу отнять силой.

А Эвелин все тянет и тянет нитку. В конце концов у нее на коленях остается просто спутанная куча волнистой пряжи.

Она тихонько вздыхает, как будто завершила какое-то дело.

— Ну вот, — говорит она. — Теперь все сделано.

Ее голос спокоен, движения выверены — ни следа того возбуждения, которое частенько на нее находит.

Я не знаю, что делать, надо ли забрать у нее пряжу. Но она сама протягивает мне всю кучу. На ее лице написано удивительное, незнакомое умиротворение.

— Вот и все, Вивьен, — говорит она.

\* \* \*

Днем я все время нахожу, чем заняться, чтобы не думать. Делаю колбаски из фасоли, пеку пирог из тертой моркови. Кормлю кур и занимаюсь огородом: собираю репчатый лук и лук-порей, и первую в этом году брюссельскую капусту.

Я убираю дом, штопаю белье, подшиваю подолы на нескольких старых платьях Бланш, чтобы они подошли Милли. И все это время я тоскую по Гюнтеру. Это тоска, она как часть меня, как болезнь, просто есть.

Я много сплю, даже днем. Мне очень не хватает сна. Когда Милли в школе, а Эвелин спокойно сидит, и какое-то время никто во мне не нуждается, я прокрадываюсь в свою спальню.

Сбрасываю туфли и ложусь под одеяло. Едва моя голова касается подушки, как я тотчас засыпаю. Меня будто отравляет вялость. Я слышала, что тоска может так влиять на человека.

Из старой жестянки от чистящего средства я делаю масляную лампу. Каждый вечер при свете этой лампы я читаю Милли сказку из книги сказок Гернси, которую дала мне Энжи. Читаю про исцеляющие колодцы и призрачные похоронные процесии. Читаю про каминных фей и про то, что надо рассказывать семейные новости пчелам.

Читаю о том, что паутина может остановить кровотечение, и о том, как люди смотрят на чаек со смешанным благоговением и подозрительностью, потому что во время своих далеких перелетов они видят множество тайн, скрытых от человека. Читаю о том, что тучи мошек над водой означают скорый дождь.

А еще я читаю историю, которую читала, когда полюбила Гюнтера, историю о мужчине, который на лодке отправился на Сарк и выстрелил в утку, которая на самом деле оказалась девушкой. И о том, как она была ранена.

## Глава 80

Как-то в пятницу утром, отведя Милли в школу, я несу Эвелин тосты с чаем. Открываю дверь и понимаю: что-то не так. Обычно она сидит в своем домашнем халате цвета чайной розы, но сегодня складывается ощущение, что она еще спит.

Ее тело раскинулось на кровати, словно она пыталась встать, но упала. Эвелин тяжело дышит, ее рот приоткрыт, а кости лица выступают неимоверно четко.

— Эвелин, — зову я. Потом говорю чуть громче, уже испуганно: — Эвелин.

Она не шевелится.

Кладу свою руку на ее. Слегка трясу. Не могу ее разбудить. Что-то меня настораживает при взгляде на ее открытый рот.

Мне потребуется несколько часов, чтобы привезти врача. Нужно будет ехать на велосипеде по главной дороге или можно позвонить из ближайшей телефонной будки, но это тоже займет некоторое время. Вспоминаю о том, что говорил мне Гюнтер, когда подумал, что это Эвелин кашляла: Макс может прийти и осмотреть ее, если она больна. А еще я помню, насколько Макс был добр к Милли.

Я выхожу в прохладное яркое утро. Бегу к Ле Винерс, спеша между цветочными клумбами, на которых растут ромашки. Они редкие, невзрачные, словно сорняки. Цветы тянутся к моим ногам, когда я пробегаю мимо.

Дверь открывает Ганс Шмидт. Наверное, он завтракал: его губы блестят от жира. Прежде чем я успеваю что-то сказать, он спрашивает:

— Хотите видеть капитана Леманна?

Понимаю, что им всем, должно быть, было известно о нашем романе. Ну, по всей видимости, так и есть. Это неважно.

— Нет, капитана Рихтера, — отвечаю я.

Ганс идет за ним. Мне кажется, что я слышу Гюнтера. Из задней части дома доносится громкий мужской смех. Думаю, что один из голосов принадлежит Гюнтеру, но я не уверена. Он никогда не смеялся так хрипло и так громко, когда бывал со мной.

В коридор выходит Макс. Он без кителя.

— Миссис де ла Маре.

Он все читает по моему лицу. Макс озабочен, обеспокоен.

Я очень рада его видеть. Помню, как он пришел ко мне в первый раз, как я отказалась пожать ему руку. Это казалось делом принципа, казалось таким правильным... стоящим. Как же давно это было.

— Прошу прощения за беспокойство, — говорю я. — Моя свекровь. Мне кажется... — Мой голос срывается. — Мне кажется, что она умирает. Я думала, может...

— Идемте, — говорит Макс. Он не беспокоится о том, чтобы накинуть китель, идет так, как есть, в одной рубашке.

\* \* \*

Он очень аккуратно двигается в комнате Эвелин, говорит приглушенным голосом. Вижу, насколько легко он снова становится врачом, как ему подходит эта роль. Макс

измеряет пульс Эвелин, проверяет ее рефлексы, оттягивает веки и осматривает зрачки.

— Думаю, вы правы, — очень тихо говорит мне Макс. — Думаю, осталось не долго. У нее был инсульт. Такое не лечится. Мне очень жаль.

Я киваю.

— Я так и думала. Все же, спасибо вам большое, что пришли.

— Я могу еще что-нибудь для вас сделать? — спрашивает он.

— Благодарю за предложение, но я справлюсь.

— Тогда я пойду, — говорит мне Макс. — Если понадоблюсь, зовите.

— Хорошо. Спасибо.

Сижу рядом с Эвелин и держу ее за руку. У нее сухая и холодная кожа. Тело движется медленно, дыхание шумное, затрудненное. Сижу так долгое время. Прислушиваюсь к тиканию часов, тихому поскрипыванию дома.

Мимо окна пролетают бурые листья, а бочкообразные голуби ютятся на подоконнике. У них маленькие розовые и безучастные глазки. Им плевать на наше присутствие, словно нас здесь вообще нет. Утро тянется очень долго. Лицо Эвелин ничего не выражает. Оно бледное, как подушка, на которой лежит ее голова.

К полудню Эвелин щевелится и открывает глаза. Она смотрит прямо на меня, как будто видит меня очень четко. Я очень рада тому, что сейчас она пришла в себя, а ее разум ничем не затуманен.

Эвелин пытается говорить. Я наклоняюсь к ней, отчаянно желая услышать, что она хочет сказать. Мне кажется, она произносит: «Юджин», но я в этом не уверена. Сквозь нее пробегает дрожь, она вливается в мою руку... а потом ничего.

Закрываю ей веки и складываю руки на груди. Думаю над тем, как мне связаться с Юджином и сказать, что его матери больше нет. Думаю, как однажды он вернется домой с войны и увидит, что она похоронена. Он будет очень огорчен, что его не было здесь, чтобы скорбеть после ее смерти.

Я плачу, но я рада, что она ушла так мягко. По крайней мере это была легкая смерть, смерть в нужный момент.

\* \* \*

Чуть позже тем же днем возвращается Макс. Возможно, он заметил людей, которые приходили ко мне: участковый доктор, который заверил смерть Эвелин, и мистер Озан на своей повозке, забравший ее тело.

— Миссис де ла Маре.

В его глазах стоит вопрос.

Я слегка киваю.

— Моя свекровь скончалась, — говорю я.

Его лицо серьезно.

— Тогда позвольте мне выразить свои соболезнования.

— Спасибо, что приходили ее осмотреть.

Он слегка пожимает плечами, словно говоря, что это не имеет значения.

Некоторое время он колеблется, глядя на меня, пытаясь меня прочесть. Как будто я какое-то дикое существо, которое он боится спугнуть.

— Мне нужно вам кое-что сказать, — довольно спокойно говорит он. — Мы уезжаем с вашего острова... я и Гюнтер.

Мое сердце бешено колотится. Подобного я не ожидала, словно думала, что Гюнтер останется здесь навсегда. Возможно, где-то в глубине души, я считала, что смогу изменить свое решение. Что всегда есть время. Что времени впереди еще очень много.

— Уезжаете? — глупо говорю я.

— Да.

— И куда вас отправляют?

Он грустно улыбается.

— К несчастью, на Восточный фронт. Не очень радостная весть для нас. К тому же, скоро зима.

Вспоминаю, о чем говорил Гюнтер: о кровавой бойне, о необъятной России и ее армии, о Сталинграде, который называют могилой Вермахта, о холоде, который все превращает в лед: и оружейную смазку, и человеческую кровь.

Тяжело сглатываю.

— И когда вы уезжаете?

Мы оба осторожны, очень официальны.

— В понедельник, — говорит Макс.

— Так скоро?

— Да, так скоро. Но когда бы это ни произошло, для нас всегда будет «так скоро».

— Спасибо, что сказали мне, — говорю я.

Я ждала, что он уйдет, но он не уходит. Вижу, как дергается его кадык, он сглатывает.

— Мне кажется, я должен еще кое о чем вам рассказать. — Он говорит с особой осторожностью. Я понимаю, что он долго думал, прежде чем решиться. — Гюнтер получил известие о том, что убит его сын. Герман.

Мир наклоняется. Слова висят в воздухе, словно острые клинки. Если я протяну руку, то порежусь.

Он смотрит на меня. Потом слегка кивает.

— Я так и думал, — говорит Макс. — Так и думал, что он ничего вам не рассказал. Гюнтер очень закрытый человек. Он многое держит внутри...

Какое-то мгновение мы оба молчим. В этой тишине я слышу далекий шум приливной волны. Скоро она обрушится на меня.

— Когда? — Мой голос какой-то далекий, приглушенный. — Когда он об этом узнал?

Но задавая вопрос, я уже знаю, каким будет ответ.

— Шесть недель назад. Примерно в то же время, когда случился неприятный инцидент в вашем саду... когда застрелили сбежавшего заключенного. Я подумал, что вы должны знать, — говорит мне Макс.

— Да. Благодарю вас.

# Глава 81

Утром в понедельник, проводив Милли в школу и вернувшись домой, навожу порядок, готовясь к поминкам.

Очень непривычно находиться в доме одной. Подобного не было уже много лет с тех пор, как Эвелин перестала выходить. Однако это тишина иного рода, другая пустота: ощущение свободы, спокойная тишина, как будто сам дом выдохнул с облегчением.

Ни единого звука, только слышно, как вылизывает свою шерсть Альфонс. Он сидит на подоконнике в позолоченной солнцем окружности. Выходные выдались суматошными: Милли с Бланш были очень расстроены из-за смерти бабушки, к тому же нужно было организовать похороны.

Но сейчас в тиши моего дома в голове больше не гудит назойливый, словно писк насекомого, постоянный шум. Его как будто внезапно выключили.

В этой незнакомой тишине в моей голове возникает одна мысль. Сегодня понедельник, и сегодня уезжает Гюнтер. Думая об этом, я мысленно возвращаюсь к той ужасной новости, о которой мне рассказал Макс, — убит сын Гюнтера. Блестящие ниточки прошлого, которые прежде были крепко связаны, распускаются и рассыпаются передо мной.

В моей голове полно вопросов. Я все неправильно поняла? Потому он показался мне таким далеким, таким замкнутым, когда я видела его вечером после гибели Кирилла? Что, если это не Гюнтер нас предал? Что, если он не имел никакого отношения к смерти Кирилла? Что, если я наказала его напрасно?

На все эти вопросы нет ответов.

На книгах в шкафу виден налет серой пыли. Я нечасто там ее протираю. Когда вытаскиваю несколько книг, что-то падает на пол — сложенный кусочек плотной бумаги.

Поднимаю его, раскрываю и разглаживаю. Это набросок, который сделал Гюнтер в первый наш совместный вечер. Я засунула рисунок между книгами, где никто не смог бы его найти.

Смотрю на набросок — он такой аккуратный, не очень лестный, но что-то раскрывающий, показывающий меня такой, какая я есть. Вспоминаю, как мы вместе его разглядывали, как Гюнтер проводил пальцем по изгибу моей щеки. В теле неожиданно появляется слабость.

Резко сажусь на диван. Моя рука обмякает, и бумага падает на пол. Все кажется каким-то ярким: простым и ослепительно понятным. Я должна попрощаться с ним. Я должна еще раз его обнять.

Почему я этого не поняла? Почему мне потребовалось для этого так много времени? Внезапно, это становится самым важным на данный момент.

Скидываю фартук, выбегаю за дверь и мчусь в Ле Винерс. Обращаю внимание на то, что черного «Бентли», на котором ездил Гюнтер, больше нет. Стучу в дверь. До боли трудно дышать.

Дверь открывает коренастый мужчина. Он мне незнаком.

— Я ищу капитана Леманна, — говорю я.

Он качает головой:

— Они уже уехали.

— В Сент-Питер-Порт?

Мне на грудь словно давит тяжелый камень. Я не успею вовремя добраться до города. Поездка на велосипеде займет кучу времени.

Мужчина отрицательно качает головой:

— Нет, не в порт. На аэродром.

Меня окатывает волной радости. Эта новость, словно подарок, — до аэродрома добраться гораздо проще: нужно взобраться на холм и дальше ехать по главной дороге.

— Спасибо, — говорю я. — Спасибо вам большое.

Он слегка хмурится, моя чрезмерная благодарность ставит его в тупик.

Бегу за велосипедом. Во мне ключом бьет энергия. Мне кажется, что так легко ехать в гору. Несмотря на то, что я крепко держу руль, мои ладони влажные и скользкие. Они скользят по рулю, как будто на самом деле мне не принадлежат.

На аэродроме стоит невообразимый шум — крики и команды. Повсюду немецкие солдаты, грузовики, мотоциклы, джипы — все эти серьезные, сложные машины войны, о которых я очень мало знаю. Когда я приближаюсь к аэродрому, взлетает самолет. Его рев заполняет собой целый мир, звоном отдаваясь у меня в ушах.

Здесь происходит большое передвижение войск. Внутри меня что-то съеживается. Я так стремилась сюда добраться, что не подумала о том, что же буду делать дальше. У меня просто была надежда, некая уверенность, что я его каким-то образом найду. И это случится как-то само собой.

Подъезжая, я увидела черный «Бентли», припаркованный у обочины вместе с некоторыми другими гражданскими автомобилями. Мое сердце забилось чаще. Но в машине никого не оказалось.

Спрыгиваю с велосипеда, оставляя его лежать на обочине. Откуда ни возьмись на меня накатывает тошнота. Мое тело содрогается, меня рвет желчью. Это, наверное, из-за стресса. Да и быстрая езда сказалась. Вытираю лицо. Мне стыдно. Надеюсь, никто ничего не видел. Но сейчас мне легче, все прояснилось.

Недалеко от меня стоят и курят трое солдат. Они непринужденно разговаривают и смеются. Замолкают, когда я подхожу ближе.

— Прошу прощения, но я кое-кого ищу. Может быть, вы сможете мне помочь? — говорю я.

Они качают головами, сопровождая это движение другими мелкими беспомощными жестами. Пожимают плечами. Универсальный язык, говорящий о том, что они не понимают.

— Я ищу капитана Леманна. Это важно.

Вероятно, они все-таки узнают его имя. Но потом кратко переглядываются и снова отрицательно качают головами. Когда я отворачиваюсь, один из них что-то бормочет на немецком, глядя на меня. Другой громко смеется. Чувствую, как начинает гореть мое лицо.

Смело иду к заграждению, где контролируется проезд на аэродром. Там меня останавливает солдат охраны.

— Вам не следует здесь находиться, — говорит он мне. — Вы не можете пройти.

По крайней мере, он говорит по-английски. За это я ему очень благодарна. От всей души, глубоко благодарна.

— Возможно, вы сможете мне помочь. Я ищу капитана Леманна.

— Не могли бы вы повторить имя? — говорит солдат.

Называю еще раз.

На его лице появляется проблеск понимания.

— Капитан Гюнтер Леманн?

— Да.

— Я знаю капитана Леманна, — говорит он.

Ощущаю горячий прилив благодарности. Все идет так, как должно происходить. Я готова обнять этого человека.

— Я так рада. Вы не могли бы мне сказать, где я могу его найти? Я буду вам очень признательна.

— Капитан уехал. Вы не можете с ним увидеться, — говорит он.

Я качаю головой, почти смеясь, ведь он не может так ошибаться.

— Вы ведь несерьезно, правда? Вы ведь шутите, — говорю я, улыбаясь, пытаясь разделить с ним шутку. Я почти уверена в том, что так и есть.

Он ничего не понимает. Хмурится.

— Я вас не понимаю, — говорит он.

— Вы же шутите, правда? Вы говорите несерьезно. — Я самонадеяна и уверена в своих словах. Хотя мой голос немного дрожит. — Вы же не хотите сказать, что его здесь больше нет. Такого не может быть...

Ничего не говоря, мужчина тычет пальцем в небо.

Я смотрю туда, куда он указывает, и вижу черное пятнышко — самолет. Я наблюдаю, как он исчезает в пустом отблеске неба.

## Глава 82

Октябрь выдался холодным. Ветер ревет среди останков моего сада, в переулках темно и сыро, а над нами мчатся белые облака. Наша повседневная жизнь требует много внимания и заботы: в магазинах становится все меньше продуктов. Я постоянно ощущаю слабость, мое тело тяжелое и медлительное.

Но я благодарна всем этим заботам, оставляющим слишком мало времени на раздумья. Стараюсь подбодрить Милли с Бланш. Плачу только по вечерам, когда девочки уже разошлись по своим комнатам, или ночью, вжалвшись лицом в подушку, когда проснусь в своей пустой кровати.

Как-то ноябрьским вечером, когда я завариваю чай на кухне, раздается стук в дверь. Напористый мужской стук. На какой-то краткий миг я думаю, что мои тщетные молитвы были услышаны, он вернулся ко мне. Иду открывать дверь.

Чувствую разочарование, перерастающее в неприязнь. Это Пирс Фалья.

— Здравствуй, Пирс.

— Миссис де ла Маре. Я хочу вам кое-что показать, — говорит он.

Он, как всегда, резок. Складывается ощущение, что его глаза заглядывают внутрь меня, и от этого кажется, что он, словно хищная птица, чего-то ждет от меня.

— Что ты хочешь мне показать? — интересуюсь я.

— Увидите, но вам нужно пойти со мной. — А потом, видя, что я сомневаюсь, он добавляет: — Это того стоит, обещаю.

Беру пальто, в воздухе чувствуется зимняя прохлада. Предупреждаю Милли, что отлучусь. Потом иду за Пирсом по переулку сквозь сумрак, оседающий вокруг нас. Молодой человек поворачивает на дорогу, которая ведет вверх к лесистой части холма. Здесь я раньше не бывала.

Иду за ним через унылый, дремлющий лес. В этом полумраке цвета кажутся немного приглушенными: красновато-бурыми, коричневыми, мускатными, словно шкура животного. В ветвях гуляет несильный ветер, а наши шаги шелестят по дороге, которая полностью засыпана опавшими листьями.

Между нами царит неуютное молчание. Пирс весьма непростой человек.

— Ты, наверное, скучаешь по Джонни, — нарушая тишину, говорю я.

— Да, — отвечает он. — Да, скучаю... По всему тому, что мы творили с ним вместе... никогда не думал, что все закончится именно так. Из-за какой-то глупой ошибки.

— Но ведь не так много осталось, — говорю я. — Он должен вернуться в июле.

— Если только не затеряется в системе, — говорит Пирс. — И не попадет в какое-нибудь еще более ужасное место.

— Ох. Но ведь этого не случится, правда? Конечно же, там все хорошо организовано?

— Ходят слухи, что с некоторыми происходило что-то подобное, — говорит юноша.

— Ох.

Меня охватывает страх за Джонни.

Мы продолжаем идти по шепчущей тропе. Прямо перед нами вспархивает из своего укрытия сойка, ее синее, словно сапфир, оперение яркой вспышкой выделяется на фоне унылого леса. Вокруг слышны звуки множества ручьев.

Пирс откашливается. Слишком громко для этой тишины.

— Кое-что из того, что мы делали, я и Джонни, — вдруг говорит Пирс и замолкает. Потом начинает снова: — Есть вещи, которые я считал важными, но больше я так не думаю. Вещи, которые на самом деле не настолько важны...

Я понимаю, что он извиняется.

Смотрю на него. Его лицо напряжено: он пытается подобрать верные слова.

— То, что мы делали, когда оккупация только началась. Мы были еще детьми. Честно говоря, мы просто валяли дурака, — говорит Пирс.

— Вы хотели делать, что можете, — отвечаю я. — Я понимаю.

Кажется, он меня не слышит.

— Я осознал: как человек поступает, когда приходит время. Когда от него что-то требуется. Что люди делают в то время, которое им отведено. Вот, что главное... Все остальное неважно: неважно, кого ты любишь, и прочее.

Мне неловко, я не знаю, что ответить. И в то же время я благодарна ему за эти слова.

Мы карабкаемся вверх по крутой извилистой тропе сквозь деревья и их переплетающиеся тени, а потом выходим на вершину, навстречу ветру и свету, небу и открытому пространству позади леса, где раскинулись кукурузные поля и блестящее море. Этот миг похож на рождение: мы словно вышли из утробы нашей глубокой лесной долины на свет.

Я с тревогой замечаю, что мы пришли к рабочему лагерю на вершине утеса — к лагерю, который описывал Джонни, и который я никогда не хотела бы видеть. Лагерь, из которого пришел Кирилл. Я вижу высокий забор из колючей проволоки, бараки, в которых спят рабочие, деревянные наблюдательные вышки.

Вспоминаю рассказы людей о том, что они здесь видели. О том, как рабочих бросают избитыми и истекающими кровью. О том, что одного мужчину повесили на дереве и его труп оставался там много дней.

Мы подходим еще ближе. Я замечаю, что трава перед строениями полностью выпотапана, осталась только голая земля и грязь. Там горит костер. Вокруг него сидят много людей, они худые, оборванные и выглядят совершенно опустошенными. За ними, лениво покуривая сигарету, наблюдает охранник; ему скучно, поэтому он не слишком бдителен.

Люди сидят тихо, они едва ли шевелятся, даже не разговаривают между собой. Они выглядят так же, как Кирилл в тот далекий день, когда я впервые увидела его в сарае Питера Махи: у них изможденные, лишенные всякого выражения лица.

Мы продолжаем смотреть, и вдруг среди людей происходит какое-то движение, словно летний ветерок потревожил пшеницу: внезапное волнение, крики, медленные хлопки. Я жду продолжения. Двое мужчин поднимаются с земли. У них темные волосы и коричневая от загара кожа. Наверное, это цыгане; Джонни говорил, что они есть среди заключенных.

Мужчины стоят лицом друг к другу, как будто на поединке, и я тут же думаю, что они собираются драться. Но они поднимают руки над головой и одновременно щелкают пальцами. Потом они слегка покачиваются и начинают танцевать, притопывая ногами по голой земле. Рваная ткань их одежд широко разлетается следом за движениями тел.

Остальные мужчины подбадривают танцующих, а потом замолкают. Я смотрю на их движения, которые словно манят, завораживают, ласкают. Они так красноречиво говорят о желании, об утешении, о коротком и сломленном торжестве. Когда они двигаются мимо костра, мне кажется, что все тепло и красные отсветы собираются в их ладонях.

Я думаю о Кирилле: о его родине, об историях, которые он рассказывал, о его мечтах.

Наше богатство внутри — это наши жизни, любимые люди, наши желания. Куда бы ни пошли, что бы ни случилось, оно всегда с нами. Что бы с нами ни сделали, что бы у нас ни отняли.

А потом танец заканчивается, так же внезапно, как и начался. Ноги останавливаются, руки безвольно падают вдоль тела. Мужчины опускаются на землю перед костром, тени скрючиваются впереди. Зрители аплодируют и затихают. Тишина падает, словно лист. Все так, как было до этого. Или почти так.

Мы с Пирсом тоже замираем на мгновение.

Я поворачиваюсь к нему. В сгущающихся сумерках его хищное лицо уже не кажется мне таким жестким.

— Ты это хотел мне показать?

— Нет.

— Но я рада, что увидела.

Он слегка кивает, признавая мои слова.

— Я хотел показать вам вот что, — говорит он. — В проволоке есть одно место, вон там, рядом с канавой...

Я смотрю туда, куда он показывает. Заросли орешника нависают над канавой и почти достигают ограды. Хорошее прикрытие. Можно подобраться очень близко и остаться незамеченным.

— Да, — говорю я.

— Там дыра в проволоке. Заключенные следят, чтобы она оставалась открытой. Вы можете оставлять здесь еду. Под теми деревьями, сразу за оградой. Если у вас есть, чем поделиться, вы можете принести сюда и положить там. Лучше всего это делать перед самым комендантским часом.

— Что, если меня заметит охрана? — спрашиваю я.

— Зависит от того, кто на посту, — говорит Пирс. — Иногда они делают вид, что не замечают. Некоторым все равно, как тому, который дежурит сегодня. Другие люди тоже это делали. Если повезет, с вами все будет хорошо... Конечно, риск есть всегда. Но вы и так знаете.

— Да.

Тени уже удлинились, но на небе еще остались отблески света, и они ярко отражаются в напряженном взгляде Пирса.

— Мне жаль, что мы потеряли Кирилла, — говорит он. — Но остались другие, кого мы можем спасти.

— Пока не кончится война?

— Пока мы не победим, — говорит он, совсем как Джонни.

«А мы победим? — думаю я. — Сможем ли? Разве это возможно? Мне трудно это представить».

— Так что вы думаете, миссис де ла Маре? Вы сделаете, что можете?

Но он уже знает, каким будет мой ответ.

**Эпилог**

**Апрель 1946**

# Глава 83

Через несколько месяцев после окончания войны мне приходит открытка.

\* \* \*

Еду на велосипеде в Сент-Питер-Порт. Стоит солнечный апрельский полдень. В городе спокойно, все идет своим чередом: магазины открыты, по улицам ходят люди. Матери ругают детей, ворчат люди на остановках — о погоде, о правительстве, о ценах.

Отмечая, с какой легкостью мы возвращаемся к мирной жизни... те, кто остался, кому повезло. Мы смахиваем, словно щеткой, прошлое, сгребаем осколки в сторону и идем дальше.

Я оставляю свой велосипед у подножия лестницы, ведущей наверх к чайному магазинчику. Заведение миссис дю Барри сейчас закрыто, но этот новый магазин открыт. Когда стоит теплая погода, здесь можно посидеть на террасе. Я решила, что сделала правильный выбор.

Взбираюсь по ступеням на террасу. Оглядываюсь и вижу красные черепичные крыши. Но отсюда не видно воды и совсем непонятно, что ты находишься на острове, если не брать во внимание свет. Он одновременно мягкий и блестящий, с таким серебристым оттенком, какой бывает только у света над морем.

С магазине весьма оживленно: женщины встречаются с подружками и сплетничают за чаем и сладкими булочками. Мужчины работают. Няни гуляют с детьми. На некоторое время я чувствую себя растерянной — вокруг стоит мельтешение разных цветов, много движения и разговоров. Я его не вижу. Потом замечаю его сидящим за столиком в самом углу террасы.

На нем обычный деловой костюм. В гражданской одежде он выглядит совсем иначе — менее уверенный, менее авторитетный. Когда я подхожу ближе, он замечает меня и встает. Берет мою руку и слегка кланяется.

— Капитан Рихтер, — говорю я не совсем уверенная в том, как стоит к нему обращаться. У Германии сейчас нет армии. По всей видимости, у него больше нет никакого звания.

— Миссис де ла Маре. Спасибо, что пришли.

Мы садимся за столик, к которому подходит официантка. Он заказывает нам обоим чай.

— Хотите что-нибудь к чаю? Пирожное?

Но я едва могу глотать. Есть я точно не смогу.

— Нет, благодарю вас.

Когда официантка уходит, он наклоняется ко мне. Его ясные темные глаза смотрят на меня. У него очень серьезное лицо.

— Миссис де ла Маре...

Он замолкает, откашливается, словно ему тяжело говорить то, что должен сказать. Даже для этого уравновешенного, циничного мужчины, который видел слишком много.

Но я все могу прочитать в его глазах.

— Он погиб, да? — спрашиваю я. — Об этом вы приехали мне сказать.

По его лицу пробегает тень.

— Да, боюсь, что Гюнтера больше нет, — отвечает он. — Мне очень жаль.

— Когда я получила вашу открытку, я поняла, что он умер.

— Умирая, он попросил вернуться и найти вас. Я ему обещал.

— Да, спасибо.

Некоторое время мы молчим. Такое ощущение, что шум в кафе отдален от нас и находится на некотором расстоянии.

Макс достает две сигареты, прикуривает и одну протягивает мне. Когда я беру сигарету, замечаю, что у меня дрожат руки.

Он наклоняется вперед, опираясь на локти, и заглядывает мне в лицо.

— Он хотел, чтобы я кое-что рассказал вам, — говорит Макс. — Он думал, что вы считаете его виновным в гибели того поляка.

— Он не был поляком, — говорю я.

— Сейчас это неважно.

— Нет. Важно. — Я удивлена тому, что меня охватывает гнев. Я злюсь на то, что Макс говорит так, словно Кирилл какой-то безликий заключенный. — Он приехал из Беларуси. Его звали Кирилл. Деревня, где он жил, стояла в березовом лесу. Он был мастером, делал скрипки.

Мой голос слишком громкий, слишком напряженный.

Макс немного отклоняется и слегка машет руками, словно желая меня успокоить.

— Так или иначе, мужчина, которого застрелили, — говорит он.

Но во мне все еще бушует ярость.

— Я понимаю, что для вас это всего лишь эпизод, что-то незначительное. Досадная случайность. Но для меня тот случай таковым не является. Для меня — это жестокая война.

— Да, конечно, — успокаивающе говорит он.

Официантка приносит чай. Я пытаюсь разлить его по чашкам, но у меня слишком сильно трясутся руки.

— Позвольте мне, — говорит Макс.

— Да, спасибо.

Он наливает чай и передает чашку мне.

Я не пью. Жду.

Он наклоняется ко мне.

— Гюнтер хотел, чтобы я сказал вам, что он не имел к этому никакого отношения. Он знал, что вы прятали мужчину у себя дома.

— Когда он вам об этом рассказал? — интересуюсь я.

— Когда мы еще были на острове, — говорит он. — Он как-то пришел к вам утром и все понял. Но он никогда не доносил об этом в «Организацию Тодта». Гюнтер никогда бы не смог подвергнуть вас опасности. Он никогда бы вам не навредил. Вас предал не Гюнтер.

— Почему вы так решили? — спрашиваю я. — Почему вы так уверены?

— Потому что я знаю, кто это сделал. Это Ганс Шмидт. Он что-то заметил у вас в саду и донес.

Я вспоминаю белокурого румяного молодого человека, который иногда косил траву в Ле Винерс. Любитель котов.

— Почему Гюнтер мне об этом не сказал?

— Он был гордым мужчиной, миссис де ла Маре. Я думаю, вы знаете об этом.

Поскольку вы решили, что ваш роман закончен, он никогда бы не стал умолять вас передумать.

Молчу. Знаю, что он прав.

Некоторое время мы просто молча курим. Потом Макс откладывает сигарету в пепельницу.

— Миссис де ла Маре, я должен вам кое-что сказать, — запинаясь говорит он. — Мы не знали, какие вещи творятся от нашего имени. Многие из нас, служивших в армии, веривших в свою страну... полагали, что мы должны вернуть свою гордость, вернуть земли, которые потеряли. Когда мы увидели, что натворили, мы плакали... Не все. Некоторые.

— Как вы могли не знать? — отбиваюсь я. Нет таких слов, чтобы можно было выразить мои мысли. — Я хочу сказать... даже здесь, на Гернси... вы могли видеть творящуюся жестокость.

— Вы просто делаете свою работу, — говорит он. — Делаете то, что должны. Вы не всегда смотрите по сторонам. Не всегда думаете о происходящем. — Когда я ничего не отвечаю, он добавляет: — Вам может казаться, что это неверно, и вы совершенно правы. Но таково людское поведение. У большинства из нас, в большую часть времени. Люди ведут себя так, как им указывают, как ведут себя те, что вокруг. Как правило, так все происходит. Это удручет, но это правда. Такова наша сущность...

— Вы должны были знать, — повторяю я.

Он открывает было рот, чтобы что-то сказать, но молчит.

Наше молчание длится достаточно долго. В пепельнице тлеет оставленная Максом сигарета. Он же совершенно неподвижен, смотрит на свои руки.

Наконец, он шевелится. Макс потирает ладонью лицо и оглядывается вокруг: солнечный свет, красные черепичные крыши, яркое небо.

— Так что же, миссис де ла Маре. Расскажите, как вы живете после войны на этом вашем прекрасном острове.

Я медлю. О чем мне рассказывать? Но между нами возникла близость, потому что он приехал ко мне. Я благодарна Максу за это, я у него в долгу. Решаю, что расскажу ему все... ну, почти все. Я должна.

— Муж вернулся с войны, — говорю я. — Ему повезло, он выжил. Но мы решили жить отдельно.

— Очень жаль это слышать, — говорит Макс.

— Он живет здесь же, в городе... купил квартирку на деньги, которые достались ему от матери. А я с детьми все еще живу в Ле Коломбье. Даю уроки игры на фортепьяно, нам хватает. Мы не можем больше жить вместе, после всего, что случилось.

Он слегка кивает.

— Мне кажется, для вас это было бы сложно, — осторожно говорит он.

— А Бланш... вы помните Бланш, мою старшую дочь? — спрашиваю я.

— Да, конечно, я ее помню.

— Бланш теперь замужем. Она вышла за Джонни. Это сын моих друзей. Он какое-то время провел в тюрьме во Франции. В его комнате нашли дробовик.

Макс устало качает головой, словно поражаясь откровенной глупости. Возможно, это Джонни проявил глупость, храня тот дробовик, или просто правила были слишком мелочными. Правила, которые слишком долго влияли на наши жизни.

— Когда он вернулся, они начали встречаться, — говорю я. — А поженились прошлым

летом.

Вспоминаю свадьбу, представляю ее. Стойная Бланш в розовом костюме, который сшила сама. На голове — фетровая шляпка с вуалеткой. Ее светлые волосы водопадом ниспадают на спину, а лицо счастливо светится. Меня поражает то, как Джонни смотрит на нее, словно не может поверить в свою удачу. Все вокруг поет, ярко сияет солнце, церковь украшена цветами.

— Это был счастливый день.

Макс улыбается.

— Милли хорошо учится. Она говорит, что хочет стать доктором. Конечно, для девочки это трудный выбор. Но я рада видеть, что она старается.

Его лицо смягчается.

— Милли замечательный ребенок, — говорит Макс.

Потом мы снова замолкаем. Я знаю, что должна нарушить молчание, но не могу.

В конце концов, я заставляю себя задать вопрос.

— Как умер Гюнтер?

Я едва слышу свой собственный голос.

Макс кладет руку на мой рукав.

— Это случилось в Кишиневе, в Румынии, в августе сорок четвертого, — говорит он. — Но он умирал не один.

— Я рада. Я так рада, что вы были рядом. Очень рада.

Не могу удержаться и перестать говорить эти слова.

Обращаю внимание на то, что Макс не говорит, как именно Гюнтер погиб. Он не говорит: «Это случилось быстро, он не страдал».

— Я должен вам кое-что вернуть, — говорит он. — Гюнтер все время это хранил...

Он что-то достает из кармана. Это книга стихов, которую я когда-то отдала Гюнтеру. Не знала, что он ее хранил. Макс протягивает ее мне. У нее потрепанный вид, а на обложке есть пятна, по виду похожие на кровь.

Листаю книгу. Закладка все еще лежит на той странице, где напечатано мое любимое стихотворение. Открываю книгу на том месте.

Прошу, о дай мне кров,

Где есть покой...

Буквы расплываются. Я не могу читать.

Открываю форзац, где было написано мое имя. И вижу, что Гюнтер написал свое прямо под моим, так что оба наших имени стоят рядом. Словно возлюбленные вырезали свои имена на коре дерева.

А потом подступают слезы.

Я плачу. Меня охватывает печаль, мое тело сотрясается от рыданий.

Макс сидит и молча ждет. Я очень благодарна ему за молчание.

Когда я перестаю плакать, замечаю, что все вокруг смущены столь явным проявлением эмоций на публике. Но отнюдь не удивлены, ведь очень многие пережили подобное горе.

Я постоянно говорю себе, что мне повезло. У меня есть мои любимые дети. Мне очень повезло. Но все же боль волной накатывает на меня. Даже не могу представить, получится ли у меня это вынести.

Вытираю лицо платком.

— Мне пора идти, — говорю я. — Спасибо вам. Спасибо, что приехали. Не знаю даже

как вас благодарить.

Он слегка пожимает плечами.

— Я только рад этому, — говорит он. — Гюнтер был моим другом.

Макс поднимается и тепло пожимает мне руку.

Спускаюсь по лестнице на улицу. Расстегиваю замок на велосипеде и отправляюсь в долгое путешествие обратно домой. Солнечный свет смягчается, на дорогу падают тени. Возвращаюсь домой к Милли и маленькому мальчику, который, я знаю, бросится мне в объятия. Его серые глаза будут блестеть, глядя на меня. И он улыбнется мне улыбкой Гюнтера.

**Больше книг на сайте — [Knigolub.net](http://Knigolub.net)**

---

---

**notes**

# Примечания

Jerry — немец, немецкий самолёт, немецкий солдат, фриц.

Джеральд Мэнли Хопкинс (1844–1889), «Небесная гавань».

Сарк (англ. Sark, фр. Sercq, саркский Sèr или Cerq) — небольшой остров в юго-западной части Ла-Манша, является одним из Нормандских островов, частью коронного владения Гернси.

Королевские военно-воздушные силы (англ. Royal Air Force (RAF)).

«Хоукер Харрикейн» (англ. Hawker Hurricane) — британский одноместный истребитель времён Второй мировой войны, разработанный фирмой Hawker Aircraft Ltd. в 1934 году.

«Супермарин Спитфайр» (англ. Supermarine Spitfire) — английский истребитель времён Второй мировой войны.

Сайдкар (англ. Sidecar) — классический коктейль, традиционно приготавливаемый из коньяка, апельсинового ликера и лимонного сока.